

Булгаков

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

Булгаков

БЕЗ ГЛЯНЦА

ПРОЕКТ ПАВЛА ФОКИНА

санкт-петербург

издательство амфора

2010

УДК 821.161.1Р
ББК 83.3(2Рос-Рус)6
Б 90

Составление и вступительная статья
Павла Фокина

В оформлении обложки использован рисунок В. Дени



Б 90 **Булгаков** без глянца ; [сост., вступ. ст. П. Фокина]. — СПб. : Амфора. ТИД Амфора, 2010. — 415 с. — (Серия «Без глянца»).

ISBN 978-5-367-01341-2

Михаил Булгаков называл себя «мистическим» писателем. Однако история его жизни и направление творческих поисков открывают совсем другого литератора. В его судьбе было много очевидного, закономерного и предсказуемого. Красноречивые свидетельства самого Булгакова и его близких показывают, что сложившийся о нем миф — всего лишь следствие восторженной легенды о Мастере.

УДК 821.161.1Р
ББК 83.3(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-367-01341-2

Светлой памяти
доброго наставника и друга
Светланы Петровны Князевой

«Булгахтер»

Все-таки желательно, гражданин артист, чтобы вы незамедлительно разоблачили бы перед зрителями технику ваших фокусов, в особенности фокус с денежными бумажками. Желательно также и возвращение конферансье на сцену. Судьба его волнует зрителей.

М. А. Булгаков. Мастер и Маргарита.
Глава 12. Черная магия и ее разоблачение

Белинский называл Некрасова «практическим человеком». За умение рационально мыслить, трезво оценивать обстоятельства, находить решение сложных жизненных ситуаций, организовывать дело, вести коммерческие переговоры, вступать в отношения с нужными людьми, составлять реалистические планы и последовательно проводить их в жизнь. Добиваться успеха. Жить с комфортом и широтой.

«Мистический писатель» Булгаков был тоже «практическим человеком». Смотрел на жизнь без розовых очков. Видел мир во всей его сложности. Людей понимал с полувзгляда. Отлично разбирался в механизмах человеческих поступков. Знал себе цену. Был уверен в себе. Предприимчив, требователен, настойчив. Целеустремлен. Эти его свойства отмечают все три жены писателя. Они хором свидетельствуют о его энергии в решении насущных задач повседневной жизни, в первую очередь в умении искать работу, зарабатывать деньги, получать пайки, находить квартиры, добиваться своих имущественных прав. В этом смысле он оказался настоящим мужем — хозяином, кормильцем, добытчиком.

А времена выдались совсем непростыми. Всё в России переворотилось и устанавливалось с трудом и

натугой. На бытовом фронте шла не менее ожесточенная и гибельная, чем на полях боевых действий, битва за выживание. Фактически гражданской войной были охвачены не только противоборствующие политические силы и ведомые ими войска, но и мирные граждане, обыватели всех мастей и сословий. Более того, когда после многих кровопролитий пушки умолкли и установился внешний мир, внутреннее противоборство за место под солнцем только усилилось.

1920–1930-е годы насыщены напряженными усилиями формирующегося советского социума по созданию внутренней иерархии. Идеалы равноправия и социального равенства, декларированные теоретиками «коммунистического рая», были с первых дней революции атакованы практиками социалистического строительства. Для равноправия и равенства в России не существовало ни экономических, ни исторических, ни культурных предпосылок. Булгаков это прекрасно понимал, потому с таким азартом и даже с каким-то мрачным вдохновением участвовал в этой битве — «ненавидя, кляня и любя». И кстати, каждая отвергнутая супруга причину развода видела не только и не столько в женских преимуществах своей соперницы, сколько именно в том, что новый брак сулил Булгакову расширение его социальных возможностей.

Уроженец Киева, проскитавшись в смутное время по захолустьям и окраинам бывшей империи, он, как только наметилась возможность, перебирается в Москву — в столицу. Он отчетливо осознает, что именно здесь есть хоть какая-то перспектива роста, ибо, чем дальше от центра реальной власти, тем меньше шансов на успех. В Москве он никогда не будет искать места жительства вне Садового кольца, ибо только в этом пространстве возможна необходимая для продвижения вперед интенсивность социальных связей.

Он с жадностью всматривается в окружающую действительность, анализируя факты и делая практиче-

ские выводы, стремясь понять и освоить правила столичной жизни. «Самое характерное, что мне бросилось в глаза: 1) человек плохо одетый – пропал». Как только появятся первые деньги, он сразу же купит себе хорошие ботинки. Потом принарядится еще. Увлекшись, обзаведется даже моноклем, но, почувствовав, что переборщил с имиджем, быстро от него откажется. Облекаясь дома в халат, в обществе он всегда подтянут и элегантен.

Люди – их страсти, интересы, возможности – главный инструмент в достижении практических целей. «Я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить volens-nolens. Знакомств масса и журнальных, и театральных, и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни – яростной конкуренции, беготне, проявлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю».

Статус – вот еще один рычаг, которым можно повернуть мир к себе. И еще мощнее – мандат, подтверждающий статус! «Кем угодно, когда угодно, что угодно, но чтобы была такая бумажка, при наличии которой ни Швондер, ни кто другой не мог бы даже подойти к двери моей квартиры. Тщательная бумажка. Фактическая. Настоящая!» Булгаковский архив хранит в себе массу «практических документов» – разного рода справок, членских билетов, удостоверений и прочих полезных бумаг, свидетельствующих о непрерывной борьбе Булгакова за существование в Стране Советов. В каких только обществах и союзах не состоял автор «Мастера и Маргариты»! Во Всероссийском Профессиональном Союзе работников Просвещения (членский билет № 37846. Выдан 19 февраля 1923). Во Всероссийском Профессиональном Союзе Писателей (членский билет № 361. Выдан 20 апреля 1923). В Профсоюзе Работников Полиграфического производства СССР (удостоверение № 2165. Выдано 15 октября 1927). В Ленинградском

обществе Драматических и музыкальных писателей (драмсоюз) (членский билет № 371 В. Выдан в 1928). В Профессиональном Союзе Работников Искусств СССР (Всерабис) (членский билет № 134661. Выдан 22 октября 1930). Во Всероссийском обществе драматургов и композиторов (Всероскомдрам) (членский билет № 1791. Выдан 7 ноября 1931). Был действительным членом Клуба Дома Ученых (членский билет № 65. Действителен до 1 января 1927). Состоял в Московском Отделении секции научных работников (удостоверение № 937. Действительно по 1 января 1929, продлено по 1 января 1930). Входил в клуб мастеров искусств ЦК РАБИС (временный членский билет № 100. Выдан 11 ноября 1935). С 1924 по 1925 годы уплачивал членские взносы Обществу Друзей Воздушного Флота СССР (членский билет № 513933. Выдан 17 апреля 1924). 1 апреля 1925 получил удостоверение № 390410 Комиссии помощи детям СССР, которое подтверждало, что гр. Булгаков М. А. «имеет право на звание „Друг детей“». 29 мая 1928 датирован членский билет № 38, выданный Булгакову Кружком друзей искусства и культуры. 15 марта 1931 вступил в МОПР (Международную организацию помощи борцам революции; членский билет № 260)! Дьяволиада?

Оставив медицинскую практику для литературного труда, прибывший в Москву Булгаков начинает не с публикаций, а с поиска места — он отправляется в ЛИТО Наркомпроса и в одночасье становится секретарем этого малопонятного, но зато статусного ведомства, которым руководит сама Н. К. Крупская, в ту пору еще жена Ленина! Автобиографический герой «Записок на манжетах» с хлестаковской восторженностью восклицает: «После Горького я первый человек!» Быстро обзавелся конторкой красного дерева, стулом, чернилами и секретаршей. «По моему приказу она разложила на столе стопками всё, что нашлось в шкафу... И сразу стало похоже на канцелярию». ЛИТО просуществовало недолго и было упразднено, но за краткое время его существования Булгаков с помощью

Крупской добился первой своей московской жилплощади. Мистика?

Порыскав по Москве, Булгаков устраивается наконец в газету железнодорожников (!) «Гудок» – «литературным правщиком». Статус, конечно, обидный (для «первого после Горького»!), но зато стабильный заработок, творческое общение, новые связи, ну и разные бонусы в виде ведомственной столовой, членства в профсоюзе и т. п. Тем более, что легкость пера, острый глаз и остроумие очень быстро делают Булгакова одним из ведущих фельетонистов газеты. Появляются первые признаки если не славы, то известности. Оперативность и тираж «Гудка» довершают дело. Чудеса?

Впрочем, газетные заметки пишутся больше для денег, а сокровенные планы связаны с серьезным, «наполеоновским» жанром – с романом. «Белая гвардия» (почти «Война и мир»!) пишется кровью сердца и со всем блеском молодого таланта. Но напечатать удается лишь первую треть. Журнал, в котором началась публикация романа, закрывают. Из-под пера Булгакова выходят несколько сатирических повестей, но их издательская судьба в Советской России достаточно проблематична. Слишком зло и правдиво рисует Булгаков общественный беспредел нового мира, его бестолковость, хамство, духовную пустоту и агрессивность. Кто же возьмется печатать? Даже слушают с опаской, а особо проворные спешат донести в ГПУ. Чертовщина?

В какой-то момент Булгаков осознает, что в газетном жанре он больше работать не может, а иной своей прозы он здесь никогда не продаст. И тогда обращает свои взоры к театру, увлечение которым он испытал еще в юности. По существовавшим правилам, автор получал не только гонорар, установленный договором, но и процент отчислений с каждого спектакля. Заметим здесь же, что пьесу он предлагает не первому попавшемуся театру, а первому в те годы в Москве драматическому театру – Московскому Художественному, руководимому К. С. Станиславским

и посещаемому членами советского правительства и ЦК партии, лично товарищем Сталиным. Пьеса «Дни Турбиных» не только имела успех в публике (что было обеспечено несомненным дарованием драматурга), но, главное, пришлась по вкусу генеральному секретарю, с которым у Булгакова возникнет невидимая и не всем понятная, но ощутимая окружающими связь, нечто личное. (Притом настолько личное, что позволит в будущем Булгакову писать отнюдь не официозные письма вождю, а Сталина заставит откликнуться на них телефонным звонком.) Судьба?

Участь драматурга, впрочем, оказалась не самой легкой (булгаковские пьесы годами не выпускались, снимались с репертуара, подвергались изменениям, заграничные постановки приносили доход третьим лицам), но театр в той или иной форме оставался для Булгакова главным источником существования до конца его дней (когда были сняты с репертуара все драматические произведения Булгакова, он перешел либреттистом в Большой театр). И не только материальным. В искусственном пространстве театра социальная иерархия смещалась, смущалась, зритель — кем бы он ни был! — на малый срок оказывался во власти искусства. И пусть первыми на сцене были актеры, властителем дум оставался драматург. Его тоже вызывали к рампе, и он лично мог посмотреть в глаза Зрителю. И Зритель смотрел с интересом. Магия?

Попыткой вырваться из удушливой петли обстоятельств стало решение написать пьесу о Сталине. И хотя Елена Сергеевна Булгакова в своем дневнике отрицает то, что писатель хотел этим «перебросить мост и наладить отношение к себе», что он «просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу, с героем, — и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене», очевидно, что «практический человек» Булгаков, искушенный боец и реалист, понимал, какую ставку он делает. И потому так сокрушительно — смертельно — было поражение!

Сначала пьеса называлась «Пастырь». По-библейски возвышенно и пафосно. Но в тоже время с учетом контекста биографии главного героя («Пастырь» — одна из партийных кличек молодого Сталина). Булгаков, конечно, понимал, что никакая цензура никогда не утвердит его. Однако он его озвучивал, и, конечно, не без умысла. Тому, о ком он все это время думал, было сообщено. Но никакой реакции не последовало — на этот раз даже «испорченный телефон» промолчал. Пришлось искать более нейтральное. В итоге Булгаков дает пьесе совершенно безликое на первый взгляд название — «Батум». Место действия. И только? Вряд ли.

В жизни самого Булгакова Батум был важным, а вернее — судьбоносным городом. Летом 1921-го там, в Батуме, он принял главное решение в своей жизни — остаться в России. Тогда из Батума еще можно было найти способ уехать, и если бы Булгаков захотел, он бы уехал. Но что его ждало в эмиграции? Он уже точно знал, что медициной больше заниматься не будет, а жить литературным трудом на чужбине, тем более писателю без имени, только лишь начинающему свое творческое поприще, невозможно. Стать разнорабочим, обратиться в люмпена, утратить всякий социальный статус — кошмарнее этого молодому амбициозному человеку трудно себе что-либо представить. Именно в Батуме определилась будущность писателя Булгакова. Батуму он обязан всем, что случилось с ним впоследствии. И вот в 1939-м, уже состоявшийся литератор, Мастер, он решается вновь доверить свою судьбу далекому южному городу — его имени. Пусть повезет!

Бес попутал! Он — бильярдист с многолетним стажем, просчитывавший каждый удар, решил попробовать сыграть в нелюбимую им рулетку и поставить на Zero. Здравый расчет подкрепить иррациональной удачей. Увы! В жизни «мистического писателя» Булгакова ничего мистического никогда не происходило. Вся его «мистика» — и апокалиптика «Белой гвар-

дии», и фантасмагории сатирических повестей, и небывалый, неподражаемый, смешной и жуткий, гротескный и гиперреалистический роман «Мастер и Маргарита» — была лишь игрой воображения, талантливой, яркой, феерической, с большим знанием закулисных технологий и спецэффектов, искусно костюмированной и загримированной, увлекательной и увлекающей. Но действо заканчивалось, и неизбежно наступало разоблачение. Кто-кто, а Булгаков знал это наверняка. И не удивился, когда завороженная чарами его искусства постановочная «бригада», отправившаяся в творческую командировку в Батум, в Серпухове была остановлена какой-то женщиной, крикнувшей в коридоре вагона: «Булгахтеру телеграмма!» Он только тихо поправил: «Это не булгахтеру, а Булгакову».

«А тут еще кот выскочил к рампе и вдруг рявкнул на весь театр человеческим голосом:

— Сеанс окончен! Маэстро! Урежьте марш!!»

Занавес

Павел Фокин

ЛИЧНОСТЬ

Облик

Елена Сергеевна Булгакова (урожд. Нюренберг, в первом браке Неелова, по второму мужу Шиловская; 1893–1970), *третья жена Булгакова в 1932–1940 гг., его муза последних лет жизни:*

У него были необыкновенные ярко-голубые глаза, как небо, и они всегда светились. Я никогда не видела у него тусклых глаз. Это всегда были ярко горевшие интересом, жадностью к жизни глаза [5; 382–384].

Валентин Петрович Катаев (1897–1986), *писатель, драматург, поэт; сослуживец Булгакова в 1920-е годы в газете «Гудок»:*

...У него действительно, если мне не изменяет память, были синие глаза на худощавом, хорошо вылепленном, но не всегда хорошо выбритом лице уже не слишком молодого блондина с независимо-ироническим, а временами даже и надменным выражением, в котором тем не менее присутствовало нечто актерское, а временами даже и лисье [10; 219].

Александр Михайлович Файко (1893–1978), *драматург, сосед Булгакова:*

[В начале 1920-х] Булгаков был худощав, гибок, весь в острых углах светлый блондин, с прозрачно-

серыми, почти водянистыми глазами. Он двигался быстро, легко, но не слишком свободно [5; 347].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова (1895–1987), *вторая жена Булгакова в 1924–1932 гг.:*

Передо мной стоял человек лет 30–32; волосы светлые, гладко причесанные на косой пробор. Глаза голубые, черты лица неправильные, ноздри глубоко вырезаны; когда говорит, морщит лоб. Но лицо в общем привлекательное, лицо больших возможностей. Это значит – способное выражать самые разнообразные чувства. Я долго мучилась, прежде чем сообразила, на кого же все-таки походил Михаил Булгаков. И вдруг меня осенило – на Шаляпина!

Одет он был в глухую черную толстовку без пояса, «распашонкой». Я не привыкла к такому мужскому силуэту; он показался мне слегка комичным, так же как и лакированные ботинки с ярко-желтым верхом, которые я сразу вслух окрестила «цыплячьими» и посмеялась [4; 88].

Валентин Петрович Катаев:

Это были двадцатые годы. Бедствовали. Одевались во что попало. Булгаков, например, один раз появился в редакции в пижаме, поверх которой у него была надета старая потертая шуба [5; 123].

Арон Исаевич Эрлих (1896–1963), *писатель, сценарист, мемуарист; сослуживец Булгакова в 1920-е годы в ЛИТО Наркомпроса и газете «Гудок»:*

Он шел мне навстречу в длинной, на доху похожей, мехом наружу шубе, в глубоко надвинутой на лоб шапке. Слишком ли мохнатое, невиданно длинношерстное облачение его или безучастное, какое-то отрешенное выражение лица было тому причиной, но только многие прохожие останав-

ливались и с любопытством смотрели ему вслед [16; 35 – 36].

И. С. Овчинников, *сотрудник газеты «Гудок», сослуживец Булгакова:*
Тулупчик единственный в своем роде: он без застежек и без пояса. Сунул руки в рукава – и можешь считать себя одетым.
Сам Михаил Афанасьевич аттестует тулупчик так:
– Русский охабень. Мода конца XVII столетия. В летописи в первый раз упоминается под 1377 годом. Сейчас у Мейерхольда в таких охабнях думные бояре со второго этажа падают. Пострадавших актеров и зрителей рынды отвозят в институт Склифосовского. Рекомендую посмотреть... [5; 131]

Татьяна Николаевна Кисельгоф (урожд. Лаппа; 1891–1982), *первая жена Булгакова в 1913–1924 гг. Из беседы с Л. Паршиным:*
Саянский прекрасно карикатуры рисовал. У меня был его рисунок – мы с Булгаковым и Саянский с женой. Замечательно было сделано! Михаил в пижаме, как он всегда дома... неаккуратный такой, брюки приспущены, клок волос висит... [12; 107]

Николай Петрович Ракицкий (1888–1979), *ботаник, филолог и садовод, муж писательницы С. З. Федорченко:*
Устроив в печать «Белую гвардию» и получив деньги, Михаил Афанасьевич решил обновить свой гардероб. Он заказал себе выходной костюм и смокинг. Купил часы с репетиром. Приобрел после долгих розысков монокль. Как-то пришел посоветоваться – где бы ему можно было приобрести шляпу-котелок. Я ему предложил свой, который у меня лежал в шкафу с 1913 года, привезенный мною в свое время из Италии. Котелок был новый, миланской

фабрики (без подкладки). Этому неожиданному подарку Михаил Афанасьевич обрадовался, как ребенок. «Теперь я могу импонировать!» — смеялся он [13; 172].

Александр Михайлович Файко:

Внешне перемена выражалась довольно забавно: он заметно преобразил свой наружный вид, начиная с костюма. <...> Среди скромных и малоэффектных людей, он появлялся в лихо отглаженной черной паре, черном галстуке-бабочке на крахмальном воротничке, в лакированных, сверкающих туфлях, и ко всему прочему еще и с моноклем, который он иногда грациозно выкидывал из глазницы и, поиграв некоторое время шнурком, вставлял вновь, но, по рассеянности, уже в другой глаз... [5; 349]

Август Ефимович Явич (1900–1979), *журналист.*

С виду это был барин, спокойный, доброжелательный, насмешливый, с продолговатым лицом, зачесанными назад мягкими волосами и светлыми глазами [5; 157].

Арон Исаевич Эрлих:

Рано поредевшие светлые волосы его тщательно приглажены, должно быть по утрам он долго их обрабатывает крепкой щеткой и туалетной водой. Галстук бабочкой. Парадный черный пиджак, брюки в полоску [16; 67–68].

Михаил Михайлович Яншин (1902–1976), *русский актер, режиссер. Первый исполнитель роли Лариосика в спектакле МХАТ по пьесе Булгакова «Дни Турбиных»:*

Те, кому доводилось встречаться с Михаилом Афанасьевичем в ту пору, в середине двадцатых годов, помнят этого чуть сутулящегося, с приподнятыми

плечами, светловолосого человека, с немного выцветшими глазами, с вечным хохолком на затылке, с постоянно рассыпавшимися волосами, которые он обыкновенно поправлял пятерней. Чувствовалась в этом особенная, я бы сказал, подчеркнутая чистоплотность как внешнего, так и внутреннего порядка [5; 269].

Эмилий Львович Миндлин (1900–1981), *писатель, мемуарист:*

В Булгакове всё — даже недоступные нам гипсово-твердый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выутюженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целованье ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, решительно все выделяло его из нашей среды. И уж конечно, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав! [5; 145–146]

Софья Станиславовна Пилявская (1911–2000), *актриса театра и кино:*

Необыкновенно элегантный, подтянутый, со все видящими, все замечающими глазами, с нервным, очень часто меняющимся лицом [5; 259].

Юрий Петрович Полтавцев (1908–1998), *харьковский адвокат:*

[1928] Высокий, худощавый, светловолосый, с очень нервным лицом. Всматривающиеся умные глаза... [5; 328]

Екатерина Михайловна Шереметьева (1901–1991), *завлит Красного театра в Ленинграде:*

По-разному описывают его внешность, мне помнится очень гармонично созданный природой человек – стройный, широкоплечий, выше среднего роста. Светлые волосы зачесаны назад, высокий лоб, серо-голубые глаза, хорошее, мужественное, выразительное лицо, привлекающее внимание [5; 368].

Виталий Яковлевич Виленкин (1911–1997), *искусствовед, театровед, литературовед, мемуарист:*

Я всегда ловлю себя на том, что у меня безнадежно не получается цельности даже внешнего портрета. Портрет расплывается, как только попытаешься слить воедино особенности его внешности – лица, рук, фигуры, походки, манеры. Боишься литературности. Вот и приходится ограничиваться тем, что сразу подсказывает память, то есть какими-то отдельностями и штрихами, не сведенными воедино. Тогда начать можно, кажется, с чего угодно: хотя бы с того, каким крепким, небезразличным, всегда что-то значащим было его рукопожатие. И тогда сразу вспомнится его пристальный, ясный, прямо тебе в глаза проникающий взгляд, подвижность плотной, спортивной фигуры, острый угол всегда чуть приподнятого правого плеча, чуть откинутая назад светловолосая голова... Но тут же возникают какие-то уточнения: ясный взгляд? – да, но эти серо-голубые глаза были с каким-то стальным оттенком; стремительный, легкий? – да, но я видел его иногда и тяжелым, погасшим, бесконечно усталым. Особенно в последние годы [5; 282].

Федор Николаевич Михальский (1896–1968), *театральный деятель; с 1918 инспектор МХТ; в дальнейшем главный администратор, помощник директора МХАТ; с 1937 директор музея МХАТ; прототип администратора Фи-*

липпа Филипповича из «Записок покойника» («Театрального романа»):

Теперь, через много лет, вспоминая Михаила Афанасьевича, я почему-то прежде всего слышу его голос — баритон чуть-чуть с носовым оттенком. Порой в нем чувствуется легкая ласковая ирония и к своему собеседнику, и к самому себе, и к событиям театрального дня. И тот же голос — голос колючий, с бескомпромиссными интонациями, когда посягают на его творчество, на его убеждения [5; 256].

Григорий Григорьевич Конский (1911–1972), *актер и режиссер МХАТа:*

Я провожаю Михаила Афанасьевича домой, в Нащокинский переулок. Идем молча. Не потому, что не о чем говорить, а потому, что Михаил Афанасьевич о чем-то задумался. Идет он быстро, не глядя под ноги. Выражение лица все время меняется — как будто в голове его непрестанно пробегают разные, сменяющие друг друга мысли. <...>

Одет он в какое-то странное меховое пальто, не подбитое мехом, а мехом наружу, чуть нескладное и вместе с тем очень элегантное. На голове его — шапка этого же меха. И очень странно видеть, как он — такой неуклюжий в этом меховом одеянии — с необычайной легкостью движется своей молодой упругой походкой по накатанному снегу бульвара [5; 335].

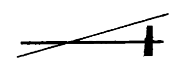
Александр Михайлович Файко:

Ранней осенью 1939 года Михаил Афанасьевич и Елена Сергеевна решили поехать в Ленинград, чтобы немножко развеяться, отдохнуть от потрясений и неудач, обрести силы для дальнейшей работы. Я надолго запомнил их отъезд на Ленинградский вокзал. Они зашли ко мне проститься. После короткого прощания (Михаил Афанасьевич не любил сентиментальностей) я подошел к окну и глядел на них с четвертого этажа. Отчетливо помню спину Булгакова

(он был в летнем пальто кофейного цвета и мягкой темной шляпе) – худую, с выступающими лопатками. Что-то скорбное, измученное было в этой спине. Я следил за его высокой фигурой, когда он, согнувшись, садился в такси, резким, характерным жестом отбросив в сторону папиросу. Хотелось крикнуть вслед какое-то прощальное слово, но я никак не мог его найти. Машина мягко тронулась с места и отъехала от нашего подъезда... «Неужели я больше никогда его не увижу, неужели?» – неожиданно подумал я.
Нет, я его увидел, и даже довольно скоро – примерно через месяц. Но Елена Сергеевна привезла обратно не отдохнувшего и успокоившегося, а уже очень больного и как-то сразу постаревшего человека. Михаил Афанасьевич слег и только спустя некоторое время, далеко не сразу, стал выходить к столу. Большей же частью он лежал на своей тахте, в легком халате (всякая излишняя одежда тяготила его) [5; 349–350].

Иосиф Матвеевич Рапопорт (1901–1970), *советский актер, режиссер театра им. Е. Вахтангова, педагог:*
Однажды я пришел к больному Михаилу Афанасьевичу. Он лежал, отгороженный от света большими шкафами. Когда я вошел, он сел, выпрямившись на белой подушке, в белой рубашке, в черной шапочке и темных очках [5; 364].

Рубен Николаевич Симонов (1899–1968), *советский актер и режиссер, в течение многих лет возглавлял театр им. Е. Вахтангова:*
Михаил Афанасьевич, тяжело больной, сидел дома, в черном халате, в черной шапочке (какие носят ученые), часто надевал темные очки [5; 358].





Характер

Виталий Яковлевич Виленкин:

Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный – всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, – уже вторично, зависимо от этого главного, привлекавшего к себе как магнит [5; 282–283].

Елена Сергеевна Булгакова:

Энергичен он был беспредельно. <...> Булгаков был невероятный. Он мог выйти утром и бегать по всей Москве, добывая какой-то жалкий кусок хлеба. Но, поставив перед собой большие задачи, шел к этому очень твердыми шагами... <...>

Я не встречала по силе характера никого, равного Булгакову. Его нельзя было согнуть, у него была какая-то такая стальная пружина внутри, что никакая сила не могла его согнуть, пригнуть, никогда. Он всегда пытался найти выход [5; 385].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. А как Булгаков относился к славе? Рвался к ней или просто писал себе и писал...

Т. К. Очень даже рвался.

Л. П. Очень рвался?

Т. К. Очень рвался, очень рвался. Он все рассчитывал, и со мной из-за этого разошелся. У меня же ничего не было больше. Я была пуста совершенно. А Белозерская приехала из-за границы, хорошо была одета, и вообще у нее что-то было, и знакомства его интересовали, и ее рассказы о Париже... [12; 102]

Игорь Владимирович Белозерский, *племянник Л. Е. Белозерской-Булгаковой. В записи С. П. Князевой:*

Булгаков был неверный человек. У него были женщины, у него, наконец, были на стороне прижитые двое детей. <...> Виновником развода с Любовь Евгеньевной (Белозерской. — *Сост.*) был Булгаков. Он был большим неврастеником, а она здоровая женщина, которая единственная в Москве в то время имела собственный автомобиль и сама его водила. Она увлекалась конным спортом. Это должно было Булгакова раздражать, и, по всей видимости, раздражало. Рядом с ним билась здоровая жизнь.

Александр Михайлович Файко:

Он был слишком нервен, впечатлителен и, конечно, честолюбив [5; 349].

Екатерина Михайловна Шереметьева:

При большой сдержанности Михаила Афанасьевича все-таки можно было заметить его редкую впечатлительность, ранимость, может быть, нервность. Иногда и не уловишь, отчего чуть дрогнули брови,

чуть сжался рот, мускул в лице напрягся, а его что-то царапнуло [5; 372].

Виталий Яковлевич Виленкин:

– Скажите, какой человеческий порок, по-вашему, самый главный? – спросил он меня однажды совершенно неожиданно.

Я стал в тупик и сказал, что не знаю, не думал об этом.

– А я знаю. Трусость – вот главный порок, потому что от него идут все остальные.

Думаю, что этот разговор был не случайным. Вероятно, у него бывали моменты отчаяния, но он их скрывал даже от друзей. Я лично не видел его ни озлобившимся, ни замкнувшимся в себе, ни внутренне сдавшимся. Наоборот, в нем сила чувствовалась. Он сохранял интерес к людям (как раз в это время он многим помогал, но мало кому это становилось известным). Сохранял юмор, правда, становившийся все более саркастическим. О его юморе проникновенно сказала Анна Ахматова в стихотворении, посвященном его памяти:

Ты пил вино, ты как никто шутил
И в душных стенах задыхался...

[5; 294]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Самые ответственные моменты зачастую отражаются в шутливых записках М. А. Когда гражданская смерть, т. е. полное изничтожение писателя Булгакова стало невыносимым, он решил обратиться к правительству, вернее, к Сталину. Передо мной две записки.

«Не уны... Я бу боро...» – стояло в одной. И в другой: «Папа придумал! И решился»... [4; 163]

Виктор Ефимович Ардов (1900–1976), *писатель, сосед Булгакова:*

Удивительно обаятелен бывал Михаил Афанасьевич, если собиралась компания друзей — у него или в другом доме. Его необыкновенно предупредительная вежливость сочеталась с необыкновенной же скромностью... Он словно утрачивал третье измерение и некоторое время пребывал где-то на самом заднем плане. Весь шум, сопровождающий сбор гостей, он пережидал как бы в тени. Никогда не перебивал рассказчика, не стремился стать «душой общества». Но непременно возникал такой момент, когда Михаила Афанасьевича просили что-нибудь рассказать. Он не сразу соглашался... Это не было похоже на то, как «кобенится» домашнее дарование перед тем, как обнаружить свои возможности перед захмелевшими гостями. Булгаков был поистине застенчив. Но, преодолев застенчивость, он прочно овладевал вниманием общества [5; 342].

Павел Александрович Марков (1897–1980), *русский театральный критик, историк театра, режиссер, педагог:*

Михаил Афанасьевич обладал действительно огромным обаянием, острым и неожиданным [11; 225].

Сергей Александрович Ермолинский (1900–1984), *писатель, драматург, мемуарист:*

Он был общителен, но скрытен.

Он был гораздо более скрытен, чем это могло показаться при повседневном и, казалось бы, самом дружеском общении [8; 32].

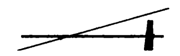
Виталий Яковлевич Виленкин:

Булгаковский сарказм нередко касался театрального и литературного мира. Но я никогда не слыхал

от него ни одной завистливой фразы, и он никогда не противопоставлял себя другим писателям, судьба которых складывалась счастливее [5; 294].

Елена Сергеевна Булгакова:

Он безумно любил жизнь. И даже, когда он умирал, он сказал такую фразу: «Это не стыдно, что я так хочу жить, хотя бы слепым». Он ослеп в конце жизни. Он был болен нефросклерозом и, как врач, знал свой конец. Он ослеп. Но он так любил жизнь, что хотел остаться жить даже слепым... [5; 384]



Особенности поведения

Екатерина Михайловна Шереметьева:

Простота, искренность, все пронизывающий юмор, благородство, свобода и застенчивость — все в нем казалось особенным [5; 369].

Павел Александрович Марков:

Он поразил нас с первого взгляда. Было в нем какое-то особое сочетание самых противоречивых свойств. Молодой, хорошо, даже с оттенком некоторого франтовства одетый блондин оказался обладателем отличных манер и совершенно ослепительного юмора. Он воспринимал жизнь с каким-то жадным, неистощимым интересом и в то же время был лишен созерцательности [11; 225].

Евгений Васильевич Калужский (1896–1966), *артист МХАТа, знакомый Булгакова, муж О. С. Бокшанской:*

Он был безукоризненно вежлив, воспитан, остроумен, но с каким-то «ледком» внутри. Вообще он показался несколько «колючим». Казалось даже, что, улыбаясь, он как бы слегка скалил зубы. Особенное впечатление произвел его проницательный, пытливый взгляд. В нем ощущалась сильная, своеобразная, сложная индивидуальность [5; 244].

Эмилий Львович Миндлин:

Он вообще дивил нас своими поступками.

Появилась моя статья в «Накануне». Редакция напечатала ее двумя подвалами — «Неосуществленный Санкт-Петербург».

Когда я утром пришел в редакцию, Булгаков уже сидел в глубине одной из редакционных кабин. При моем появлении поднялся и с церемонным поклоном поздравил меня с «очень удачной», по его мнению, статьей в «Накануне».

Потом оказалось, что я не единственный, ради которого он специально приходил в редакцию, чтобы поздравить с удачей.

Всякий раз, когда чья-нибудь статья или рассказ вызывали его одобрение, Булгаков считал своим долгом пораньше прийти в редакцию, усаживался на узкий диванчик в кабинете и терпеливо дожидался появления автора, чтобы принести ему поздравления.

Делал он это приблизительно в таких выражениях:

— Счел своим приятнейшим долгом поздравить вас с исключительно удачной статьей, которую имел удовольствие прочитать-с [5; 147–148].

Валентин Петрович Катаев:

<...> В нем было что-то неуловимо провинциальное.

<...> Он любил поучать — в нем было заложено нечто менторское. Создавалось такое впечатление, что лишь одному ему открыты высшие истины не только искусства, но и вообще человеческой жизни. Он принадлежал к тому довольно распространенному типу людей никогда и ни в чем не сомневающихся, которые живут по незыблемым, раз навсегда установленным правилам. Его моральный кодекс как бы безоговорочно включал в себя все заповеди Ветхого и Нового заветов.

Впоследствии оказалось, что все это было лишь защитной маской втайне очень честолюбивого, влюбчивого и легкоранимого художника, в душе которого бушевали незримые страсти.

Несмотря на всю свою интеллигентность и громадный талант, который мы угадывали в нем, он был, как я уже говорил, в чем-то немного провинциален. Может быть, и Чехов, приехавший в Москву из Таганрога, мог показаться провинциалом.

Впоследствии, когда синеглазый прославился и на некоторое время разбогател, наши предположения насчет его провинциализма подтвердились: он надел галстук бабочкой, цветной жилет, ботинки на пуговицах, с прюнелевым верхом, и даже, что показалось совершенно невероятным, в один прекрасный день вставил в глаз монокль, развелся со старой женой, изменил круг знакомых и женился на некой Белосельской-Белозерской, прозванной ядовитыми авторами «Двенадцати стульев» «княгиней Белорусско-Балтийской».

Синеглазый называл ее весьма великосветски на английский лад Напси [10; 219–220].

Софья Станиславовна Пилявская:

Холодный, даже немного чопорный с чужими и такой открытый, насмешливо веселый и пристально внимательный к друзьям или просто знакомым [5; 259].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Знакомых у него полно было. С кем только он не знакомился! [12; 98]

Елена Сергеевна Булгакова:

Это был человек, который, когда появлялся где-нибудь, то очень скромно. Он никогда не претен-

довал на первое место, но невольно так получалось благодаря его остроумию, благодаря необычайной жизненной силе, бурлящей в нем [5; 384].

Евгений Васильевич Калужский:

Булгаков любил, когда приходили к нему домой. У него были старые, испытанные друзья, которым он отвечал самой верной и крепкой дружбой. Случалось заставать Михаила Афанасьевича в халате, когда он вставал после обязательного послеобеденного сна. Извинившись всякий раз за свой вид, он обязательно уходил одеться, хотя бы в этот вечер никто не ожидался [5; 252].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Он значительно легче и свободней чувствовал себя в беседе с женщинами [4; 116].

Екатерина Михайловна Шереметьева:

Мне напоминало отца рыцарски-заботливое отношение Булгакова к женщине. Смешно говорить, что Михаил Афанасьевич не мог сидеть в трамвае, если рядом стояла женщина; оберегая свою спутницу, он не мог причинить неудобство другим женщинам, внимание, помощь, если она была нужна и уместна, он оказывал легко, естественно [5; 369].

Евгений Васильевич Калужский:

Вспоминается, как он доставал папиросу, брал спички, закуривал и вкусно затягивался. Взгляд его становился весело-лукавым. Это значило, что сейчас возникнет новая интересная тема или начнется новая блестящая импровизация [5; 245].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас всюду было печное отопление, и М. А. иногда сам топил печку в своем кабинете; помешивая,

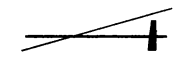
любил смотреть на подернутые золотом угли, но всегда боялся угара [4; 154].

Владимир Яковлевич Лакшин (1933–1993), *литературный критик. Со слов Е. С. Булгаковой:*
Деньги же у Михаила Афанасьевича не держались [5; 415].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*
Он всегда подавал нищим, вообще совсем не был скупым, деньги никогда не прятал, приносил — тут же все отдавал; правда, потом сам же и забирал... [5; 112]

Екатерина Михайловна Шереметьева:
У него были ловкие руки, точный глазомер, мгновенная реакция на неожиданность, изобретательность — все, что он делал, выходило естественно, изящно, все, что он делал, до мелочей, было талантливо [5; 370].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Мы часто опаздывали и всегда торопились. Иногда бежали за транспортом. Но Михаил Афанасьевич неизменно приговаривал: «Главное — не терять достоинства» [4; 174].





Творчество

Виталий Яковлевич Виленкин:

Главное, что меня в нем поражало, это неугасимая внутренняя готовность к творчеству. Казалось, что если не сегодня, то завтра он непременно начнет писать, и было ясно, что в голове его зреет множество замыслов [5; 294].

Арон Исаевич Эрлих:

Он сидит за столом сразу при входе справа. Вот он раскрыл папку, — обыкновенную картонную папку с надписью «М. Булгакову», — в ней свежие, только сегодня доставленные почтой, рабкоровские корреспонденции. Вот он подогнул под себя на стуле левую ногу, осел на нее всей тяжестью корпуса, — значит, сейчас будет готовить подборку заметок в очередной номер газеты: мы уже знаем — Михаил Афанасьевич пишет не иначе, как сидя на собственной левой ноге [16; 67].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Писал Михаил Афанасьевич быстро, как-то залпом. Вот что он сам рассказывает по этому поводу: «...сочинение фельетона строк в семьдесят пять—сто отнимало у меня, включая сюда и курение и посви-

стывание, от восемнадцати до двадцати минут. Переписка его на машинке, включая сюда и хихиканье с машинисткой, — восемь минут. Словом, в полчаса все заканчивалось» [4; 95].

Константин Георгиевич Паустовский (1892–1968), *писатель, соученик Булгакова по киевской Александровской гимназии:*

Легкость работы Булгакова поражала всех. Это та же легкость, с какой юный Чехов мог написать рассказ о любой вещи, на которой остановился его взгляд, — чернильнице, вихрастом мальчишке, разбитой бутылке. Это — брызжущий через край поток воображения.

Так легко и беззаботно работал Булгаков в «Гудке» в те знаменитые времена, когда там подвизалась на «четвертой полосе» компания насмешливых юношей во главе с Ильфом и Петровым. <...>

В то время Булгаков часто заходит к нам, в соседнюю с «Гудком» редакцию морской и речной газеты «На вахте». Ему давали письмо какого-нибудь начальника пристани или кочегара. Булгаков проглядывал письмо, глаза его загорались веселым огнем, он садился около машинистки и за 10–15 минут надиктовывал такой фельетон, что редактор только хватался за голову, а сотрудники падали на столы от хохота [5; 102].

Ирина Сергеевна Раабен (фон Раабен, урожд. Каменская), *в 1920-е годы – машинистка, работавшая с Булгаковым над «Записками на манжетах» и романом «Белая гвардия»:*

Первое, что мы стали с ним печатать, были «Записки на манжетах». Он приходил каждый вечер, часов в 7–8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные лис-

точки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку [5; 128].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*
Когда он обычно работал? В земстве писал ночами... в Киеве писал вечерами, после приема. Во Владикавказе после возвратного тифа сказал: «С медициной покончено». Там ему удавалось писать днем, а в Москве уже стал все время писать ночами [5; 120–121].

Август Ефимович Явич:
Булгаков жил в удлиненной комнате с одним окном, к которому вплотную был придвинут письменный стол, совершенно пустынный, – ни карандаша, ни листка бумаги, ни книжки, словом, никаких признаков писательского труда. Похоже, все складывалось в ящики стола, как только прекращалась работа, и для посторонних любопытных глаз ничего не оставлялось. Да и работал он в ту пору по ночам [5; 158].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Идет 1927 год. Подвернув под себя ногу калачиком (по семейной привычке: так любит сидеть тоже и сестра М. А. Надежда), зажегши свечи, пишет чаще всего Булгаков по ночам [4; 130].

Елена Сергеевна Булгакова. *В записи В. Я. Лакшина:*
Я в молодости, познакомившись с Булгаковым, когда его страшно ругали за «Белую гвардию», «Турбиных», сказала ему: «Ну что вам стоит написать пьесу о Красной Армии». Он посмотрел на меня страшными глазами и сказал с обидой: «Как вы не

понимаете, я очень хотел бы написать такую пьесу. Но я не могу писать о том, чего не знаю» [5; 413].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из допроса ОГПУ. Собственноручное признание. 22 сентября 1926 г.:*

На крестьянские темы я писать не могу потому, что деревню не люблю. Она мне представляется гораздо более кулацкой, нежели это принято думать.

Из рабочего быта мне писать трудно, я быт рабочих представляю себе хотя и гораздо лучше, нежели крестьянский, но все-таки знаю его не очень хорошо. Да и интересуюсь я им мало, и вот по какой причине: я занят, я остро интересуюсь бытом интеллигенции русской, люблю ее, считаю хотя и слабым, но очень важным слоем в стране. Судьбы ее мне близки, переживания дороги.

Значит, я могу писать только из жизни интеллигенции в Советской стране. Но склад моего ума сатирический. Из-под пера выходят вещи, которые порою, по-видимому, остро задевают общественно-коммунистические круги.

Я всегда пишу по чистой совести и так, как вижу. Отрицательные явления жизни в Советской стране привлекают мое пристальное внимание потому, что в них я инстинктивно вижу большую пищу для себя (я – сатирик) [15; 133].

Елена Сергеевна Булгакова:

Булгаков не мог писать фотографии, точный образ того человека, с которым он был знаком. Но когда он глядел на людей, то он как-то сразу проникал в их сущность и сразу создавал все-таки что-то свое при этом. Дело в том, что у него была такая манера: он любил ходить в рестораны, потому что там было много людей для наблюдения. Он садился и гово-

рил: «Вот посмотри на тот столик. Там сидят четыре человека. Хочешь, я тебе расскажу их отношения между собой, кто они по профессии, о чем они сейчас говорят и что их мучает?» Может быть, он все это импровизировал, выдумывал, но, когда я смотрела на людей, мне казалось, что только так и может быть, настолько убедительны были все его доводы, все доказательства того, что вот это люди именно такой профессии, таких отношений между собой и об этом они сейчас думают или говорят [5; 381–382].

Константин Георгиевич Паустовский:

От общения с Булгаковым оставалось впечатление, что и прозу свою он сначала «проигрывал». Он мог изобразить с необыкновенной выразительностью любого героя своих рассказов и романов. Он их видел, слышал, знал насквозь. Казалось, что он прожил с ними бок о бок всю жизнь. Возможно, что человек у Булгакова возникал сначала из одного какого-нибудь услышанного слова или увиденного жеста, а потом Булгаков «выигрывался» в своего героя, щедро прибавлял ему новые черты, думал за него, разговаривал с ним (иногда буквально – умываясь по утрам или сидя за обеденным столом), вводил его, как живое, но «не имеющее фигуры» лицо в самый обиход своей булгаковской жизни. Герой завладевал Булгаковым всецело. Булгаков перевоплощался в него [5; 99–100].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

1929 год. Пишется пьеса «Мольер» («Кабала святош»). Действует все тот же не убитый или еще не добитый творческий инстинкт. Перевожу с французского биографии Мольера. Помню длинное торжественное стихотворение, где творчество его отождествляется с силами и красотой природы...

М. А. ходит по кабинету, диктует текст, играя попутно то или иное действующее лицо. Это очень увлекательное действо. <…>

Как сейчас вижу некрасивое талантливое лицо Михаила Афанасьевича, когда он немножко в нос декламирует:

Муза, муза моя, о, лукавая Талия…

[4; 177]

Сергей Александрович Ермолинский:

Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив. «Луна, луна, за что меня сгубила? – пел он речитатив сына посадского Ильи Пахомова. – Уж я достиг стены, но выдал лунный свет, меня заметили, схватили… Ах, неудачник я!..» Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам с собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижера. А однажды днем я застал его в халате танцующим посреди комнаты. В доме никого не было, семья была на даче в Загорянке. Он сам открыл дверь и продолжал выделывать па, вскидывая босые ноги и теряя шлепанцы.

– Миша, что с тобой? – остолбенел я.

– Творю либретто для балета. Что-то андерсеновское – «Калоши счастья». Вдохновляюсь. Ничего, брат, не попишешь. Надо – буду балериной. Но… не более.

Константин Георгиевич Паустовский:

Однажды зимой он приехал ко мне в Пушкино. Мы бродили по широким просекам около заколоченных дач. Булгаков останавливался и подолгу рассматривал шапки снега на пнях, заборах, на еловых ветвях. «Мне нужно это, – сказал он, – для моего

романа». Он встряхивал ветки и следил, как снег слетает на землю и шуршит, рассыпаясь длинными белыми нитями [5; 103].

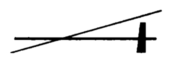
Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*
<1937>
25 июня. <...> М. А. часто уходил к себе в комнату, наблюдал луну в бинокль — для романа. Сейчас — полнолуние [7; 156].

Александр Михайлович Файко. *Из речи на гражданской панихиде 11 марта 1940 г.:*
Он умел работать методично, последовательно и систематично. Этому можно было у него поучиться. Когда он обращался к прошлому — когда писал «Дон Кихота», «Мольера» и «Пушкина», — он изучал материал со скрупулезной точностью. Так, например, изучал он испанский язык, когда работал над «Дон Кихотом», так копался он в архивах, работая по «Пушкину» и «Мольеру». У него была страсть коллекционировать словари. Это был не прихотливый каприз, а он подходил к ним с взыскательной требовательностью ученого [6; 310].

Виталий Яковлевич Виленкин:
Его творческая натура требовала все новых и новых проявлений. Иногда они бывали неожиданными. Елена Сергеевна показала мне как-то толстую клеенчатую тетрадь, в разных местах обрывочно заполненную его характерным крупным с резкими нажимами почерком. Это были наброски отдельных глав учебника по истории СССР, который он начал писать, прочтя в газете объявление о предстоящем конкурсе. Я был поражен свежестью и живостью языка, изяществом стиля, словом, литературным совершенством этих еще черновых исторических фрагментов [5; 295].

Сергей Александрович Ермолинский:

Ему претили словесные штампы, ужасала казенная узость обобщений. Не менее этого его раздражало «новаторство» – намеренная невнятица, гримасы уродливого языка или нарочито грубый натурализм. Игра жаргонными словечками, якобы фиксирующими современный язык, а в особенности откровенная непристойность и словесный цинизм вызывали у него брезгливость [8; 69].



Особенности ума и мышления

Надежда Афанасьевна Земская (урожд. Булгакова; 1893–1974), *сестра писателя. Из дневника. 28 декабря 1912 г.:*

У Миши есть вера в свою правоту или желание этой веры, а отсюда невозможность или нежелание понять окончательно другого и отнестись терпимо к его мнению. Необузданная сатанинская гордость, развивавшаяся в мыслях все в одном направлении за папиросой у себя в углу, за односторонним подбором книг, гордость, поднимаемая сознанием собственной недюжинности, отвращение к обычному строю жизни — мещанскому — и отсюда «права на эгоизм» и вместе рядом такая привязанность к жизненному внешнему комфорту, любовь, сознательная и оправданная самим, к тому, что для меня давно утратило свою силу и перестало интересовать [5; 70–71].

Александр Петрович Гдешинский (1893–1951), *музыкант, педагог, друг юности Булгакова. Из письма Н. А. Булгаковой:*

Что поражало в нем прежде всего — это острый, как лезвие, ум. Он проникал за внешние покровы мысли и слов и обнаруживал тайники души. (Вот

это обнаруживание тайников души вы найдете во многих произведениях Михаила, самых серьезных.) Его прозорливость была необычайна. От него не было тайн. Беспощадный враг пошлости, лицемерия, косности и мещанства, он хотел видеть всех лучшими, чем они есть на самом деле, — эту мысль выразил он мне однажды. Он не только боролся с пошлостью, лицемерием, жадностью и другими человеческими пороками, он хотел сделать людей лучше. Проникая в чужую душу, он безошибочно отделял правду от лжи, уродливое от прекрасного и выносил беспощадный приговор самым страшным оружием — смехом! Но это одна сторона, а с другой стороны — этот блестящий непобедимый юмор, это сверкание обаятельной неповторимой личности [5; 54].

Павел Александрович Марков:

Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и поразительно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни. И уж, конечно, его юмор не всегда можно было назвать безобидным — не потому, что Булгаков исходил из желания кого-либо унизить (это было ему противопоказано). Но порою его юмористический талант принимал, так сказать, разоблачительный характер, зачастую вырастая до философского сарказма. Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только внешние его повадки, которые он гиперболизировал в какую-то немыслимую и при этом вполне вероятную характерность, но самое главное — он вникал в психологическую сущность каждого. В самые горькие минуты жизни он не терял дара ей удивляться, и любил удивляться, и, подобно Горькому, восхищался удивительными людскими чертами, и чем более он разгадывал их необычность, тем настойчивее ими увлекался [11; 225–226].

Евгений Васильевич Калужский:

Рассказывал ли он или просто балагурил – все было не только интересным, но и содержательным. Суждения его были метки, наблюдательность поразительна, проницательность изумляюща [5; 245].

Константин Георгиевич Паустовский:

Булгаков был жаден до всего, если можно так выразиться, выпуклого в окружающей жизни.

Все, что выдавалось над ее плоскостью, будь то человек или одно какое-нибудь его свойство, удивительный поступок, непривычная мысль, внезапно замеченная мелочь (вроде согнутых от сквозняка под прямым углом язычков свечей на театральной рампе), – все это он схватывал без всякого усилия и применял и в прозе, и в пьесах, и в обыкновенном разговоре. Может быть, поэтому никто не давал таких едких и «припечатывающих» прозвищ, как Булгаков. Особенно отличался он этим в Первой киевской гимназии, где мы вместе учились.

– Ядовитый имеете глаз и вредный язык, – с сокрушением говорил Булгакову инспектор Бодянский. – Прямо рветесь на скандал, хотя и выросли в почтенном профессорском семействе. Это ж надо придумать! Ученик вверенной нашему директору гимназии обозвал этого самого директора «Маслобоем»! Неприличие какое! И срам! [5; 104]

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

Мы любили шутить друг над другом (тон задавал старший брат), а шутки бывали острые и задевающие [5; 59].

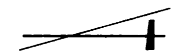
Август Ефимович Явич:

Грубо подтрунивать над кем-либо ему не позволяло воспитание, но если он смеялся, то непременно

в типизирующих масштабах. Он мог пустить крылатую остроту: «Не в том беда, что ты Визун, а в том беда, что ты лизун», и эта стрела летела гораздо дальше реального, всем нам знакомого Визуна. Про кого-то он сказал: «Этот человек лишен чувства юмора. С ним лучше не связываться. Скажи такому, что ты украл луну, – поверит». Про другого Булгаков заметил: «У него остроумие повисает на длинной ниточке слюны» [5; 157].

Сергей Александрович Ермолинский:

Михаил Афанасьевич любил говорить, что вокруг него нет-нет, да и завертится какая-нибудь эдакая чертовщина. Впрочем, может быть, он был прав, когда говорил, что мир, лишенный тайн, становится плоским и безнадежным? Он хотел, чтобы была тайна. Чтобы было «чудо» [8; 94].



Идейные взгляды и убеждения

Сергей Александрович Ермолинский:

Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это «подкусыванием Советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до брезгливости чужд, но писать торжественные оды или умилительные идиллии категорически отказывался [8; 35].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из протокола допроса ОГПУ. 22 сентября 1926 г.:*

Литературным трудом начал заниматься с осени 1919 г. в гор. Владикавказе, при белых. Писал мелкие рассказы и фельетоны в белой прессе. В своих произведениях я проявлял критическое и неприязненное отношение к Советской России. <...> На территории белых я находился с августа 1919 г. по февраль 1919 г. Мои симпатии были всецело на стороне белых, на отступление которых я смотрел с ужасом и недоумением [15; 131].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Т. К. Он был вообще вне всякой политики. Ни на какие собрания или там сходки не ходил. Но большевиков он не любил, и по убеждениям он был монархист.

Л. П. А как в смысле веры? Насколько я помню, он не был верующим?

Т. К. Нет, он верил. Только не показывал этого.

Л. П. Молился?

Т. К. Нет, никогда не молился, в церковь не ходил, крестика у него не было, но верил. Суеверный был. Самой страшной считал клятву смертью. Считал, что это... за нарушение этой клятвы будет обязательно наказание. Чуть что — «Клянись смертью!» [12; 63]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

5 января 1925. Сегодня специально ходил в редакцию «Безбожника». Она помещается в Столешн<иковом> пер<еулке>, вернее, в Козмодемьяновском, недалеко от Моссовета. Был с М. С., и он очаровал меня с первых же шагов.

— Что, вам стекла не бьют? — спросил он у первой же барышни, сидящей за столом.

— То есть, как это? (растерянно).

— Нет, не бьют (зловеще).

— Жаль.

Хотел поцеловать его в его еврейский нос. Оказывается, комплекта за 1923 год нет. С гордостью говорят — разошлось. Удалось достать 11 номеров за 1924 год, 12-й еще не вышел. Барышня, если можно так назвать существо, дававшее мне его, неохотно дала мне его, узнав, что я частное лицо.

— Лучше я б его в библиотеку отдала.

Тираж, оказывается, 70 000 и весь расходится. В редакции сидит неимоверная сволочь, входят, при-

ходят; маленькая сцена, какие-то занавесы, декорации. На столе, на сцене, лежит какая-то священная книга, возможно, Библия, над ней склонились какие-то две головы.

— Как в синагоге, — сказал М., выходя со мной.

<...>

Когда я бегло проглядел у себя дома вечером номера «Безбожника», был потрясен. Соль не в кощунстве, хотя оно, конечно, безмерно, если говорить о внешней стороне. Соль в идее: ее можно доказать документально — Иисуса Христа изображают в виде негодяя и мошенника, именно его. Нетрудно понять, чья это работа. Этому преступлению нет цены [3; 156–157].

Эмилий Львович Миндлин:

Сам он очень серьезно относился к своему возрасту — не то чтобы годы пугали его, нет, он просто считал, что тридцатилетний возраст обязывает писателя. У него даже была своя теория «жизненной лестницы». Он объяснял ее мне, когда мы шли с ним в зимний день по Тверскому бульвару — он в длиннополой и узкоплечей шубе на теплом меху, я в своей куртке мехом наружу.

У каждого возраста — по этой теории — свой «приз жизни». Эти «призы жизни» распределяются по жизненной лестнице — все растут, приближаясь к вершинной ступени, и от вершины спускаются вниз, постепенно сходя на нет.

Много лет спустя — уже в тридцатые годы — я вспоминал эту булгаковскую теорию. Однажды пришел к нему и вижу: в узком его кабинете на стене над рабочим столом висит старинный лубок. На лубке — «лестница жизни» от рождения и до скончания человека. Правда, человек, сначала восходящий по лестнице, а потом нисходящий по ней, был отнюдь не писатель. Был он, по-видимому, купец — в тридцать

лет женатый владетель «собственного торгового дела», в пятьдесят — на вершине лестницы знатный богач, окруженный детьми, в шестьдесят — дед с многочисленными внуками — наследниками его капитала, в восемьдесят — почтенный старец, отошедший от дел, а еще далее «в бозе почивший», в гробу со скрещенными на груди восковыми руками...
Булгакову очень нравился этот лубок. Неважно, что на лубке восхождение и нисхождение жизни купца. Можно ведь этак представить и жизнь писателя: в тридцать лет написал роман, в пятьдесят достиг признания, в шестьдесят много и широко издается... [5; 149–150]

Рубен Николаевич Симонов:

Вспоминаю последнюю встречу с драматургом в 1940 году. Немцы напали на Францию. Михаил Афанасьевич говорил о том, как ужасно то, что немцы напали на Францию, что война перекинется на Советский Союз. <...> Он сказал мне: «Вы знаете, Рубен Николаевич, я, наверное, все-таки пацифист. Я против убийств, насилий, бессмысленной войны» [5; 357–358].



Врач

Надежда Афанасьевна Земская:

Я хочу здесь отметить один факт, на который стоит обратить внимание. У матери в семье было шесть братьев и три девочки. И из шести братьев трое стали врачами. В семье отца один был врачом. После смерти нашего отца, потом, не сразу мать вышла второй раз замуж, и наш отчим был тоже врачом. Поэтому я опровергаю здесь мнение, что Михаил Афанасьевич случайно выбрал эту профессию. Совсем не случайно. Это было как-то в воздухе нашей семьи — и Михаил выбрал свою профессию, свою медицину обдуманно и сознательно. И он любил свою медицину [5; 47].

Елена Андреевна Земская (р. 1926), *российский лингвист, доктор филологических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела современного русского языка Института русского языка РАН им. В. В. Виноградова. Племянница Булгакова:*

В жизни Мих. Булгаков был остро наблюдателен, стремителен, находчив и смел, он обладал выдающейся памятью. Эти качества определяют его и как врача, они помогали ему в его врачебной деятельности. Диагнозы он ставил быстро, умел сразу схва-

тить характерные черты заболевания; ошибался в диагнозах редко. Смелость помогала ему решаться на трудные операции [5; 85].

Из удостоверения Сычевской земской управы. 1917 г.:
Выдано настоящее удостоверение Врачу Михаилу Афанасьевичу Булгакову в том, что он с 29-го сентября 1916 года и по 18 сентября сего 1917 года состоял на службе Сычевского земства в должности Врача, заведовавшего Никольской земской больницей, за каковое время зарекомендовал себя энергичным и неутомимым работником на земском поприще. При этом, по имеющимся в Управе сведениям, в Никольском участке за указанное время пользовалось стационарным лечением 211 чел., а всех амбулаторных посещений было 15 361.
Оперативная деятельность врача М. А. Булгакова за время его пребывания в Никольской земской больнице выразилась в следующем: было произведено операций – ампутация бедра 1, отнятие пальцев на ногах 3, выскабливание матки 18, обрезание крайней плоти 4, акушерские щипцы 2, поворот на ножку 3, ручное удаление последа 1, удаление атеромы и липомы 2 и трахеотомий 1; кроме того, производилось: зашивание ран, вскрытие абсцессов и нагноившихся атером, проколы живота (2), вправление вывихов; один раз производилось под хлороформенным наркозом удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения [14, кн. 1; 17].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Вязьма, 3 октября 1917 г.:*
Мне на этих днях до зарезу нужно было бы побывать в Москве по своим делам, но я не могу бросить ни на минуту работу и поэтому обращаюсь к тебе с просьбой сделать в Москве кой-что, если тебя не затруднит.

1) Купи, пожалуйста, книгу Клопштока и Коварского *«Практическ. руководств. по Клиническ. химии, микроскопии и бактериолог.»* (Издан. «Сотрудник») и вышли ее мне.
Узнай, какие есть в Москве самые *лучшие издания* по кожным и венерическим на русск. или немецк. языках и сообщи мне, *не покупай пока,* цену и названия. (Нет ли Jessner'a (Руководство по кожн. и венерич.) на немецк. языке?) [2; 388]

Надежда Афанасьевна Земская:

1916 год. Приехав в деревню в качестве врача, Михаил Афанасьевич столкнулся с катастрофическим распространением сифилиса и других венерических болезней (конец войны, фронт валом валил в тыл, в деревню хлынули свои и приезжие солдаты). При общей некультурности быта это принимало катастрофические размеры. Кончая университет, М. А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М. А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 г. он приехал уже венерологом. И там продолжал работу по этой специальности — недолго. В 1919 г. совершенно оставил медицину для литературы [5; 87].

Сергей Александрович Ермолинский:

Когда я заболевал, он спешил ко мне: любил лечить. Болезни у меня по тем молодым годам были несложные — простуда, бронхит. Тем не менее у него был вид строгий, озабоченный, в руках чемоданчик, из которого он извлекал спиртовку, градусник, банки. Затем усаживал меня, поворачивал спиной, выстукивал согнутым пальцем, заставляя раскрыть рот и сказать «а», затем ставил градусник, аккуратно протерев его спиртом, и говорил:

— Имей в виду, самая подлая болезнь — почки. Она подкрадывается как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Именно так чаще всего. Поэтому, если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке.
Градусник показывал 37, встряхивался, и мой лекарь приступал к банкам. Он подсовывал под банку вспыхнувшую наспиртованную вату, накрученную на палочку, часто обжигал меня и тут же назидательно утешал:
— Но зато посмотри, какие банки! Чувствуешь? Завтра будешь здоров!
Я считал его очень мнительным. Он любил аптеки. До сих пор на Кропоткинской стоит аптека, в которую он часто хаживал. Поднявшись на второй этаж, отворив провинциально звякающую дверь, он входил туда, и его встречали как хорошо знакомого посетителя. Он закупал лекарства обстоятельно, вдумчиво. Любил это занятие [8; 83–84].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Заявление в Военный комиссариат. 10 октября 1932 г.:*
Ввиду того, что окончив давно, в 1916 году, медицинский факультет и бросив вследствие полного отвращения в 1919 году занятие медициной (13 лет тому назад), я совершенно утратил какие бы то ни было познания по медицине, а стал в течение этих 13 лет квалифицированным драматургом, произведения которого исполняются в СССР и за границей, а в последнее время, кроме того, и режиссером; я прошу освободить меня от какого бы то ни было отношения к врачебному званию [14, кн. 3; 164].



Книгочей

Надежда Афанасьевна Земская:

Читатель он был страстный, с младенческих же лет. Читал очень много, и при его совершенно исключительной памяти он многое помнил из прочитанного и все впитывал в себя. Это становилось его жизненным опытом – то, что он читал. И, например, сестра старшая Вера (вторая после Михаила) рассказывает, что он прочитал «Собор Парижской Богоматери» чуть ли не в 8–9 лет и от него «Собор Парижской Богоматери» попал в руки Веры Афанасьевны.

Родители, между прочим, как-то умело нас воспитывали, нас не смущали: «Ах, что ты читаешь? Ах, что ты взял?» У нас были разные книги. И классики русской литературы, которых мы жадно читали. Были детские книги. Из них я и сейчас помню целыми страницами детские стихи. И была иностранная литература. И вот эта свобода, которую нам давали родители, тоже способствовала нашему развитию, она не повлияла на нас плохо.

Мы со вкусом выбирали книги [5; 47–49].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

Любимым писателем Михаила Афанасьевича был Гоголь. И Салтыков-Щедрин. А из западных — Диккенс. Чехов читался и перечитывался, непрестанно цитировался, его одноактные пьесы мы ставили неоднократно. Михаил Афанасьевич поразил нас блестящим, совершенно зрелым исполнением роли Хирина (бухгалтера) в «Юбилее» Чехова.

Читали Горького, Леонида Андреева, Куприна, Бунина, сборники «Знания». Достоевского мы читали все, даже бабушка, приезжавшая из Карачева (город под Брянском) к нам в Бучу погостить летом.

Читали мы западных классиков и новую тогда западную литературу: Мопассана, Метерлинка, Ибсена и Кнута Гамсуна, Оскара Уайльда.

Читали декадентов и символистов, спорили о них и декламировали пародии Соловьева: «Пусть в небесах горят паникадила — В могиле тьма». Спорили о политике, о женском вопросе и женском образовании, об английских суфражистках, об украинском вопросе, о Балканах; о науке и религии, о философии, непротивлении злу и сверхчеловеке; читали Ницше [5; 57–58].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Т. К. Михаил, между прочим, таскал книги. У Коморского спер несколько. Я говорю: — Зачем зажилил?

— Я договорился.

— Я спрошу.

— Только попробуй!

И в букинистических покупал ходил [12; 100].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

И книги: собрания русских классиков — Пушкин, Лермонтов, Некрасов, обожаемый Гоголь, Лев Тол-

стой, Алексей Константинович Толстой, Достоевский, Салтыков-Щедрин, Тургенев, Лесков, Гончаров, Чехов. Были, конечно, и другие русские писатели, но просто сейчас не припомню всех. Две энциклопедии – Брокгауза–Эфрона и Большая Советская под редакцией О. Ю. Шмидта, первый том которой вышел в 1926 году, а восьмой, где так небрежно написано о творчестве М. А. Булгакова и так неправдиво освещена его биография, – в 1927 году.

Книги – его слабость. На одной из полок – предупреждение: «Просьба книг не брать»...

Мольер, Анатоль Франс, Золя, Стендаль, Гете, Шиллер... Несколько комплектов «Исторического Вестника» разной датировки. На нижних полках – журналы, газетные вырезки, альбомы с многочисленными ругательными отзывами, Библия [4; 138–139].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Меня поразило обилие всевозможных толковых и фразеологических словарей на нескольких иностранных языках, справочников, кулинарных книг, гороскопов, толкователей снов – сонников, разных альманахов и путеводителей по городам и странам.

Много было книг не только классиков, но и писателей как бы второго ряда – Вельтмана, Полевого, Нарежного, их редко встретишь в писательских библиотеках. А вот сугубо научных книг было крайне мало [5; 286–287].

Сергей Александрович Ермолинский:

До страсти любил рыться в старых журналах, особенно исторических, архивных. Собирал словари, лексиконы, справочники. Считал, что их должно быть как можно больше, по всем вопросам, всегда под рукой, без них литератору нельзя [8; 69].

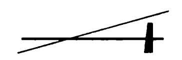
Елена Сергеевна Булгакова:

Отец его, Афанасий Иванович, был профессор богословия Киевской Академии, великолепно знавший языки. Он научил Михаила Афанасьевича с детства латыни и греческому, что помогало Михаилу Афанасьевичу в дальнейшем легко овладевать языками. Так, когда он писал «Дон Кихота», то взялся за испанский язык, для того чтобы самому читать и переводить интересные места в точности, по-своему.

Когда он кончил заниматься испанским, он взялся за итальянский. Английским он владел, во всяком случае, настолько, что мог читать; говорил он слабо, а читал и понимал все. И он хотел делать «Шекспириану» в 1936 году. Если бы он не ушел из Художественного театра после снятия «Мольера», он сделал бы свой перевод... [5; 382]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

<...> Жадного тяготения к поэзии у М. А. не было, хотя он прекрасно понимал, что хорошо, а что плохо, и сам мог при случае прибегнуть к стихотворной форме [4; 113].



Театрал и меломан

Константин Георгиевич Паустовский:

Гимназисты могли ходить в театры только с письменного разрешения инспектора. На неизвестные ему пьесы инспектор – историк Бодянский – нас не пускал. Не пускал он нас и на те пьесы, которые ему не нравились. Вообще он считал театр «ветрогонством» и, упоминая о нем, употреблял пренебрежительное выражение: «фигли-мигли».

Мы подделывали разрешения, подписывали их за Бодянского, иногда даже переодевались в штатское, чтобы не попасться Шпоньке, уныло бродившему по коридорам театра в поисках неисправимых театралов – «воспитанников нашей славной гимназии» (так Шпонька именовал гимназистов). Однажды Шпонька поймал в Соловцовском театре несколько гимназистов в штатском, в том числе и Булгакова. Шпонька подал инспектору рапорт об этом событии, причем выразился, что гимназисты были «в бесформенном состоянии». Последовали, конечно, неприятности и длинные инспекторские сентенции на тему о том, что «наши пращуры, слава тебе господи, о театре и не подозревали, однако выгнали из русской земли татар».

В те времена в Соловцовском театре играли такие актеры, как Кузнецов, Полевицкая, Радин, Юренева. Репертуар был разнообразным — от «Горя от ума» до «Ревности» Арцыбашева и от «Дворянского гнезда» до «Мадам Сан-Жен». После тяжелых драм обязательно шел водевиль, чтобы рассеять у зрителей тяжелое настроение. В антрактах играл оркестр.

Я встречал Булгакова в Соловцовском театре. Зрительный зал был затянут сероватой дымкой. Сквозь нее поблескивали золоченые орнаменты и синел бархат кресел. Дымка эта была обыкновенной театральной пылью, но нам она казалась какой-то таинственной сверкающей эманацией волшебного театрального искусства.

Самый воздух театра действовал на нас опьяняюще, хотя мы и знали, что в театре пахнет духами, клейстером, краской и апельсинами, — в то время было принято во время спектакля сосать апельсины (конечно, не на галерке, где мы сидели, а в ложах бенуара и бельэтажа). Кончался девятнадцатый век и начинался двадцатый. Но в театре сохранилось многое от старины, начиная от самого здания с его сводами, от низких галерей и кончая занавесом с золотыми лирами. На занавесе была изображена пышная богиня изобилия. Она сыпала из рога гирлянды роз [5; 96–98].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

[В Киеве в 1913] мы ходили в Купеческий сад на каждый симфонический концерт. Он очень любил увертюру к «Руслану и Людмиле», к «Аиде» — напевал: «Милая Аида... Рая созданье...» Больше всего любил «Фауста» и чаще всего пел «На земле весь род людской» и арию Валентина — «Я за сестру тебя молю...». Вот это у меня как-то осталось в памя-

ти. В Саратове отец любил, когда я играла; ложился на диван, слушал. Я играла увертюру к «Евгению Онегину», к «Кармен». Булгаков не учился музыке, но умел наигрывать. Он играл Вторую рапсодию Листа — не всю, но кусками... Любил Вагнера — «Полет Валькирий», из «Тангейзера». В Киеве слушали «Кармен», «Гугенотов» Мейербера, «Севильского цирюльника» с итальянцами... Кажется, у него была даже фотография Баттистини с его надписью... [5; 111]

Надежда Афанасьевна Земская:

Михаил, который умел увлекаться, видел «Фауст», свою любимую оперу, 41 раз — гимназистом и студентом. Это точно. Он приносил билетики и накалывал, а потом сестра Вера, она любила дотошность, сосчитала... Михаил любил разные оперы, я не буду их перечислять. <...> В Москве, будучи признанным писателем, они с художником Черемных Михаил Михалычем устраивали концерты. Они пели «Севильского цирюльника» от увертюры до последних слов. Все мужские арии пели, а Михаил Афанасьевич дирижировал. И увертюра исполнялась. Вот не знаю, как с Розиной было дело. Розину, мне кажется, не исполняли, но остальное все звучало в доме [5; 53].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас существовала своя терминология. О спектаклях парадных, когда все стараются сделать их занимательными, красочными, много шумят и суетятся, но зрелище остается где-то в основе своей скучноватым, мы говорили «скучно-весело» (Лопе де Вега, иногда Шекспир).

Когда наталкивались на что-нибудь безнадежно устаревшее, старомодное да и комичное к тому же, М. А. называл это «вальс с фигурами». И вот почему.

Однажды один начинающий драматург попросил Булгакова прочесть свою пьесу у тех же Ляминых. Было удивительно, что в современной пьесе, когда по всей Европе гремела джазовая музыка, все танцевали уан- и тустеп, герои начинающего драматурга танцевали «вальс с фигурами»...

Но вот к чему М. А. никогда не испытывал тяготения, так это к кино, хотя и написал несколько сценариев за свою жизнь. Иногда озорства ради он притворялся, что на сеансах ничего не понимает. Помню, мы были как-то в кино. Программы тогда были длинные, насыщенные: видовая, художественная, хроника. И в небольшой перерыв он с ангельским видом допытывал: кто кому дал по морде? Положительный отрицательному или отрицательный положительному?

Я сказала:

— Ну тебя, Мака!

И тут две добрые тети напали на меня:

— Если вы его, гражданка, привели в кинематограф (они так старомодно и выразились), то надо все же объяснить человеку, раз он не понимает.

Не могла же я рассказать им, что он знаменитый «притворяшка».

Две оперы как бы сопровождают творчество Михаила Афанасьевича Булгакова — «Фауст» и «Аида». Он остается верен им на протяжении всех своих зрелых лет. В первой части романа «Белая гвардия» несколько раз упоминается «Фауст». И «разноцветный рыжебородой Валентин поет: „Я за сестру тебя молю...“»

Писатель называет эту оперу «вечный „Фауст“» и далее говорит, что «Фауст» «совершенно бессмертен». <...> Музыка вкраплена там и тут в произведения Булгакова, но «Аида» упоминается, пожалуй, чаще всего [4; 188–189].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Ездили мы на концерты: слушали пианистов-виртуозов — немца Эгона Петри и итальянца Карло Цекки. Невольно на память приходят слова М. А.: «Для меня особенно ценна та музыка, которая помогает мне думать».

Несколько раз были в Персимфансе (поясню для тех, кто не знает, что это такое: симфонический оркестр без дирижера).

Как-то, будучи в артистическом «Кружке» на Пименовском переулке — там мы бывали довольно часто, — нам пришлось сидеть за одним столиком с каким-то бледным, учтивым, интеллигентного вида человеком. М. А. с ним раскланялся. Нас познакомили. Это оказался скрипач Лев Моисеевич Цетлин — первая скрипка Персимфанса.

— Вот моя жена всегда волнуется, когда слушает Персимфанс, — сказал М. А.

Музыкант улыбнулся:

— А разве страшно?

— Мне все кажется, что в оркестре не заметят ваших знаков и вовремя не вступят, — сказала я.

— А очень заметны мои «знаки», как вы говорите?

— Нет, не очень. Потому-то я и волнуюсь...

М. А. нравилась игра молодого пианиста Петунина. Я помню, как мы здесь же, в «Кружке», ходили в комнату, где стоял рояль, и симпатичный юноша в сером костюме играл какие-то джазовые мелодии, и играл прекрасно.

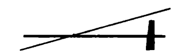
Были у нас знакомые, где любили помузицировать: Михаил Михайлович Черемных и его жена Нина Александровна. Пара примечательная: дружная, уютная, хлебосольная. Отношение Булгакова к Черемныху было двойственное: он совершенно не разделял увлечения художника антирелигиозной пропагандой (считал это примитивом) и очень симпатизировал ему лично.

К инструменту садилась Нина Александровна. Тут наступало торжество «Севильского цирюльника».

> Скоро восток золотою,
> Румяною вспыхнет зарею –

пели мужчины дуэтом, умильно поглядывая друг на друга. Им обоим пение доставляло удовольствие, нравилось оно и нам: Нине Александровне, сестре ее Наталии Александровне (красавице из красавиц) и мне.

Тут уместно упомянуть о том, что в юности М. А. мечтал стать певцом. На письменном столе его в молодые годы стояла карточка артиста-баса Сибирякова с надписью: «Иногда мечты сбываются»... [4; 190–191].



Актерский талант

Елена Андреевна Земская:

Увлечение театром было одно из главных в жизни семьи и Миши — гимназиста и студента. Об этом свидетельствуют прежде всего любительские спектакли, в которых принимали участие все молодые Булгаковы. Спектакли ставились чаще летом, в Буче. Первая пьеса, в которой играл Миша, — детская сказка «Царевна Горошина» (текст ее сохранился). В ней 12-летний Миша играл лешего и атамана разбойников. Это был благотворительный спектакль для богаделок, как вспоминает сестра Вера. Гимназистом Михаил Аф. играл во многих спектаклях. Он исполнял роли: Лешего — в семейном спектакле; мичмана Деревеева (жениха) в водевиле «По бабушкиному завещанию», который ставился летом 1909 г. в Буче на даче Лерхе (друзей семьи), роль невесты играла сестра Надя; Хирина в «Юбилее» Чехова; жениха в «Предложении» Чехова.

5 июля 1909 г. в Буче была поставлена фантазия «Спиритический сеанс» (с подзаголовком «Нервных просят не смотреть»). По словам Н. А., это был балет в стихах, словом, что-то вроде эстрады; автор стихов — друг семьи Е. А. Поппер. Эта фантазия была целиком сочинена, оформлена и поставлена

группой молодежи на даче Семенцовых; М. А. был одним из постановщиков и исполнял роль спирита, вызывавшего духов.

Студентом М. А. участвовал в любительских платных спектаклях, которые ставились в дачном поселке Буча летом 1910 г., под фамилией Агарина. Он исполнял роли: начальника станции — в комедии «На рельсах», дядюшки молодоженов в комедии Григорьева «Разлука та же наука», Арлекина — в одноактной пьесе «Коломбина» («роль первого любовника — не его амплуа», — замечает впоследствии Н. А.) [5; 61–62].

И. С. Овчинников:

Начало двадцатых годов...

Мы с Булгаковым работаем в «Гудке». Я заведую бытовой «четвертой полосой», он литературный сотрудник профсоюзного отдела. Сидит Булгаков в соседней комнате, но свой тулупчик он почему-то каждое утро приносит на нашу вешалку. <...>

Вечером Михаил Афанасьевич опять появляется в нашей комнате — взять тулупчик. Ну, а раз зашел — сейчас же бесконечные споры и разговоры, а при случае — даже легкая эстрадная импровизация, какая-нибудь наша злободневная небылица в лицах. И главный заводила и исполнитель, как всегда, Булгаков.

Ага, вот и он! Переступил порог — и сейчас же начинается лицедейство. В булгаковском варианте разыгрывается пародийный скетч «Смерть чиновника».

Тема и интонация целиком чеховские:

— Не мой начальник, чужой, но все равно неловко. Опоздал, задержал. Надо извиниться!..

Без всяких вступлений импровизируется сцена извинения. Тулупчик переброшен через левый локоть. Правая рука у сердца. Корпус в полупоклоне.

Так, не разгибаясь, расшаркиваясь то левой, то правой, Булгаков отступает задом до самой двери.

Но вот он остановился и выпрямился. Дернул головой снизу вверх, как бы сбрасывая с себя чужую личину, которую только что донес до этого места. Секунду мы смотрим друг на друга и начинаем оба хохотать.

– А ведь здорово это получилось у Антона Павловича! – сдерживая смех, говорит Булгаков.

– Оно и у Михаила Афанасьевича неплохо выходит! – отвечаю я ему в тон.

Мы снова начинаем дружно хохотать и так со смехом и вываливаемся в коридор.

Варьируясь в деталях, подобные встречи у нас с Михаилом Афанасьевичем бывали чуть не ежедневно. Взять тулупчик и молча шмыгнуть из комнаты он считал неприличным. Поэтому по пути от вешалки к двери он всегда успевал что-нибудь рассказать. Рассказы эти назывались у нас квартплатой за вешалку...

Монахи, служители Будды, показывают замечательный мимический номер – «Танец шестнадцати настроений». Никто не считал, сколько и какие настроения может сценически выразить Булгаков, но, прирожденный мим, свои комедийные личины он меняет с необычайной легкостью... [5; 131–132]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Читал М. А. блестяще: выразительно, но без актерской аффектации, к смешным местам подводил слушателей без нажима, почти серьезно – только глаза смеялись... [4; 111]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Читал он изумительно: предельно строго, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, но с какой-то

невероятной, непрерывной напряженностью всех внутренних линий действия. Читая, он мог не повторять имен своих персонажей: они мгновенно узнавались, становились видимыми и совершенно живыми благодаря тончайшим сменам интонации и внутреннего ритма. Удивительно читал ремарки. <…> Он читал свои ремарки без всякой «подачи», они у него звучали как бы мимолетно, но были накрепко связаны либо с предшествующей, либо с последующей репликой [5; 292–293].

Юрий Петрович Полтавцев:

Читал медленно, тихо, необычайно выразительно, ярко, зримо. Впечатление было, как будто читают несколько человек, – столько разных характеров, голосов. Булгаков жил в каждом образе, в каждой фразе [5; 329].

Софья Станиславовна Пилявская:

Как же он умел читать! Как раскрывал каждый образ, как доносил его суть, его тайные мысли. Слушая его, казалось, что никто из актеров, самых замечательных, не сыграет так. Казалось, что только он, и никто другой, должен играть эту роль, — и так было в каждой сцене, с каждой ролью [5; 260].

Константин Сергеевич Станиславский (1863–1938), *режиссер, актер, педагог, реформатор театра. Из письма. 1930 г.:*

Вот из кого может выйти режиссер. Он не только литератор, но и актер. Сужу по тому, как он показывал на репетициях «Турбиных». Собственно — он поставил их, по крайней мере, дал те блестки, которые сверкали и создавали успех театра... [5; 254–255]

Павел Александрович Марков:

Не только потенциально, а фактически, на самом деле Булгаков был сам великолепным актером. Может быть, именно это качество и определяет вообще подлинную сущность драматурга, ибо любой драматург, разумеется, хороший, в душе неизбежно является актером. Недаром в тяжелые периоды своей жизни он рвался к актерству в Художественном театре. Когда его пьесы не ставились, он сам стал актером МХАТ и играл в «Пиквикском клубе», играл с удовольствием, со вкусом, наслаждаясь пребыванием на сцене. Но парадоксально: его актерская и авторская жадность не могла удовлетвориться одной ролью в пьесе — ему нужен был не один характер, а много характеров, не один образ, а много образов. Если бы его попросили сыграть сочиненную им пьесу, он сыграл бы ее всю, роль за ролью, и сделал бы это с полным совершенством. Так, в «Днях Турбиных» он показал на репетиции почти все образы, охотно и щедро помогая актерам [11; 226].

Вадим Васильевич Шверубович (1901–1981), *театральный деятель, педагог. Один из основателей театра «Современник». Мемуарист. Сын В. И. Качалова:*

В. Я. Станицын рассказывает, что Михаил Афанасьевич обратился к нему, тогда молодому режиссеру, ставившему инсценировку Н. А. Венкстерн «Пиквикский клуб», с просьбой дать ему какую-нибудь актерскую работу, чтобы, как он сказал, «побыть в актерской шкуре». Ему, мол, драматургу, необходимо проникнуться самочувствием актера, надо самому на себе проверить ощущение себя в образе, побыть кем-то другим, проработать артикуляцию, дыхание, проверить текст, прослушать звучание фразы, произносимой своим голосом... Порепетировать, поискать, пострадать вместе с актерами и с режиссе-

рами... Прочувствовать себя в этой среде не сбоку, не сверху, не рядом даже, а снизу. Побыть маленьким, «вторым», «третьим» актером, исполнителем эпизодической роли, чтобы оценить значение одной реплики, очерчивающей в эпизоде образ всей роли.

Полагая, что драматург должен быть способен лепить произведение и из этих ролей-реплик, образов, эпизодов, а не только из монологов и диалогов на пол-акта, он считал, что ему нужно, необходимо изменить и масштаб, и перспективу, и точку зрения, вернее, точку восприятия. Ведь и большие, главные роли в конечном счете составляются из реплик-моментов, как организм из клеток. Вот для нахождения этой новой точки восприятия ему и надо было внедриться в самую плоть, самую сущность спектакля... <...>

Интерес же ко всему сценическому у него был горячий, напряженный. Его интересовала и техника постройки оформления, и краска, и живопись, и технология перестановок, и освещение. Он с радостным и веселым любопытством всматривался во все, с удовольствием внюхивался в театральные ароматы — клея, лака, красок, обгорающего железа электроаппаратуры, сосновой воды и доносящихся из артистических уборных запахов грима, гуммозы, вазелина и репейного масла... Его привлекали термины и сценические словечки, он повторял про себя, запоминая (записывать, видимо, стеснялся): «послабь», «натужь», «заворотная», «штропка», «место!» и т. д. Его радовала возможность ходить по сцене, касаться изнанки декораций, откосов, штативов фонарей, шумовых аппаратов — того, что из зала не видно. Восхищало пребывание на сцене не гостем, а участником общей работы... Как-то стоявшая довольно далеко от него высокая декорационная стенка накренилась и на-

чала валиться. Он стремительно бросился к ней, подхватил и удержал от падения раньше, чем это успел сделать кто-нибудь из нас. Ее уже закрепили, но он все продолжал держать ее, и лицо его сияло от удовольствия.

Михаил Афанасьевич рано приходил на репетиции и с настороженным любопытством всматривался в установленное оформление. Его явно огорчал безобразный вид старых декораций, из которых были выгорожены нужные для репетиции параметры, но задать уже многократно высмеянный во всех театрах вопрос: «А это так и будет?» — стеснялся. Зато, когда, войдя в зал, он видел на сцене уже «свою», то есть изготовленную для репетируемой пьесы часть декорации, мебели, бутафории, — радовался ей, иногда со сконфуженным смешком сознавался, что начинал уже волноваться, что мы собираемся «замотать» этот предмет. Возможность воспользоваться этим профессиональным «термином» тоже доставляла ему удовольствие; он, видно, незадолго до этого узнал, что «замотать» означает на жаргоне работников Постановочной части затянуть изготовление какой-нибудь детали до тех пор, пока режиссер и художник не примирятся с ее отсутствием, так как настаивать на ее изготовлении уже поздно. С таким же, а может быть, и с гораздо большим удовольствием он примерял свой театральный костюм; когда он смотрел на себя в зеркало, было ясно, что он видит перед собой уже не себя, Булгакова, а диккенсовского Судью. <...> На репетициях Михаил Афанасьевич, чтобы не лишать себя возможности смотреть предыдущие картины, не прятался заранее за кафедрой, а взбегал из зрительного зала на сцену и поднимался по лестнице на наших глазах, чтобы потом «возникнуть». Так вот, из зала на сцену взбегал еще Булгаков, но, идя по сцене, он видоизменялся, и по лестнице лез уже

Судья. И Судья этот был пауком. Михаил Афанасьевич придумал (может быть, это был подсказ Виктора Яковлевича Станицына), что Судья — паук. То ли тарантул, то ли крестовик, то ли краб, но что-то из паучьей породы. Таким он и выглядел — голова уходила в плечи, руки и ноги округлялись, глаза делались белыми, неподвижными и злыми, рот кривился. Но почему Судья — паук? Оказывается, неспроста: так его прозвали еще в детстве, что-то в нем было такое, что напоминало людям это страшное и ненавистное всем насекомое, с тех еще пор он не может слышать ни о каких животных, птицах, зверях... Все зоологическое напоминает ему проклятие его прозвища, и поэтому он лишает слова всякого, упоминающего животное. В свое время он от злости, от ненависти к людям выбрал профессию судьи — искал возможности как можно больше навредить людям... <...>

Приятно было видеть, как сам Булгаков радовался тому, как прочно и подробно ощущал он себя в этом образе.

Но как же ясно и весело улыбался он, выходя из этого образа, сбрасывая с себя эту оболочку. Сначала теплели и темнели глаза, потом лицо освещалось улыбкой, менялась осанка, и перед нами был опять он, со всем своим умным, тонким и лукавым обаянием [5; 276–280].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

3 ноября. <...> Сегодня я была на генеральной «Пиквика». Должны были быть оба старика. Но у Станиславского поднялась температура, тогда и Немирович не поехал.

Публика принимала реплики М. А. (он судью играет) смехом. Качалов, Кторов, Попова и другие мне говорили, что он играет, как профессиональный актер.

Костюм — красная мантия, белый завитой длинный парик. В антракте после он мне рассказал, что ужасно переволновался — упала табуретка, которую он смахнул, усаживаясь, своей мантией. Ему пришлось начать сцену, вися на локтях, на кафедре. А потом ему помогли — подняли табуретку. <...>

14 ноября.
Репетиция «Пиквика» со Станиславским. Поехали на такси <...>. В час приблизительно приехал Станиславский. За ним в партер вошла Рипси с пледом для К. С. Зал встал и все стали аплодировать.
К. С. очень постарел, похудел. Мне показалось, что он утерял свою жизнерадостность, он как-то равнодушно и кисло принимал приветствия. Стал рядом со Станицыным за режиссерским столом в восьмом ряду. Стол покрыт был зеленой скатертью.
М. А. сидел рядом с К. С.
Говорят, спектакль старику понравился.
Публика тоже хорошо приняла, много аплодировала.

16 ноября.
Станицын сегодня рассказывал М. А., как старик отнесся к его появлению в Суде.
Станицын называл ему всех актеров. Когда появился судья, Станиславский спросил:
— А это кто?
— Булгаков.
— Ага!.. (Вдруг — внезапный поворот к Станицыну.) Какой Булгаков?
— Михаил Афанасьевич. Драматург.
— Автор?!
— Да, автор. Очень просился поработать.
Старик мгновенно сузил глаза, захихикал и стал смотреть на М. А.
Станицын это показывал смешно [7; 77–78].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1935>

2 января. <...> Вечером была за кулисами в филиале, в уборной М. А., смотрела, как его гримировали и одевали, как он выходит на сцену.

В его уборной — клуб, собираются все участники спектакля [7; 85].





Рассказчик

Павел Александрович Марков:

Булгаков был великолепным рассказчиком, смелым, неожиданным [11; 225].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 23 февраля 1961 г.:*

Он никогда не рассказывал анекдотов (ненавижу я, между прочим, и анекдоты и рассказчиков их), – а все смешное, что у него выскакивало, было с пылу с жару, горяченькое! Только что в голову пришло! Или бывало, что какая-нибудь удачная фраза, меткое прозвище так здорово входили в жизнь, что становились ходячими. И не только у нас, но вообще. По Москве ходят и до сих пор ходячие слова его, а также цитаты из пьес. А когда в театре репетировались его пьесы, то актеры говорили этими репликами в жизни. И удивительно они были жизненны и необходимы, иначе не скажешь [7; 328].

Константин Георгиевич Паустовский:

Он рассказывал нам необыкновенные истории. В них действительность так тесно переплеталась с выдумкой, что граница между ними начисто исчезала.

Изобразительная сила этих рассказов была так велика, что не только мы, гимназисты, в конце концов начинали в них верить, но верило в них и искушенное наше начальство. Один из рассказов Булгакова — вымышленная и смехотворная биография нашего гимназического надзирателя по прозвищу Шпонька — дошел до инспектора гимназии. Инспектор, желая восстановить справедливость, занес некоторые факты из булгаковской биографии Шпоньки в послужной список надзирателя. Вскоре после этого Шпонька получил медаль за усердную службу. Мы были уверены, что медаль ему дали именно за эти вымышленные Булгаковым черты биографии Шпоньки.

А рассказывал Булгаков о том, как Шпонька открыл новый способ изготовления нюхательного табака и тем двинул вперед махорочную промышленность. Шпонька действительно нюхал табак и носил в заднем кармане потертого сюртука огромные клетчатые — синие с красным — носовые платки. Как человек стеснительный, Шпонька, нанюхавшись табака, уходил чихать в пустой гимназический зал, чтобы не нарушать во время уроков торжественную тишину коридоров и классов.

Уже тогда в рассказах Булгакова было много жгучего юмора, и даже в его глазах — чуть прищуренных и светлых — сверкал, как нам казалось, некий гоголевский насмешливый огонек.

Булгаков был переполнен шутками, выдумками, мистификациями. Все это шло свободно, легко, возникало по любому поводу. В этом была удивительная щедрость, сила воображения, талант импровизатора [5; 95–96].

Елена Сергеевна Булгакова:

Всегда вокруг него начинались разговоры, споры, а главное, его заставляли рассказывать, потому

что он был мастер рассказа. Он создавал тут же какие-то новеллы, при этом блестяще показывал их как актер. Он бегал в соседнюю комнату, тут же переодевался в женщину или мужчину, ему было совершенно все равно... [5; 384]

Евгений Васильевич Калужский:

Беседа обыкновенно завязывалась им легко, непринужденно и никогда не была «назидательной». Часто фантазировал, сочиняя на ходу экспромты, блиставшие меткостью наблюдений, юмором и выдумкой. То фантасмагорический рассказ, в котором участвовали члены дирекции театра, то рассказ о двух «светских» долдонах, приехавших в гости к теще, живущей в буржуазной стране [5; 252].

Софья Станиславовна Пилявская:

Как-то, встретясь с Еленой Сергеевной и Михаилом Афанасьевичем вечером в Доме актера, Раевский и мы с мужем с радостью приняли предложение ехать к Булгаковым «досиживать вечер». Уже по дороге Михаил Афанасьевич начал жуткий рассказ о тайнах какого-то старого киевского особняка, в котором происходили самые невероятные вещи.

Рассказ был о том, как Михаил Афанасьевич в давние годы искал в Киеве для своего дяди квартиру. Искал долго и наконец нашел — прелестный маленький особнячок, окруженный садом, а в глубине его виднелась сторожка... Все подходило как нельзя лучше, но... Тут-то и начиналось страшное. Дворник был как-то слишком загадочен, и у него была на штанах, на коленке, синяя заплата (эту деталь надо было запомнить точно). Этот дворник вел себя зловеще и намекал на присутствие в доме нечистой силы.

Тем не менее переезд состоялся. В первый же вечер, когда счастливое дядино семейство сидело за ужи-

ном, тетка, взглянув случайно в окно, издала истошный вопль и упала без чувств.

Михаил Афанасьевич быстро обернулся — в окне промелькнул человеческий скелет, а за ним чьи-то ноги, синяя заплата на колене... Затем была погоня за скелетом, была лунная ночь, киевские каштаны... погоня привела к сторожке, была борьба... Он рванул дверь... и... «удушливый пар, пар, и в клубах пара Екатерина Великая, еще одна, еще...». Сознание оставило его, он рухнул у порога.

Оказывается, в сторожке был приют фальшивомонетчиков, где печатались тогдашние сотенные «екатеринки», скелет же зловредный дворник брал из соседней анатомички.

Вот маленький образчик буйной фантазии Михаила Афанасьевича. В моем изложении все это выглядит, конечно, не так. Рассказ был так убедителен, так достоверен, что у меня глаза становились квадратными от ужаса, и только потом я поняла, что это была просто шалость неповторимо талантливого человека [5; 260–262].

Сергей Александрович Ермолинский:

Устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным «репертуаром». Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию.

Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителей пригласили художников из Палеха. Они должны были придать «истинно русский», былинный характер постановке, столь неожиданной для такого изысканного, рафинированного театра, как Камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло, спектакль подвергли резкой критике.

— Думаю, — говорил Булгаков, — произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и палешан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам.

И уж тут невозможно было не переворотить все это в веселую буффонаду, и он стал изображать насмерть перепуганных творцов современного фольклора, как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды. Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья — Мелик-Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильямс. Мелик, изображая сокрушенного палешанина, еще хорохорился: мы-де еще покажем, ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском. А Дмитриев совсем поник. У обоих кошки скребут на сердце, слышится грозный голос жены — жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке! Плохо в ней вам было, так, что ли? Высунулись! Добро бы мальчишки, а то ведь за сорок уже! Срам на всю округу, и денег ни шиша!»

Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик-Пашаев подползает к дверям (кабинета) и робко стучит. «Это я, я, — тоненько, шепотом произносит он, — потерял копеечку», — поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается — в дверях Булгаков. Хохолок спереди взвит кверху, на голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно.

— Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью! — замахивается «жена».

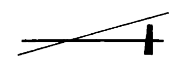
Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет.

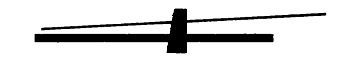
У Дмитриева отвисла губа, он уже хватил с горя не один шкалик и валяется в канаве (под столом). При-

ложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила (люстру), он вдруг рявкнул непристойную песню: «Ээх, семь бед — один ответ, пропади пропадом коробочка лакированная» — и трахнул крепким русским словцом! Вильямс возмущенно поджал губы: «Не выражайся, тут дамы». У Вильямса свой образ — он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает: «Перестаньте! Я умру от смеха!» [8; 75–77]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я и сейчас не мог бы определить, в чем именно заключался этот его особый талант, почему эти новеллы возникали так непринужденно, а били всегда в самую точку, почему они не линяли потом от повторения, почему мы все чуть под стол не валились от хохота, в то время как он сохранял полнейшую серьезность и, казалось, ничего не делал ради комического эффекта. Знаю только, что это были рассказы писательские, а не актерские. Не имитации, не «показывание», не шаржи, а блистательные фейерверки импровизации, отточенность деталей и неожиданная изюминка сюжета, мастерски подготовлявшаяся всевозможными оттяжками и отступлениями. И еще знаю, что пытаться воспроизвести булгаковские застольные рассказы — дело совершенно гиблое, и это не раз уже доказано. Запомнились характерные названия: «Про скелет», «Покойник в поезде», «Разворот у инженера Н. Н.». Импровизировались и сюжеты острозлободневные, соль которых состояла в том, что лица всем известные представали вдруг в совершенно неожиданном сатирическом остранении [5; 287–288].





Шутки, розыгрыши, импровизации

Александр Петрович Гдешинский. *Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 13 октября 1913 г.:*

Миша и Тася недавно были у нас в гостях, я был у них вчера. Пришел, Миши еще не было, зато была Вера; мы весьма уютно посидели втроем, затем пришел Миша; когда поел, то очень подобрел и начал изображать тигра, который залез в купе и бросается на путешественников [5; 78].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

<...> Мы любили прозвища. Как-то М. А. вспомнил детское стихотворение, в котором говорилось, что у хитрой злой орангутанихи было три сына: Мика, Мака и Микуха. И добавил: Мака – это я. Удивительнее всего, что это прозвище – с его же легкой руки – очень быстро привилось. Уже никто из друзей не называл его иначе, а самый близкий его друг Коля Лямин говорил ласково «Макин». Сам М. А. часто подписывался Мак или Мака. Я тоже иногда буду называть его так [4; 95–96].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Кому первому пришла в голову мысль устроить спиритический сеанс, сейчас сказать трудно, думаю,

что Сереже Топленинову. Во всяком случае М. А. горячо поддержал это предложение. Уселись за круглый стол, положили руки на столешницу, образовав цепь, затем избрали ведущего для общения с духом — Сережу Топленинова. Свет потушили. Наступила темнота и тишина, среди которой раздался торжественный и слегка загробный голос Сережи:
— Дух, если ты здесь, проявись как-нибудь.
Мгновение... Стол задрожал и стал рваться из-под рук. Сережа кое-как его угомонил, и опять наступила тишина.
— Пусть какой-нибудь предмет пролетит по комнате, если ты здесь, — сказал наш медиум. И через комнату тотчас же в угол полетела, шурша, книга. Атмосфера накалялась. Через минуту раздался крик Вани Никитинского:
— Дайте свет! Он гладил меня по голове! Свет!
— Ай! И меня тоже!
Теперь уж кричал кто-то из женщин:
— Сережа, скажи, чтобы он меня не трогал!
Дух вынул из Жениной прически шпильку и бросил ее на стол. Одну и другую. Вскрикивали то здесь, то тут. Зажгли лампу. Все были взъерошенные и взволнованные. Делились своими ощущениями. Медиум торжествовал: сеанс удался на славу. Все же раздавались скептические возражения, правда, довольно слабые.
Наутро обсуждение продолжалось. Ленка Понсова сказала:
— Это не дача, а черт знает что! Сегодня же стираю (мимическая сцена), завтра глажу (еще одна сцена) и иду по шпалам в Москву (самое смешное представление).
Утром же в коридоре наша «правдолюбка» Леночка Никитинская настигла Петю Васильева и стала его допытывать, не имеет ли он отношения к вчерашнему проявлению духа.

– Что вы, Елена Яковлевна?
Но она настаивала:
– Дайте слово, Петя!
– Даю слово!
– Клянитесь бабушкой (единственно, кого она знала из семьи Васильевых).
И тут раздался жирный фальшивый Петькин голос:
– Клянусь бабушкой!
Мы с М. А. потом долго, когда подвирали, клялись бабушкой...
Волнение не угасало. Меня вызвала к себе хозяйка дома Лидия Митрофановна и спросила, что же все-таки происходит.
Отвечать мне пока было нечего.
Второй сеанс состоялся с участием вахтанговцев, которые хоть и пожимали плечами, но все же снизошли. Явления повторялись, но вот на стол полетели редиски, которые подавались на ужин. Таким образом проявилась прямая связь между духом бесплотным и пищей телесной... Дальше я невольно подслушала разговор двух заговорщиков – Маки и Пети:
– Зачем же вы, Петька, черт собачий, редиску на стол кидали?
– Да я что под руку попалось, Мака, – оправдывался тот.
– А! Я так и знала, что это вы жульничали.
Они оба остановились, и М. А. пытался меня подкупить (не очень-то щедро: он предлагал мне три рубля за молчание). Но я вела себя как неподкупный Робеспьер и требовала только разоблачений. Дело было просто. Петр садился рядом с М. А. и освобождал его правую руку, в то же время освобождая свою левую. Заранее под пиджак Мака прятал согнутый на конце прут. Им-то он и гладил лысые и нелысые головы, наводя ужас на участников сеанса.
– Если бы у меня были черные перчатки, – сказал он мне позже, – я бы всех вас с ума свел... [4; 127–128]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

В ознаменование театральных успехов первенец нашей кошки Муки назван «Аншлаг».

В доме также печь имеется,
У которой кошки греются.
Лежит Мука, с ней Аншлаг.
Она — эдак,
А он так.

Это цитата из рукописной книжки «Муки-Маки», о которой я упоминала выше. Стихи Вэдэ, рисунки художницы Н. А. Ушаковой. Кошки наши вдохновили не только поэта и художника, но и проявили себя в эпистолярном жанре. У меня сохранилось много семейных записок, обращенных ко мне от имени котов. Привожу, сохраняя орфографию, письмо первое. Надо признаться: высокой грамотностью писательской коты не отличались.

Дорогая мама!

Наш миый папа произвъ пъръстоновку в нешей уютной кварти. Мы очень довольны (и я Аншлаг помогал, чуть меня папа не раздавил, кагда я ехал на ковре кверху ногами). Папа очень сильный один все таскал и добрый не ругал, хоть он и грыз крахмальную руба. а тепър сплю, мама, милая, на тахте. И я тоже. Только на стуле. Мама мы хочем, чтоб так было как папа и тебе умаляим мы коты все, что папа умный все знаит и не менять. А папа говорил купит. Папа пошел а меня выпустил. Ну целуем тебе. Вы теперь с папой на тахте. Так что меня нет.

Увожаемые и любящие коты.

Котенок Аншлаг был подарен нашим хорошим знакомым Стронским. У них он подрос, похорошел и неожиданно родил котят, за что был разжалован из Аншлага в Зюньку.

На обложке книжки «Муки-Маки» изображен Михаил Афанасьевич в трансе: кошки мешают ему творить. Он сочиняет «Багровый остров» [4; 133–134].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Когда меня долго нет, коты возмущаются:

«Токуйю маму
Выбрассит вяму
Уважающийся Кот
Паппа Лег
спат его
Ря».

А вот записка от необыкновенно озорного и веселого котенка Флюшки, который будто бы бил все, что подворачивалось ему «под лапу». На самом же деле старались Мака и Анна Матвеевна, а потом мне подсовывали на память осколки и письмишко вроде этого: «Даррагой мами от Flьchke».
Флюшка с Бутоном затевали бурные игры и возились, пока не впадали в изнеможение. Тогда они, как два распластанных полотенца, лежали на полу, все же искоса поглядывая друг на друга. Эти игры мы называли «сатурналиями». <...>
Принесенный мной с Арбата серый озорной котенок Флюшка (у нас его украли, когда он сидел на форточке и дышал свежим воздухом), – это прототип веселого кота Бегемота, спутника Воланда («Мастер и Маргарита»).
«– Не шалю. Никого не трогаю. Починяю примус...» Я так и вижу повадки Флюшки!
Послания котов чередуются с записками самого М. А.

«Дорогая кошечка,

на шкаф, на хозяйство, на портниху, на зубного врача, на сладости, на вино, на ковры и автомобиль – 30 рублей.

Кота я вывел на свежий воздух, причем он держался за мою жилетку и рыдал.

Твой любящий.

Я на тебя, Ларион, не сержусь». (Последняя фраза из «Дней Турбиных». Мышлаевский говорит ее Лариосику.) [4; 161–162]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Английское слово *spoon* — ложка — ему понравилось.

— Я люблю спать, — сказал М. А., — значит, я спун [4; 141].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Из Тифлиса к нам приехала Марика Чимишкиан. Меня не было дома. Маруся затопила ей ванну <...>. В это время к нам на Пироговскую пришел в гости Павел Александрович Марков, литературовед, сотрудник МХАТа. М. А. сказал ему:

— К нам приехал в гости один старичок, хорошо рассказывает анекдоты. Сейчас он в ванне. Вымоется и выйдет...

Каково же было удивление Павла Александровича, когда в столовую вместо старичка вышла Марика! Я уже говорила, что она была прехорошенькая. Марков начал смеяться. <...> Мака был доволен. Он радовался, когда шутки удавались, а удавались они почти всегда [4; 154].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Существовал у нас семейный домовой Рогаш. Он появлялся всегда неожиданно и показывал свои рожки: зря нападал, ворчал, сердился по пустому поводу.

Иногда Рогаш раскаивался и спешил загладить свою вину. На рисунке М. А. он несет мне, Любан-

ге, или сокращенно Банге, кольцо с бриллиантом в 5 каратов. Кольцо это, конечно, чисто символическое... [4; 161]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

9 ноября. <...> Сегодня хоронили Катаяму, японского революционного деятеля. Была остановка движения. Екатерина Ивановна (Сережина воспитательница) с Сергеем попали в самую гущу. М. А. уверял, что они, как завзятые факельщики, шли долго за гробом со свечками в руках, низко кланяясь при этом и крестясь. (Следует замечательный показ.) [7; 44]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

31 декабря.

Сейчас к нам придут Калужские, Леонтьевы, Арендты.

Пришли. Было славно. Женя Калужский и Леонтьев помирали над шуточными неприличными стихами, которые М. А. сочинил к Новому году, то есть стихи были абсолютно приличные, но рифмы требовались другие. Калужские остались ночевать [7; 51].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1935>

29 марта. <...> В «Известиях» портрет лорда Идена — хранителя печати английского. Молод и красив.

М. А. безумно смешно показывает, что это такое — хранитель печати, как он ее прячет в карман, как, оглянувшись по сторонам, вынимает, торопливо пришлепывает и тут же прячет [7; 89].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1937>

19 июня. <...> Вечером пришли к нам Мелик с Минной. Очень славно посидели. М. А. показывал оркестрантов из Большого театра, как они играют в шахматы (на медных оркестранты) и в нужный момент появляются в оркестре и ударяют в инструменты. Потом спокойно — немедленно — уходят доигрывать [7; 155].

Елена Сергеевна Булгакова. *В записи В. Я. Лакшина:* Как-то, уже в пору последней болезни Михаила Афанасьевича, он сказал: «Вот, Люся, я скоро умру, меня всюду начнут печатать, театры будут вырывать друг у друга мои пьесы и тебя будут приглашать выступать с воспоминаниями обо мне. Ты выйдешь на сцену в черном платье, с красивым вырезом на груди, заломишь руки и скажешь: „Отлетел мой ангел...“» — и мы оба стали смеяться, так неправдоподобно это казалось... [5; 419]



Мистификатор

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Помню, как-то раз мы поехали навестить нашу старую приятельницу Елену Павловну Лансберг. Как начался последовавший затем розыгрыш, точно не вспомню, не знаю, кто был инициатором. Сделали вид, что пришла одна я, а М. А. должен был позвонить в парадную дверь позже и притвориться, что он фининспектор и пришел описывать антикварную обстановку Елены Павловны. Спектакль предназначался гостившей у нее родственнице из Ленинграда... Звонок. В комнату вошел — надо признаться — пренеприятный тип. Он отрекомендовался фининспектором этого участка и начал переходить от предмета к предмету, делая ехидные замечания. Родственница (помню, ее звали Олечка) сидела с каким-то застывшим выражением лица, потом отозвала Е. П. в соседнюю комнату и тревожно сказала шепотом:

— Это авантюрист какой-то! А ты у него даже не спросила документа!

Выходя к «фининспектору», она сказала, что в Ленинграде такие визиты не практикуются... Тут ей открыли истину. Должна сказать, что свою роль М. А. провел здорово. Я, бессловесная зрительница, наблю-

дала, как он ловко «вошел в образ», изменив походку, манеру говорить, жесты...

Вспоминается еще один розыгрыш. Как-то в мое отсутствие вечером Маке стало скучно. Тогда он позвонил другой нашей приятельнице, Зиновии Николаевне Дорофеевой, и угасающим голосом сказал, что ему плохо, что он умирает. Зика (это ее домашнее имя) и ее подруга заканчивали перманент. Не уложив волос, завязав мокрые головы полотенцами, они обе в тревоге бросились к нам на Пироговскую, где их ждал веселенький хозяин и ужин с вином. Тут к «холодным ножкам», как говорят в народе, подоспела и я. Не скрою, я очень удивилась, увидев дам в чалмах. Но за рюмкой вина все разъяснилось к общему удовольствию [4; 154–155].

Константин Георгиевич Паустовский:

<...> Булгаков устроил у меня на даче неслыханную мистификацию, прикинувшись перед незнавшими его людьми военнопленным немцем, идиотом, застрявшим в России после войны. Тогда я впервые понял всю силу булгаковского перевоплощения. За столом сидел, тупо хихикая, белобрысый немчик с мутными пустыми глазами. Даже руки у него стали потными. Все говорили по-русски, а он не знал, конечно, ни слова на этом языке. Но ему, видимо, очень хотелось принять участие в общем оживленном разговоре, и он морщил лоб и мычал, мучительно вспоминая какое-нибудь единственное известное ему русское слово.

Наконец его осенило. Слово было найдено. На стол подали блюдо с ветчиной. Булгаков ткнул вилкой в ветчину, крикнул восторженно: «Свыня! Свыня!» — и залился визгливым, торжествующим смехом. Ни у кого из гостей, не знавших Булгакова, не было никаких сомнений в том, что перед ними сидит молодой немец и к тому же полный идиот. Ро-

зыгрыш длился несколько часов, пока Булгакову не надоело и он вдруг на чистейшем русском языке не начал читать «Мой дядя самых честных правил...»... [5; 103]

Петр Никанорович Зайцев (1889–1970), *поэт; секретарь издательства «Недра»; член Всероссийского союза писателей:*
Под новый, 1925 год меня пригласили в одну компанию на встречу Нового года с условием, что я приду в маскарадном костюме. Я дал согласие и в поисках подходящего и не очень расхожего костюма решил зайти к Булгаковым. У Любови Евгеньевны оказалось несколько маскарадных костюмов, которые я стал примерять. Заодно я предложил пойти на встречу Нового года и Булгаковым. Жена отказалась, а он неожиданно согласился.
По дороге Михаил Афанасьевич предложил мне разыграть в гостях небольшую комедию:
— Вы знаете, Петр Никанорович, этот дом, а меня там никто не знает. Давайте разыграем их. Представьте меня как иностранца...
Когда мы подошли к дому и поднялись по лестнице, Михаил Афанасьевич надел небольшую, легкую черную масочку. Так мы и появились в компании. Я взял на себя роль переводчика (изъяснялись мы на французском языке, которым Булгаков владел лучше меня), а он изобразил из себя богатого господина, приехавшего в Москву с целью лучше узнать русские обряды и обычаи... Нас угощали чаем и сладостями, и мы в течение полутора часов разыгрывали наш безобидный водевиль. Но вот пробило двенадцать часов. Булгаков снял маску и представился... [5; 237–238]



Развлечения и игры

Михаил Михайлович Яншин:

Всегда жизнерадостный, легкий на подъем, всегда подобранный, с немного подпрыгивающей походкой, остроумный, очень легко идущий на всякие шутки, на всякие острые словца, устроитель всевозможных игр — в «блошки», в «бирюльки», организатор лыжных прогулок, он был неистощим на всякие выдумки, на всякого рода призы, на условия соревнования [5; 270].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

В доме у нас все время звучали музыка и пение и — смех, смех, смех. Много танцевали. Ставили шарады и спектакли. Михаил Афанасьевич был режиссером шарадных постановок и блистал как актер в шарадах и любительских спектаклях. Весной и летом ездили на лодках по Днепру. А зимой — каток. Гимназист Булгаков, в кругу зрителей, демонстрировал «пистолет» и «испанскую звезду». Летом у нас на даче (в Буче под Киевом) процветал крокет: играли со страшным азартом, играли, бывало, до темноты, кончая при лампах. Мама принимала участие в этих крокетных турнирах наравне с нами; играла она хорошо.

Затем крокет отошел на задний план, пришло общее увлечение теннисом. Это была дорогая игра. Ракетки и мячи покупали мы, старшие дети, на заработанные нами деньги. Стали постарше, не бросая крокета и тенниса, увлеклись игрой в винт. Играли и в шахматы, и в шашки; в доме процветали «блошки» — настольная игра [5; 56–57].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

В шарадах он был асом. Вот он с белой мочалкой на голове, изображающей седую шевелюру, дирижирует невидимым оркестром. (Он вообще любил дирижировать. Он иногда брал карандаш и воспроизводил движения дирижера — эта профессия ему необыкновенно импонировала, даже больше: влекла его.) Это прославленный дирижер Большого театра — Сук (слог первый шарады).

Затем тут же в гостиной двое (Лидун и «помидорчик») играют в теннис. Слышится «аут», «ин», «сёртин». Весь счет в этой игре и все полагающиеся термины с легкой руки Добрыниных произносятся на английском языке. («Ин» — слог второй шарады.) Третье — сын. Возвращение блудного сына. А все вместе... с террасы в гостиную сконфуженно вступает, жмурясь от света, дивный большой пес Буян — сукин сын.

Уж не помню, в какой шараде, но Мака изображал даму в капоте Лидии Митрофановны — в синем с белыми полосками — и был необыкновенно забавен, когда по окончании представления деловито выбрасывал свой бюст - диванные подушки. М. А. изобрел еще одну игру. Все делятся на две партии. Участники берутся за края простыни и натягивают ее, держа почти на уровне лица. На середину простыни кладется легкий комок расщепленной ваты. Тут все начинают дуть, стараясь отогнать ее

к противоположному лагерю. Проигравшие платят фант... Состязание проходило бурно и весело [4; 126–127].

Михаил Михайлович Яншин:

И тут невольно вспоминается Маяковский. <...> Оба жизнерадостны, причем страстные бильярдисты, опять-таки разных стилей. Маяковский обладал необыкновенно сильным ударом, любил класть шары так, что «лузы трещали». Булгаков играл более тактично, более вкрадчиво, его удары были мягче, эластичнее и зачастую поражали своей неожиданной меткостью [5; 269–270].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У нас была такая игра: задавать друг другу какой-нибудь вопрос, на который надо было ответить сразу, ничего в уме не прикидывая и не подбирая. Он меня раз спросил:

– Какое литературное произведение, по-твоему, лучше всего написано?

Я ответила: «„Тамань“ Лермонтова». Он сказал: «Вот и Антон Павлович так считает». И тут же назвал письмо Чехова, где это сказано. Теперь-то, вспоминая, я вижу, как он вообще много знал. К тому же память у него была превосходная... [4; 142–143]

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Когда приходили к нам старые приятели: Понсовы, Сережа Топленинов, Петя Васильев, мы устраивали «блошиные бои». М. А. пристрастился к этой детской игре и достиг в ней необыкновенных успехов, за что получил прозвище «Мака-Булгака – блошиный царь». Заходил сразиться в блошки и актер Камерного театра Т. Ф. Волошин со своей миниатюрной и милой женой, японкой Инамэ-сан («Хри-

зантема»). Иногда мы ходили на стадион химиков играть в теннис. <...>

В те годы мы часто ездили в «Кружок» — клуб работников искусств в Старопименовском переулке. <...>

В бильярдной зачастую сражались Булгаков и Маяковский, а я, сидя на возвышении, наблюдала за их игрой и думала, какие они разные. Начать с того, что М. А. предпочитал «пирамидку», игру более тонкую, а Маяковский тяготел к «американке» и достиг в ней большого мастерства [4; 150–151].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

2 июня. <...> Вечером были у Поповых. М. А. и Патя выдумали игру: при здоровании или прощании успеть поцеловать другому руку — неожиданно. Сегодня успел Патя. Веселятся при этом, как маленькие [7; 61].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

24 декабря.

Елка была. Сначала мы с М. А. убрали елку, разложили под ней всем подарки. Потом потушили электричество, зажгли свечи на елке, М. А. заиграл марш, — и ребята влетели в комнату. Потом — по программе — спектакль. М. А. написал две сценки (по «Мертвым душам»). Одна — у Собакевича. Другая — у Сергея Шиловского. Чичиков — я. Собакевич — М. А. Потом — Женичка — я, Сергей — М. А. Гримировал меня М. А. пробкой, губной помадой и пудрой.

Занавес — одеяло на двери из кабинета в среднюю комнату. Сцена — в кабинете. М. А., для роли Сергея, надел трусы, сверху Сергеево пальто, которое

ему едва до пояса доходило, и матроску на голову. Намазал себе помадой рот.

Зрители: Ольга, Сусанна и мальчики. Успех.

Потом ужин рождественский – пельмени и масса сластей. Калужский пришел со спектакля в двенадцатом часу [7; 84].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

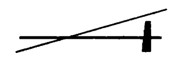
<1937>

2 июля. <…> После обеда пошли на балкон и стали втроем забавляться игрой – пускали по ветру бумажки папиросные и загадывали судьбу – высоко ли и далеко ли полетит бумажка [7; 158].

Александр Михайлович Файко:

А иногда вечерами мы играли в игры, которые выдумывал хозяин. Особенно он любил игру в отметки, когда мы, каждый от себя, должны были оценивать кандидатов той или другой степенью балла. «Так это же просто игра во „мнения“», – сказала моя жена в первый раз. «Нет, мадам, вы ошибаетесь, – отвечал Булгаков. – Это мнения, но не так уж это просто. Мы должны оценить человека не за какие-либо особые его качества, а за весь комплекс присущей ему личности. Дело не только в интеллекте, чуткости, такте, обаянии и не только в таланте, образованности, культуре. Мы должны оценить человека во всей совокупности его существа, человека как человека, даже если он грешен, несимпатичен, озлоблен или заносчив. Нужно искать сердцевину, самое глубокое средоточие человеческого в этом человеке и вот именно за эту „совокупность“ ставить балл». – «Да, это, пожалуй, не „мнения“», – сказала «мадам Помпадур» и задумалась. К столу подсаживались Елена Сергеевна, С. Ермолинский или П. Попов, но обыкновенно народу на наших священнодействах бывало немного. Не стану называть

кандидатов, попадавших в списки оцениваемых лиц, – это ничего не объяснит. Важны результаты, а не отбор. Когда наши мнения сходились и некий Н., мало чем известный, тихий, скромный человек, единодушно получал высшую оценку, Булгаков ликовал. «За что? – спрашивал он с сатанинским смехом. – За что мы ему поставили круглую пятерку, все, без исключения?» Он чуть не плакал от восторга, умиления и невозможности понять непонятное... [5; 351–352]





С детьми

Надежда Афанасьевна Земская:

Он очень любил детей, в особенности мальчишек. Он умел играть с ними. Он умел им рассказывать, умел привязать их к себе так, что они за ним ходили раскрывши рот [5; 55].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

28 сентября. <...> М. А. каждый вечер рассказывает Сергею истории из серии «Бубкин и его собака Конопат». Бубкин – воображаемый идеальный мальчик, храбрец, умница и рыцарь. Его приключения. Вечером, когда Сергей укладывается, Миша его спрашивает: «Тебе какой номер рассказать?» – «Ну, семнадцатый». – «Ага. Это, значит, про то, как Бубкин в Большой театр ходил с Ворошиловым. Хорошо». И начинается импровизация [7; 39].

Виктор Ефимович Ардов:

В памяти моей достаточно рельефно и сегодня еще возникает картина появления Михаила Афанасьевича в нашей крошечной квартире первого этажа в Нащокинском переулке. Вот он входит вместе с Сережей. Происходит несколько церемонный об-

ряд взаимных приветствий. Затем мальчики изъявляют желание отправиться поиграть во двор. Михаил Афанасьевич дружески и вместе с тем строго предупреждает пасынка против возможных эксцессов во время этой прогулки. Говорит он тихим голосом, но услышать можно. И тут бросается в глаза его удивительная манера говорить даже с ребенком: уважительно и мягко, заставляя Сережу логически мыслить вместе с собою. Примерно так:
– Ну, сам посуди, друг мой, в каком виде предстанем мы перед твоей мамой, если ты поведешь себя недостойным образом – например, испачкаешь или порвешь платье, примешь участие в драке и так далее... Очень тебя прошу: подумай и о моей ответственности за твое поведение...
Если бы не бесконечная доброта Михаила Афанасьевича и его лучистый юмор, такие нотации производили бы впечатление нудных. Но Булгаков изредка косит и на меня большим серым глазом – оцениваю ли я смысл его рацей – и к мальчику наклоняется так доверительно, с такой деликатностью и любовью, что трудно сдерживать смех... А смеяться нельзя: ведь это – педагогическая акция!..
Сережа внятно заявляет, что он вполне понимает свою ответственность перед дядей Мишей и мамой. Мальчики удаляются [5; 340].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 23 февраля 1961 г.:*
Миша иногда, глядя на Сергея малого, разводил руками, поднимал плечи и говорил: «Немезида!.. Понимаешь ли ты, Сергей, что ты – Немезида?» На что Сережка оскорбленно отвечал: «Мы еще посмотрим, кто Мезида, а кто Немезида!» И приводил этим Мишу в восторг. Вообще он все время задевал мальчишку. «Эх, Сергей, как тебе не стыдно, как ты читаешь!.. Те...ле...фон... Позор! Тебе шесть лет, а ты по складам

читаешь?» Сергей отвечал: «Ну де, когда меня только сейчас учить начали... вот если бы начали в два года! Вот я теперь бы читал! Во — как читал!..» — и тяжко вздыхал при этом. «Довольно, довольно! Ах, если бы мне вернуть молодость!.. фаустовские настроения... оставь, оставь, Сергей, ты эту андреевщину!..» И Сергей, уже хохоча, приставал к нему, что такое андреевщина. Их разговоры, их отношения — это вообще было представление, спектакль для меня. Если Миша ехал кататься на лодке и Сергей приставал, как о том и мечтал Миша, к нему, чтобы его взяли с собой, Миша брал с него расписку, что он будет вести себя так-то и так-то (эти расписки у меня сохранились, конечно). По пунктам — договор и подпись Сергея. Или в шахматы. Миша выучил его играть, и когда выигрывал Сергей (сами понимаете, это надо было в педагогических целях), Миша писал мне записку: «Выдать Сергею полплитки шоколаду». Подпись. Хотя я сидела в соседней комнате. — А то они писали заговорщицкое письмо и клали его в почтовый ящик на двери и всячески вызывали меня посмотреть: нет ли чего в ящике... [7; 328–329]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1937>

1 января.

Новый год встречали дома. Пришел Женичка. Зажгли елку. Были подарки, сюрпризы, большие воздушные шары, игра с масками.

Ребята и М. А. с треском били чашки с надписью «1936-й год», — специально для этого приобретенные и надписанные [7; 128].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1937>

29 сентября.

«Бег» с утра.

М. А. искал фамилию, хотел заменить ту, которая не нравится. Искали: Каравай... Караваев... Пришел Сережка и сказал — «Каравун». М. А. вписал.

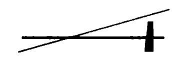
Вообще иногда М. А. объявляет мальчикам, что дает рубль за каждую хорошую фамилию. И они начинают судорожно предлагать всякие фамилии (вроде «Ленинграп»...).

А весной была такая игра: мух было мало в квартире и М. А. уверял, что точно живет в квартире только одна старая муха Мария Ивановна. Он предложил мальчикам по рублю за каждую муху. И те стали приносить, причем М. А. иногда, внимательно всмотревшись, говорил — эта уже была. С теплом цена на мух упала сначала до 20 копеек, а потом и до пятачка [7; 169].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1937>

7 декабря. <...> Сегодня день рожденья Женюши, — он называется еще у нас «номер первый». Это М. А. выдумал игру: они трое (М. А., Женичка и Сергей) спрашивают меня в отдельности, кого я больше всех люблю, кто первый номер [7; 177].





Жилище

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

23 августа. <...> Для М. А. квартира — магическое слово. Ничему на свете не завидует — квартире хорошей! Это какой-то пунктик у него [7; 64].

1918. Киев

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Интересно, Татьяна Николаевна, а обстановка квартиры какая была... вот если сравнить с «Белой гвардией». Часы с гавотом, например...

Т. К. Таких часов я не помню. В столовой висели настенные часы где-то, но только они никакого гавота не пели. Ковров тоже никаких не было. Это Булгаков от Саратова взял. Мой отец очень ковры любил и все деньги на них тратил. Вся квартира в коврах была. Михаилу очень это нравилось. А в Киеве... может, и были какие-то у кровати такие... но я их не помню.

Л. П. А вот печка...

Т. К. Да, печка была, но на ней никаких надписей не было.
Л. П. Рисунок, он пишет...
Т. К. И рисунков никаких не было.
Л. П. А где были книги? В «Белой гвардии» говорится про «книжную»...
Т. К. Книг я там никаких не видела. По-моему, там книг и не было. Был кабинет — вот эта угловая комната с отдельным ходом — ну, там письменный стол стоял, еще что-то. Но книг не было. В гостиной пианино стояло, стол, диван вот так был, и лампа стояла такая... металлическая, сверху абажур. Очень красивая.
Л. П. Булгаков какую мебель любил?
Т. К. Такую... мягкую, хорошую. Но в квартире не такая мебель была, как он описывает. Правда, бархат был, но такой... потертый. Не было этого, чтобы вазы, цветы, мол, стояли. Скромная мебель была. Кремовых штор тоже не было. Были просто занавески [12; 59].

1921–1924. Москва, ул. Большая Садовая, 10, кв. 50

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*
Эта квартира не такая, как остальные, была. Это бывшее общежитие, и была коридорная система: комнаты направо и налево. По-моему, комнат семь было и кухня. Ванной, конечно, никакой не было, и черного хода тоже. Хорошая у нас комната была, светлая, два окна. От входа четвертая, предпоследняя, потому что в первой коммунист один жил, потом милиционер с женой, потом Дуся рядом с нами, у нее одно окно было, а потом уже мы, и после нас еще одна комната была. В основном, в квар-

тире рабочие жили. А на той стороне коридора, напротив, жила такая Горячева Аннушка. У нее был сын, и она все время его била, а он орал. И вообще, там невообразимо что творилось. Купят самогону, напьются, обязательно начинают драться, женщины орут: «Спасите! Помогите!» Булгаков, конечно, выскакивает, бежит вызывать милицию. А милиция приходит — они закрываются на ключ и сидят тихо. Его даже оштрафовать хотели [12; 94].

Михаила Афанасьевич Булгаков. *Стихи из письма Н. А. Булгаковой. Москва, 21 октября 1921 г.:*

На Большой Садовой
Стоит дом здоровый.
Живет в доме наш брат
Организованный пролетариат.
И я затерялся между пролетариатом
Как какой-нибудь, извините за выражение, атом.
Жаль, некоторых удобств нет,
Например — испорчен в<ате>р-к<лозе>т.
С умывальником тоже беда:
Днем он сухой, а ночью из него на пол течет вода.
Питаемся понемножку:
Сахарин и картошка.
Свет электрический — странной марки:
То потухнет, а то опять ни с того ни с сего разгорится ярко.
Теперь, впрочем, уже несколько дней горит подряд,
И пролетариат очень рад.
За левой стеной женский голос выводит: «бедная чайка...»,
А за правой играют на балалайке [2; 400–401].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

<1923>

29 октября. <...> Сегодня впервые затопили. Я весь вечер потратил на замазывание окон. Первая топка ознаменовалась тем, что знаменитая Аннушка оставила на ночь окно в кухне настежь открытым. Я положительно не знаю, что делать со сволочью, что населяет эту квартиру.

У меня в связи с болезнью тяжелое нервное расстройство, и такие вещи выводят меня из себя [3; 149].

Валентин Петрович Катаев:

Мы вместе, путаясь холодными руками, засовывали пучок пылающих лучин в самовар: из наставленной трубы валил зеленый дым, вызывавший у нас веселые слезы, а сквозняк нес по ногам из-под кухонной двери. Голая лампочка слабого накала свисала с темного потолка не ремонтировавшейся со времен первой мировой войны квартиры в доме «Эльпит-рабкоммуна» [10; 224].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Там кое-какая мебель уже была, и посуда какая-то была. У нас ничего не было. Только одна керосинка... нет, и керосинки не было. Ничего не было. А там, значит, диван был, зеркало большое, письменный стол, походная кровать складная, два шкафчика было... один потом Мария Даниловна забрала и походную кровать тоже. Кресло какое-то дырявое было. Потом, как-то я иду по улице, вдруг: «Тасечка! Здравствуйте!» — жена казначея из Саратова. Она уже в Москве жила, и у них наш стол оказался и полное собрание Данилевского. И вот, мы с Михаилом тащили это через всю Москву. Старинный очень стол, еще у моей прабабушки был. <...> Еще,

заплатили Михаилу за что-то, он будуарную мебель купил. Она, правда, не подходила к нашей комнате, потому что у нас высокий потолок был, а мебель такая миниатюрная. Но комнату украшала хорошо [12; 95–96].

Валентин Петрович Катаев:

У синеглазого был настоящий большой письменный стол, как полагается у всякого порядочного русского писателя, заваленный рукописями, газетами, газетными вырезками и книгами, из которых торчали бумажные закладки.

Синеглазый немножко играл роль известного русского писателя, даже, может быть, классика, и дома ходил в полосатой байковой пижаме, стянутой сзади резинкой, что не скрывало его стройной фигуры, и, конечно, в растоптанных шлепанцах.

На стене перед столом были наклеены разные курьезы из иллюстрированных журналов, ругательные рецензии, а также заголовок газеты «Накануне» с переставленными буквами, так что получалось не «Накануне», а «Нуненака» [10; 224].

1924.
Москва, Обухов (ныне Чистый) пер., 9.
«Голубятня»

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Мы живем на втором этаже. Весь верх разделен на три отсека: два по фасаду, один в стороне. Посередине коридор, в углу коридора — плита. На ней готовят, она же обогревает нашу комнату. В одной комнатушке живет Анна Александровна, пожилая, когда-то красивая женщина. В браке титулованная, девичья фамилия ее старинная, воспетая Пушкиным. Она вдова. Это совершенно выбитое из колеи,

беспомощное существо, к тому же страдающее астмой. Она живет с дочкой: двоих мальчиков разобрали добрые люди. В другой клетушке обитает простая женщина, Марья Власьевна. Она торгует кофе и пирожками на Сухаревке. Обе женщины люто ненавидят друг друга. Мы — буфер между двумя враждующими государствами. Утром, пока Марья Власьевна водружает на шею сложное металлическое сооружение (чтобы не остывали кофе и пирожки), из отсека А. А. слышится не без трагической интонации:

— У меня опять пропала серебряная ложка!

— А ты клади на место, вот ничего пропадать и не будет, — уже на ходу басом говорит М. В.

Мы молчим. Я жалею Анну Александровну, но люблю больше Марью Власьевну. Она умнее и сердечнее. Потом мне нравится, что у нее под руками все спорится. Иногда дочь ее Татьяна, живущая поблизости, подкидывает своего четырехлетнего сына Витьку. Бабка обожает этого довольно противного мальчишку. М. А. любит детей и умеет с ними ладить, особенно с мальчиками. <...>

Когда плаксивые вопли Витьки чересчур надоедают, мы берем его к себе в комнату и сажаем на ножную скамеечку. Здесь я обычно пасую, и Витька переходит целиком на руки М. А., который показывает ему фокусы. Как сейчас слышу его голос: «Вот коробочка на столе. Вот коробочка перед тобой... Раз! Два! Три! Где коробочка?» <...>

Внизу по фасаду живет человек с черной бородой и невидимым семейством. Под праздники они все заливисто поют деревенские песни. Когда возвращаешься домой, в окно виден медный начищенный самовар, увешанный баранками.

Под нами обитает молодой милиционер. Изредка он поколачивает свою жену — «учит», по выражению Марьи Власьевны, — и тогда она ложится

в сенях и плачет. Я было сунулась к ней с утешениями, но М. А. сказал: «Вот и влетит тебе, Любаша. Ни одно доброе дело не остается ненаказанным». Хитрый взгляд голубых глаз в мою сторону и добавление: «Как говорят англичане» [4; 96–97].

Середина 1920-х. Москва, Малый Левшинский пер., 4

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Мы переехали. У нас две маленьких комнатки — но две! — и хотя вход общий, дверь к нам все же на отшибе. Дом — обыкновенный московский особнячок, каких в городе тысячи тысяч: в них когда-то жили и принимали гостей хозяева, а в глубину или на антресоли отправляли детей — кто побогаче — с гувернантками, кто победней — с няньками. Вот мы и поселились там, где обитали с няньками. Спали мы в синей комнате, жили — в желтой. Тогда было увлечение: стены красили клеевой краской в эти цвета, как в 40–50-е годы прошлого века.

Кухня была общая, без газа: на столах гудели примусы, мигали керосинки. Домик был вместительный и набит до отказа. Кто только здесь не жил! Чета студентов, наборщик, инженер, служащие, домашние хозяйки, портниха и разнообразные дети. Особенно много — или так казалось — было их в семье инженера, теща которого, почтенная и культурная женщина, была родственницей Василия Андреевича Жуковского по линии его любимой племянницы Мойер, о чем она дала нам прочесть исследование. Особенностью кухни была сизая кошка, которая вихрем проносилась к форточке, не забывая куснуть попутно за икры стоявшего у примуса...

Окно в желтой комнате было широкое. Я давно мечтала об итальянском окне. Вскоре на подокон-

нике появился ящик, а в ящике настурции. Мака сейчас же сочинил:

В ночном горшке, зачем — бог весть,
Уныло вьется травка.
Живет по всем приметам здесь
Какая-то босявка...

«Босявка» — южнорусское и излюбленное булгаковское словечко [4; 120–121].

Москва, Большая Пироговская ул., 35

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Наш дом (теперь Большая Пироговская, 35-а) — особняк купцов Решетниковых, для приведения в порядок отданный в аренду архитектору Стую. В верхнем этаже — покои бывших хозяев. Там была молельня Распутина, а сейчас живет застройщик-архитектор с женой.

В наш первый этаж надо спуститься на две ступеньки. Из столовой, наоборот, надо подняться на две ступеньки, чтобы попасть через дубовую дверь в кабинет Михаила Афанасьевича. Дверь эта очень красива, темного дуба, резная. Ручка — бронзовая птичья лапа, в когтях держащая шар... Перед входом в кабинет образовалась площадочка. Мы любим это своеобразное возвышение. Иногда в шарадах оно служит просцениумом, иногда мы просто сидим на ступеньках как на завалинке. Когда мы въезжали, кабинет был еще маленький. Позже сосед взял отступного и уехал, а мы сломали стену и расширили комнату М. А. метров на восемь плюс темная клетушка для сундуков, чемоданов, лыж. Моя комната узкая и небольшая: кровать, рядом с ней маленький столик, в углу туалет, перед ним

стул. Это все. Мы верны себе: Макин кабинет синий. Столовая желтая. Моя комната — белая. Кухня маленькая. Ванная побольше.

С нами переехала тахта, письменный стол — верный спутник М. А., за которым написаны почти все его произведения, и несколько стульев. Два экзотических кресла, о которых я упоминала раньше, кому-то подарили. Остальную мебель, временно украшавшую наше жилище, вернули ее законному владельцу Сереже Топленинову. У нас осталась только подаренная им картина маслом, подписанная: «Софроновъ, 17 г.». Это натюрморт, оформленный в темных рембрандтовских тонах, а по содержанию сильно революционный: на почетном месте, в серебряной вазе — картошка, на переднем плане, на куске бархата — луковица; рядом с яблоками соседствует репа. Добрые знакомые разыскали мебель: на Пречистенке жила полубезумная старуха, родственники которой отбыли в дальние края, оставив в ее распоряжение большую квартиру с полной меблировкой, а старуху начали теснить, пока не загнали под лестницу. От мебели ей надо было избавляться во что бы то ни стало. Так мы купили шесть прекрасных стульев, крытых васильковым репсом, и раздвижной стол-«сороконожку». Остальное — туалет, сервант, кровать — приобрели постепенно, большей частью в комиссионных магазинах, только диван-ладью купили у знакомых (мы прозвали ее «закорюка»). <...>

Устроились мы уютно. На окнах повесили старинные шерстяные, так называемые «турецкие» шали. Конечно, в столовой, она же гостиная, стоит ненавистный гардероб. Он настолько же некрасив, насколько полезен, но девать его некуда. Кроме непосредственной пользы нам, им пользуется

кошка Мука: когда ей оставляют одного котенка, мы ставим на гардероб решето и кошка одним махом взлетает к своему детищу. Это ее жилище называется «Соловки».

Кошку Муку М. А. на руки никогда не брал — был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку. Исключение делал перед родами: кошка приходила к нему, и он ее массировал.

Кабинет — царство Михаила Афанасьевича. Письменный стол (бессменный «боевой товарищ» в течение восьми с половиной лет) повернут торцом к окну. За ним, у стены, книжные полки, выкрашенные темно-коричневой краской. <...> На столе канделябры — подарок Ляминых — бронзовый бюст Суворова, моя карточка и заветная материнская красная коробочка из-под духов Коти, на которой рукой М. А. написано: «Война 191...» и дальше клякса. <...> Лампа сделана из очень красивой синей поповской вазы, но она — инвалид. Бутон повис на проводе, свалил ее и разбил. Я была очень огорчена, но М. А. аккуратно склеил ее, и она служила много лет.

Невольно вспомнилось мне, как в «Белой гвардии» Булгаков воспевает абажур — символ тепла, уюта, семьи...[4; 136–139]

1930-е.
Москва, ул. Фурманова (Нащокинский пер.)

Виталий Яковлевич Виленкин:

В назначенный вечер я пришел к нему на улицу Фурманова (б. Нащокинский переулок). Он сам открыл мне дверь, против которой на стене прихожей висел плакат с бутылкой, накрест перечеркнутой крас-

ным штрихом, и изречением: «Водка – враг, сберкасса – друг». <...> Мне очень понравилась вся обстановка маленькой квартиры: старинная мебель, уютные настольные лампы, раскрытый рояль с «Фаустом» на пюпитре, цветы.

В кабинете было множество книг, впрочем, как и в коридоре, столовой, – везде [5; 286].



труды и дни мастера



Родители

Надежда Афанасьевна Земская:

Родители, и отец, и мать, оба были из Орловской губернии, из сердца России. Тургеневские места. И это тоже наложило отпечаток. Хотя мы жили на Украине (потом все уж говорили по-украински), но у нас все-таки было чисто русское воспитание. И мы очень чувствовали себя русскими. Но Украину любили. <...>

Когда отец умер, мне было 13 лет. Мне казалось, что мы, дети, плохо его знали. Ну что же, он был профессором, он очень много писал, он очень много работал. Много времени проводил в своем кабинете. И тем не менее вот теперь, оглядываясь на прошлое, я должна сказать: только сейчас я поняла, что такое был наш отец. Это был очень интересный человек, интересный и высоких нравственных качеств. Это я тоже считаю своим долгом отметить здесь, где я выступаю впервые с неопубликованными воспоминаниями. Над его гробом один из студентов, его учеников, сказал: «Ваш симпатичный, честный и высоконравственный облик». Действительно – честный, и чистый, и нравственный, как сказал его студент. Это повторяли и его сослуживцы. Отец проработал в академии 20 лет, и за

эти 20 лет у него ни разу не было не только ссоры или каких-нибудь столкновений с сослуживцами, но даже размолвки. Это было в его характере. У него была довольно строгая наружность. Но он был добр к людям, добр по-настоящему, без всякой излишней сентиментальности. И эту ласку к людям, строгую ласку, требовательную, передал отец и нам. <...>

Отец обладал огромной трудоспособностью. Вот я помню. Он уезжал в Киев с дачи на экзамены. А с экзамена он приезжал, снимал сюртук, надевал простую русскую рубаху-косоворотку и шел расчищать участок под сад или огород. Вместе с дворником они корчевали деревья, и уже один, без дворника, отец прокладывал на участке (большой участок — две десятины) дорожки, а братья помогали убирать снятый дерн, песок...

Отец с большой любовью устраивал домашнее гнездо, но, к сожалению, это продолжалось недолго. Мы начали жить в Буче в 1902 году, а отец умер в 1907-м. Смерть отца для всей семьи была неожиданным и очень страшным ударом. Подумайте, семеро детей осталось на руках у матери, и тем не менее она сумела нам дать радостное детство. Сначала она (видно было это) растерялась, но потом нашла в себе силы. Она была женщина энергичная, очень умная, жизнеспособная и радостная. У нас в доме все время звучал смех. Помню одно письмо от сестры Варвары. Начиналось оно такими словами: «Мы так хохотали». Так вот: «Мы так хохотали». Это был лейтмотив нашей жизни [5; 46–50].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

С детства мы привыкли засыпать под музыку Шопена: уложив детей спать, мама садилась за пианино. Отец играл на скрипке и пел (у отца был мяг-

кий красивый бас). Часто он пел «Нелюдимо наше море» — эту вещь мы все полюбили [5; 58].

Надежда Афанасьевна Земская:

Интересно, что произошло после смерти отца. Наша мать славилась среди родных и знакомых (а родных у нас было, как вы видите, очень много, и Булгаковых, и Покровских) как великолепная воспитательница. И вот один из братьев отца, который служил в Японии, привез матери своих двоих сыновей и попросил взять их в нашу семью, потому что он хотел дать своим сыновьям русское образование. Там не было полных русских гимназий. И вот появились у нас в семье два «японца» — так мы их называли: Коля и Костя. Костя — старший, Коля — младший. А через год, очень скоро после японцев, приехала уже с запада (из г. Холм Люблинской губернии) сестра, тоже Булгакова, двоюродная. Приехала в Киев на Киевские женские курсы. Она кончила гимназию раньше, чем я. И таким образом у вдовы-матери оказалось в семье десять человек детей. И мама с ними справлялась. Маме тогда, когда отец умер, шел 37-й год.

И вот эта женщина сумела нас сплотить, вырастить и дать нам всем образование. Это была ее основная идея. Она говорила нам потом, когда мы уже стали взрослыми: «Я хочу вам всем дать настоящее образование. Я не могу вам дать приданое или капитал. Но я могу вам дать единственный капитал, который у вас будет, — это образование». И действительно. Она дала нам всем образование. А вторая ее идея, превосходная идея, была: нельзя допустить, чтобы дети бездельничали. И мама давала нам работу. Мы и сами работали, даже летом. Например, моя обязанность была заниматься до обеда с младшими братьями. А обязанность братьев была сначала помогать отцу в расчистке дорожек, а затем уби-

рать мусор с участка. Братья собирали песок, дерн, листья. И вот Михаил в 15-м году (интересное было лето у нас 15-го года) пишет стихотворение:

Утро. Мама в спальне дремлет.
Солнце красное взойдет,
Мама встанет и тотчас же
Всем работу раздает:
«Ты иди песок сыпь в ямы,
Ты ж из ям песок таскай».

Миша, конечно, смеется. Причем мать сама весело смеялась в таких случаях. <...>
Мать была, конечно, незаурядная женщина, очень способная. Вот сказки. Она рассказывала нам сказки, которые всегда сама сочиняла. Она вела нас твердой и умной рукой. Была требовательна. Но помните слова из письма сестры Вари: «Мы так хохотали». Мать не стесняла нашей свободы, доверяла нам. И мы со своей стороны были с нею очень откровенны. У нас не было того, что бывает в других семьях, — недоверия. Были товарищи братьев, были поклонники у нас. Меня спрашивали: «Надя, вам надо писать до востребования?» Я говорю: «Зачем? Пишите, если вы хотите мне писать, на нашу квартиру». — «Как? А мама?» — «А что мама? Мама наших писем не читает». И это правильно. Это было, подумайте, когда. В начале XX века. Мама наших писем не читала. А мы ей сами читали, если нам хотелось ей что-нибудь рассказать.
Конечно, наша компания причиняла ей немало забот, тревог и огорчений, иногда серьезных огорчений, но все-таки она нам не мешала жить радостно, и мы жили радостно [5; 50–52].



Под родным кровом

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из романа «Белая гвардия»:*

Как многоярусные соты, дымился и шумел и жил Город. Прекрасный в морозе и тумане на горах, над Днепром. Целыми днями винтами шел из бесчисленных труб дым к небу. Улицы курились дымкой, и скрипел сбитый гигантский снег. И в пять, и в шесть, и в семь этажей громоздились дома. Днем их окна были черны, а ночью горели рядами в темно-синей выси. Цепочками, сколько хватало глаз, как драгоценные камни, сияли электрические шары, высоко подвешенные на закорючках серых длинных столбов. Днем с приятным ровным гудением бегали трамваи с желтыми соломенными пухлыми сиденьями, по образцу заграничных. Со ската на скат, покрикивая, ехали извозчики, и темные воротники — мех серебристый и черный — делали женские лица загадочными и красивыми.

Сады стояли безмолвные и спокойные, отягченные белым, нетронутым снегом. И было садов в Городе так много, как ни в одном городе мира. Они раскинулись повсюду огромными пятнами, с аллеями, каштанами, оврагами, кленами и липами.

Сады красовались на прекрасных горах, нависших над Днепром, и, уступами поднимаясь, расширяясь, порою пестря миллионами солнечных пятен, порою в нежных сумерках царствовал вечный Царский сад. Старые сгнившие черные балки парапета не преграждали пути прямо к обрывам на страшной высоте. Отвесные стены, заметенные вьюгою, падали на нижние далекие террасы, а те расходились все дальше и шире, переходили в береговые рощи, над шоссе, вьющимся по берегу великой реки, и темная, скованная лента уходила туда, в дымку, куда даже с городских высот не хватает человеческих глаз, где седые пороги, Запорожская Сечь, и Херсонес, и дальнее море.

Зимою, как ни в одном городе мира, упадал покой на улицах и переулках и верхнего Города, на горах, и Города нижнего, раскинувшегося в излучине замерзшего Днепра, и весь машинный гул уходил внутрь каменных зданий, смягчался и ворчал довольно глухо. Вся энергия Города, накопленная за солнечное и грозовое лето, выливалась в свете. Свет с четырех часов дня начинал загораться в окнах домов, в круглых электрических шарах, в газовых фонарях, в фонарях домовых, с огненными номерами, и в стеклянных сплошных окнах электрических станций, наводящих на мысль о страшном и суетном электрическом будущем человечества, в их сплошных окнах, где были видны неустанно мотающие свои отчаянные колеса машины, до корня расшатывающие самое основание земли. Играл светом и переливался, светился и танцевал и мерцал Город по ночам до самого утра, а утром угасал, одевался дымом и туманом.

Но лучше всего сверкал электрический белый крест в руках громаднейшего Владимира на Владимирской горке, и был он виден далеко, и часто летом, в черной мгле, в путаных заводях и изгибах старика-

реки, из ивняка, лодки видели его и находили по его свету водяной путь на Город, к его пристаням. Зимой крест сиял в черной гуще небес и холодно и спокойно царил над темными пологими далями московского берега, от которого были перекинуты два громадных моста. Один цепной, тяжкий, Николаевский, ведущий в слободку на том берегу, другой – высоченный, стреловидный, по которому прибегали поезда оттуда, где очень, очень далеко сидела, раскинув свою пеструю шапку, таинственная Москва [1; 217–219].

Надежда Афанасьевна Земская:

Михаил рос не одиноко. Появились братья и сестры. Всего в семье было семеро детей: четыре сестры и три брата. Родители сумели сдружить и сплотить эту большую и разнохарактерную компанию. По характерам дети были разные. Конечно, были общие черты, но дети были интересны именно каждый своими индивидуальными способностями [5; 46].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Природа оформила Булгаковых в светлые тона – все голубоглазые, блондины (в мать), за исключением младшей, Елены. Она была сероглазая, с темно-русыми пышными волосами. Было что-то детски милое в ее круглом, будто прочерченном циркулем лице.

Ближе всех из сестер М. А. был с Надеждой. Существовал между ними какой-то общий духовный настрой, и общение с ней для него было легче, чем с другими. Но сестра Елена тоже была ему достойной партнершей по юмору [4; 92].

Надежда Афанасьевна Земская:

Вывозить такую ораву на наемные дачи было невозможно, и решили купить дачу. В девятисотом

году они купили участок в поселке Буча в 30 километрах от Киева — две десятины леса, парк, можно сказать. И на этом участке под наблюдением отца была выстроена добротная дача в пять комнат и две большие веранды. Это была целая эпоха в семье Булгаковых. Действительно, дача дала нам простор, прежде всего простор, зелень, природу. Отец (он был хорошим семьянином) старался дать жене и детям полноценный летний отдых. Роскоши никакой не было. Было все очень просто. Ребята спали на так называемых дачках (знаете, теперь раскладушки). Но роскошь была: роскошь была в природе. В зелени. Роскошь была в цветнике, который развела мать, очень любившая цветы. Она еще в Карачеве, в своем родном городе, девушкой занималась цветами, о чем писала отцу, тогда жениху, в Киев.

Цветник. Много зелени. Каштаны, посаженные руками самой матери. И дети вырастали на свободе, на просторе, пользуясь всеми возможными радостями природы. В первый же год жизни в Буче отец сказал матери: «Знаешь, Варечка, а если ребята будут бегать босиком?» Мать дала свое полное согласие, а мы с восторгом разулись и начали бегать по дорожкам, по улице и даже по лесу. Старались только не наступать на сосновые шишки, потому что это неприятно. И это вызвало большое удивление у соседей. Особенно поджимали губы соседки: «Ах! Профессорские дети, а босиком бегают!» Няня сказала об этом матери. Мать только рассмеялась. <...>

В доме была требовательность, была серьезность, но мне кажется, я могу с полным правом сказать, что основным методом воспитания детей у Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны Булгаковых были шутка, ласка и доброжелательность. Мы очень дружили детьми и дружили потом, когда у нас вы-

росла семья до десяти человек. Ну, конечно, мы ссорились, было все что хотите, мальчишки и дрались, но доброжелательность, шутка и ласка — это то, что выковало наши характеры. <...>

Вокруг нас группировались товарищи братьев и подруги сестер. Иногда летом у нас за стол садилось 14 человек. И это было хорошо. <...> Но в этой компании разнохарактерные были люди, и вот, в частности Михаил Афанасьевич, старший, первенец, отличался одной особенностью. Он был весел, он задавал тон шуткам, он писал сатирические стихи про ту же самую маму и про нас, давал нам всем стихотворные характеристики, рисовал карикатуры. Он был человек всесторонне одаренный: рисовал, играл на рояле, карикатуры сочинял. Действительно, это был редкий случай. <...>

Так вот Михаил. Он очень много смеялся и задавал тон нашему веселью, был превосходным рассказчиком (об этом много писали, это все знают). Мы слушали его затаив дыхание [5; 46–53].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

Михаил Афанасьевич рисовал карикатуры на всех нас и на себя. Есть его рассказ в рисунках «Tempora mutantur (времена меняются), или Что вышло из того, который женился, и из другого, который учился»; героями этих рисунков были сам Михаил и наш двоюродный брат Костя [5; 60].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

У них в семье вообще бытовало немало своих словечек и поговорок. Когда кому-нибудь (а их было семь человек детей) доводилось выйти из-за стола, а на столе было что-нибудь вкусное, выходящий обращался к соседу с просьбой: «Постереги».

Вся эта команда (дружная, надо сказать) росла, училась, выдумывала, ссорилась, мирилась, смеялась... [4; 120–121]

Надежда Афанасьевна Земская:

Один раз возвращаюсь я из Киева на дачу и вижу: мальчики стоят на головах. Я спрашиваю: «Что это такое? В чем дело?» А мне отвечают: «Надюша! У нас же от алгебры мозги перевернулись. Надо их поставить на место. И вот мы сейчас стараемся, мы ставим мозги на место» [5; 52].

Константин Георгиевич Паустовский:

Мне привелось учиться вместе с Булгаковым в 1-й Киевской гимназии. Основы преподавания и воспитания в этой гимназии были заложены знаменитым хирургом и педагогом Пироговым. Может быть, поэтому 1-я Киевская гимназия и выделялась по составу своих преподавателей из серого списка остальных классических гимназий России. Из этой гимназии вышло много людей, причастных к науке, литературе и особенно к театру [5; 94].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из романа «Белая гвардия»:*

Стовосьмидесятиоконным, четырехэтажным громадным покоем окаймляла плац родная Турбину гимназия. Восемь лет провел Турбин в ней, в течение восьми лет в весенние перемены он бегал по этому плацу, а зимами, когда классы были полны душной пыли и лежал на плацу холодный важный снег зимнего учебного года, видел плац из окна. <...> О, восемь лет учения! Сколько в них было нелепого и грустного и отчаянного для мальчишеской души, но сколько было радостного. Серый день, серый день, серый день, ут консекутивум,

Кай Юлий Цезарь, кол по космографии и вечная ненависть к астрономии со дня этого кола. Но зато и весна, весна и грохот в залах, гимназистки в зеленых передниках на бульваре, каштаны и май, и, главное, вечный маяк впереди – университет, значит, жизнь свободная,– понимаете ли вы, что значит университет? Закаты на Днепре, воля, деньги, сила, слава.

И вот он все это прошел. Вечно загадочные глаза учителей, и страшные, до сих пор еще снящиеся, бассейны, из которых вечно выливается и никак не может вылиться вода, и сложные рассуждения о том, чем Ленский отличается от Онегина, и как безобразен Сократ, и когда основан орден иезуитов, и высадился Помпей, и еще кто-то высадился, и высадился и высаживается в течение двух тысяч лет... [1; 252]

Константин Георгиевич Паустовский:

Гимназистам было запрещено кататься на лодках по Днепру. Выслеживал нас на реке сторож Максим. Он был в то время еще крепок, хитер и изобретателен. Он подкупал табаком и другими нехитрыми благами сторожей на лодочных пристанях и считался их общим «кумом». Но гимназисты были хитрее и изобретательнее Максима и попадались редко. Несколько раз Максима предупреждали, чтобы он бросил слежку. Но Максим не унимался. Тогда старшеклассники поймали его однажды на глухом берегу и окунули в форменном сюртуке с бронзовыми медалями в холодную воду. Дело было весной. Днепр был в разливе. Максим бросил слежку, но прозвище «Холодная вода» осталось за ним на всю жизнь.

А мы с тех пор, несмотря на разлив, безнаказанно носились на лодках по Днепру. Особенно любили мы затопленную Слободку с ее трактирами и чай-

ными на сваях. Лодки причаливали прямо к дощатым верандам. Мы усаживались за столиками, покрытыми клеенкой. В сумерках, в ранних огнях, в первой листве садов, в потухающем блеске заката высились перед нами киевские кручи. Свет фонарей струился в воде. Мы воображали себя в Венеции, шумели, спорили и хохотали. Первое место на этих «вечерах на воде» принадлежало Булгакову [5; 94–95].

Надежда Афанасьевна Земская:

Когда в Киеве появился футбол, Михаил еще был гимназистом. Он увлекся футболом (он умел увлекаться!) и стал футболистом. Вслед за ним стали футболистами младшие братья [5; 52].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

В старших классах гимназии мы стали постоянными посетителями симфонических концертов зимой и летом; с нетерпением ждали открытия летнего сезона в Купеческом саду. В доме все играли на пианино. Сестра Варя училась в Киевской консерватории (рояль), сестра Вера пела; кончив гимназию, она стала участницей известного киевского хора Кошица. Да и вся семья пела; у нас образовался свой домашний хор с участием близких друзей. Пели хором мои любимые «Вечерний звон» и «Выхожу один я на дорогу» (запевал нежным тенором младший брат Ваня), а наряду с этим пели «Крамбамбули», «Антоныча», «Цыпленка»; любили петь солдатские песни, чаще других «Вещего Олега» и «Взвейтесь, соколы, орлами». <...>

В доме часто звучала скрипка; играл друг нашей юности, ученик Киевской консерватории, а потом преподаватель Киевской музыкальной школы Александр Петрович Гдешинский. Младшие братья уча-

ствовали в гимназическом оркестре струнных и духовых инструментов, у них были свои балалайки и домры, и из их комнаты часто звучали «Светит месяц», «Полянка» и другие народные песни. Мама сносила все это терпеливо. Но когда один из них принес домой тромбон и начал дома разучивать свою партию на тромбоне, тут уж ее нервы не выдержали, и тромбон был отправлен обратно в гимназию [5; 58–59].

Надежда Афанасьевна Земская:

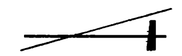
Он увлекался опытами, экспериментировал. Ловил жуков. <...> Он препарировал жуков или их высушивал, мариновал ужей. Были случаи, когда уж, пойманный младшим братом Колей для Михаила, уходил, и одного такого ужа мать обнаружила вечером (хорошо, что она зажгла лампу перед этим) у себя, свернувшимся клубочком, под подушкой. Михаил ловил и бабочек. И конечно, при горячем участии братьев он увлекался энтомологией, собрал очень хорошую коллекцию бабочек. Причем там были и сатир, и махаоны, и многие другие редкие экземпляры. <...> Михаил очень много работал с микроскопом [5; 53].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из письма К. Г. Паустовскому:*

Мы выписывали «Сатирикон», активно читали тогдашних юмористов — прозаиков и поэтов (Аркадий Аверченко и Тэффи). Любили и хорошо знали Джерома Джерома и Марка Твена. Михаил Афанасьевич писал сатирические стихи о семейных событиях, сценки и «оперы», давал всем нам стихотворные характеристики и рисовал на нас и на себя самого карикатуры. Некоторые из его сценок и стихов я помню. Многие из его выражений и шуток стали у нас в доме «крылатыми словами» и вошли в наш

семейный язык. Мы любили слушать его рассказы-импровизации, а он любил рассказывать нам, потому что мы были понимающие и сочувствующие слушатели, – контакт между аудиторией и рассказчиком был полный и восхищение слушателей было полное. <...>

Уже гимназистом старших классов Михаил Афанасьевич стал писать по-серьезному: драмы и рассказы. Он выбрал свой путь – стать писателем, но сначала молчал об этом. В конце 1912 г. он дал мне прочесть свои первые рассказы и тогда впервые сказал мне твердо: «Вот увидишь, я буду писателем» [5; 60].





Тася. Первая любовь

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

У Булгаковых были в Киеве «нечетные субботы» — собиралась молодежь, танцевали, пели. Коля и Ваня (младшие братья. — *М. Ч.*) играли на балалайке, на гитаре... У них играли в детские игры в «испорченный телефон», в «море волнуется»... На Рождество Булгаков приехал в Саратов... Была елка, мы танцевали, но больше сидели, болтали... В 1912 году он курса не кончил, остался на второй год — и снова приехал летом в Саратов. Потом мы вместе уехали в Киев — под предлогом моего поступления на Историко-филологические курсы... В прошлое лето отец не разрешил мне остаться в Киеве — «Поработай год — тогда поедешь в Киев!», и я год была в училище классной дамой, там девушки были в два раза крупнее меня... В Киеве я поступила на Историко-филологические курсы, на романо-германское отделение, но некогда было учиться — все гуляли... Ходили в театр, «Фауста» слушали, наверно, раз десять... [5; 110–111]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Почему вы выбрали именно историко-филологический?

Т. К. А мне было все равно. Нужен был только предлог поехать в Киев. Я ходила на лекции, Михаил занимался и еще подрабатывал, давал уроки. Он приходил ко мне вечером, и мы отправлялись в кино, после кино часто заходили в кафе на углу Фундуклеевской. Очень хорошее кафе было. Вот так и продолжалось. Потом мы снимали комнату еще где-то, кажется, на Рейтарской (Рейтарская ул., д. 25. — *Л. П.*). Я училась только первую половину года, потом бросила. Во-первых, мне это не нужно было, во-вторых, надо было платить деньги. А Михаил теперь серьезно взялся за медицину, потому что, пока мы были врозь, он совсем забросил учебу. Третий год на втором курсе сидел. И вот, однажды я получаю записку от Варвары Михайловны: «Тася, зайдите, пожалуйста, ко мне». Ну, я пришла. Она говорит: «Тася, я хочу с вами поговорить. Вы собираетесь выходить замуж за Михаила? Я вам не советую... Как вы собираетесь жить? Это совсем не просто — семейная жизнь. Ему надо учиться... Я вам не советую этого делать...» — и так далее. Еще она просила меня не говорить Михаилу об этом разговоре... [12; 28–29]

Варвара Михайловна Булгакова (урожд. Покровская; 1869–1922), *мать Булгакова. Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 30 марта 1913 г.:*

Моя милая Надя! Давно собираюсь написать тебе, но не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму: Миша совершенно измочалил меня. <...> В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага: 26 апреля предполагается его

свадьба. Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными; так я решила устроить лучше все без скандала. Пошла к о. Александру Александровичу (можешь представить, как Миша с Тасей меня выпроваживали поскорее на этот визит!), поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что «Бог устроит все к лучшему». ...Если бы я могла надеяться на хороший результат этого брака; а то я, к сожалению, никаких данных с обеих сторон к каким бы то ни было надеждам не вижу, и это меня приводит в ужас. Александр Александрович искренно сочувствовал мне, и мне стало легче после разговора с ним. <...> Потом Миша был у него; он, конечно, старался обратить Мишино внимание на всю серьезность этого шага (а Мише его слова как с гуся вода!), призывал Божье благословение на это дело...

Теперь Мише нужно хлопотать о всяких бумагах; и я хочу еще, чтобы в матрикуле был зачтен его переход на 3-й курс, а тогда уже венчаться можно. Свадьба будет, конечно, самая скромная и тихая. Я посоветовала им написать Ник<олаю> Николаевичу (отцу Таси, Н. Н. Лаппа. — *Сост.*) письмо с извещением о переходе на 3-й курс и с просьбой о позволении венчаться. Вчера они отослали это письмо [5; 76].

Вера Афанасьевна Булгакова (в замуж. Давыдова; 1892–1973), *сестра Булгакова. Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 20 апреля 1913 г.:*

Теперь самое главное: Мишина свадьба будет 26 апр. (пятница). Будут только Давидовичи (родственники Т. Н. Лаппа. — *Сост.*), Булгаковы, Богдановы, Гдешинские, больше в церкви никого не будет, чтобы было потише и поскромнее, а на дом пригласят только Сынгаевских, которых эта свадьба

страшно интересует, а поэтому их нельзя не позвать, потому что они сами бы пришли в церковь, а мама не хочет толпы и помпы. К свадьбе приедет мать Таси, Евгения Викторовна. Тасе уже выслали образ из Саратова, а мать приедет благословить. Мама купила и Мише такой же образ, как у Таси, почти точь-в-точь. Оба образа очень хороши. Кольца заказали под руководством мамы, говорят, очень хороши, я их еще не видела. Вся молодежь, конечно, очень довольна и подшучивают над Тасей и Мишей. Тасе к свадьбе из дома прислали 100 руб., и бабушка, тетя Соня, Катя и отчасти мама все наперерыв советовали, что нужно купить к свадьбе. Бабушке особенно хотелось фату купить, но Тася наотрез отказалась. Бабушка теперь утешается тем, что оденет ту же наколку, что на Сонину свадьбу одевала. Мы же, молодежь, над всем этим хохотали и даже хотели заказать тебе поэму к их свадьбе: «Таську замуж выдают». Я рада в конце концов за них, а то они совершенно издергались, избеспокоились, изволновались и извелись. Теперь же пока наступает некоторое успокоение. Мама шьет Мише простыни и наволочки, а Маша и Груня их метят. После церкви у нас будет чай, фрукты и конфеты, а затем сторонних отправят по домам (образное выражение), а молодежь, верно, еще останется. После свадьбы Миша и Тася поселятся в Тасиной комнате, до Бучи, а в Буче будут вместе с нами [5; 77].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Мы обвенчались в 1913 году, после Пасхи. Сначала надо было идти в церковь, говеть (поститься, готовиться к исповеди и причастию. — *Л. П.*). И мы последнюю неделю ходили с Михаилом в церковь, причащались, исповедовались. Приеха-

ла мама из Саратова. Ничего торжественного не было, все было очень просто. Во-первых, у меня не было белого платья. Деньги на платье мне прислали, но их пришлось истратить в другое место... Никак нельзя было оставлять... Конечно, никто ничего не знал. Мама приезжает: «Где платье?» Я говорю: «Ты знаешь, вот так получилось, я не знаю, куда они девались». Ну, мама пошла, купила мне белую кофточку и белые туфли. <...> И вот, мама купила мне маркизетовую кофточку, туфли, я пошла в парикмахерскую, сделала себе прическу. Михаил нацепил мою золотую браслетку. Карета была. Две иконы было. Мать нас благословляла. <...> Александр Глаголев нас венчал. Мы все время хохотали. Все время смеялись. Там были Сашка Гдешинский с братом, Борис Богданов был, еще кто-то был. А родителей не было, они там где-то ждали. Вот, не помню, сестры были или нет. Потом мы сели в карету и поехали на Андреевский спуск. Ванька с нами ехал, а все остальные шли пешком. <...> Там мне преподнесли цветы, мы пообедали; посидели и пошли к себе домой на Рейтарскую, там, кажется, мы жили. Да, на Рейтарской у нас была комната. Я помню, еще зимой мы все катались на американских горах, бобслей... знаете, такие с виражами горы. И вот, все насквозь мокрые приходили на Рейтарскую улицу и там сушились. Вот и все. Так что все было очень скромно [12; 36].

Варвара Михайловна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 26 апреля 1913 г.:*
Только что поднялась с одра болезни, куда меня уложила Мишина свадьба. У меня еще хватило сил с честью проводить их к венцу и встретить с хлебом-солью и вообще не испортить семейного торжества. Свадьба вышла очень приличная. Приехала

мать Таси, были бабушка, Сонечка, Катя с Ирочкой, Иван Павлович, 2 брата Богдановых, 2 брата Гдешинских и Миша Книппович (это все близкие друзья Михаила), который попал случайно, и вся наша фамилия в торжественном виде. Встретили цветами и хлебом-солью, потом выпили шампанского (конечно, донского), читали телеграммы (которых с обеих сторон оказалось штук 15), а потом пошли пить чай. Я и молодые благодарим тебя и Колю за телеграмму. А потом у меня поднялась t° до 39°, и я уж не помню, как упала в постель, где пролежала 3 дня, а потом понемножку стала отходить. Сейчас у меня сильная слабость деятельности сердца, утром t° — 36°, и я шатаюсь, когда хожу [5; 77–78].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. А что вы делали в свободное время?

Т. К. Вечером ходили в кино, в гости к Булгаковым, к Сынгаевским. В детстве Варвара Михайловна дружила с их матерью, но потом они уже не ходили друг к другу. У них была большая семья, но я помню только Николая и его сестру, Валентину. Да, еще приятель у него был — тоже Карась, как в «Белой гвардии». Его так и звали «Карасем». Тоже приходил к Булгаковым. Они все друзьями детства были. Еще был Борис Богданов. Часто к нам приходил. Обязательно принесет коробку конфет и говорит: «Вот, это твоей жене. Пускай ест конфеты, а мы с тобой пойдем сейчас на биллиарде поиграем». Они уходили, играли на биллиарде, пили пиво, потом приходили. Брат Бориса, такой мрачный, тоже приходил, играл в «винт» с Варварой Михайловной и Михаилом. А этот Борис был такой веселый. И вот, однажды получил Михаил

от него записку: «Приходи, я больной». Пришел он к Борису: «Что с тобой?» — «Да вот, какая-то хандра... Не знаю, что со мной». Что-то посидели, поговорили, потом Борис говорит: «Слушай-ка, достань там мне папиросы в кармане». Михаил отвернулся, а он — пах!.. и выстрелил в себя. Михаил повернулся, а тот выговорил: «Типейка... только...» — и свалился. Наповал. Он хотел сказать, что там никаких папирос нету, только копейка: «Типейка там...» Михаил прибегает и рассказывает. Очень сильно это подействовало на него. Он и без этого всегда был нервный. Очень нервный. На коробке от папирос было написано, что «в моей смерти прошу никого не винить». Кто-то его якобы в трусости, что ли, обвинил... Интересный такой парень был. <...>
Однажды, не то в 1913, не то в 1914 году, Михаил принес кокаин. Говорит: «Надо попробовать. Давай попробуем».
Л. П. Ну, и как?
Т. К. У меня от кокаина появилось отвратительное чувство. Отвратительное. Тошнить стало. Спрашиваю: «А ты как?» — «Да спать я хочу...» В общем, не понравилось нам. <...>
Мы ходили в магазин такой маленький, «Лизель», на Крещатике, кажется. Там была ветчина, колбасы, сосиски очень вкусные были. Нам московская колбаса нравилась. Масло я покупала мекковское. Очень вкусное масло. Я однажды у бабушки Лизы попробовала и стала только это масло покупать. Еще покупали селедку и ужинали дома. Потом ходили гулять. Он все был недоволен: «Почему на тебя все смотрят?» А я из Саратова привезла такой костюм тафтовый черный... юбка широкая и недлинная, шляпка синяя простенькая, туфли хорошие. Эффектный был вид. «Почему смотрят?..» И еще

не разрешал: «Не смей пудриться и губы мазать!» Так я быстренько, пока мы спускались по лестнице, попудрюсь и губы намажу [12; 38–41].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Лето 1913 года провели в Буче (под Киевом), на их даче... На Рождество в Саратов в тот год я поехала одна, а Михаил сказал, что бриться без меня не будет — то есть ходить не будет никуда. Я приехала — он весь оброс бородой... Чем жили? Отец присылал мне деньги, а Михаил давал уроки... Мы все сразу тратили... Киев тогда был веселый город, кафе прямо на улицах, открытые, много людей... Мы ходили в кафе на углу Фундуклеевской, в ресторан «Ротце». Вообще к деньгам он так относился: если есть деньги — надо их сразу использовать. Если последний рубль и стоит тут лихач — сядем и поедем! Или один скажет: «Так хочется прокатиться на авто!» — тут же другой говорит: «Так в чем дело — давай поедем!» Мать ругала за легкомыслие. Придем к ней обедать, она видит — ни колец, ни цепи моей. «Ну, значит, все в ломбарде!» — «Зато мы никому не должны!»

...В 1914 году поехали на лето в Саратов. Там застала война. Мама организовала госпиталь при Казенной палате (отец Т. Н. был управляющим Казенной палатой. — *М. Ч.*), и Михаил поработал там до начала университетских занятий. Это была его первая, может быть, медицинская практика... Потом он доучивался, а я пошла работать в госпиталь — к своей тетке. Таскала обеды раненым на пятый этаж... [5; 112]

Надежда Афанасьевна Земская:

1915 год, лето. Киев эвакуировался, немецкое наступление подошло к самым границам, а Киев в 300

километрах от границы. В этот год я приехала из Москвы и в окно, из сада заглянула в комнату, где жил Миша со своей первой женой. И первое, что мне бросилось в глаза, это через всю комнату по оштукатуренной стене написано по латыни: Quod medicamenta non sanant, mors sanat. Что не излечивают лекарства, то излечивает смерть. Это из Гиппократа, древнегреческого врача [5; 53–54].





Уездное

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Наступил 1916 год, а с ним и пора экзаменов. Михаил Булгаков заканчивал университет. <...> Диплом врача он получил с отличием.

Л. П. Интересно, отмечали это как-нибудь?

Т. К. Да-а! Когда сдали экзамены, целое празднество было! Они где-то собирались, что-то пили, куда-то ходили, что-то орали... Михаил пришел домой пьяный и говорит: «Я пьяный сегодня пришел».

Л. П. Ну, а что потом?

Т. К. Потом надо было куда-то устраиваться. Ведь надо жить на что-то. На 50 рублей не очень-то... Он пошел в Красный Крест, чтобы его направили в какой-нибудь киевский госпиталь, но ему дали направление в Каменец-Подольский.

Л. П. Вы поехали вместе?

Т. К. Нет. Он поехал, и через неделю я получила телеграмму: «Приезжай в Каменец-Подольский». Ну, я взяла немного вещей и поехала. Он меня встретил и привез в какой-то сад. Маленький такой домик, и прекрасные розы растут. Там мы комнату снимали. Небольшой такой городок, старый, но красивый.

Л. П. Он в военной форме ходил или в штатском?
Т. К. В военной форме. Тогда называли «зауряд-врачи». И госпиталь был недалеко от этой квартирки. Вот, немного мы там пожили, потом сообщение, что наши заняли Черновицы и госпиталь туда переводят. Все говорили: «Зачем ты жену вызвал? Будет эвакуация». В общем, надо, чтобы семья уехала, и я поехала в Киев, а когда уже твердо обосновались в Черновицах, он меня туда вызвал. Надя мне еще пачку прокламаций сунула, чтоб я их туда отвезла...
Л. П. Что за прокламации?
Т. К. Не знаю. Они с Андреем – Земским – какой-то там пропагандой занимались. Вот, я спрятала их в корзинку и везла. В Черновицах у нас очень хорошая квартира была, хорошо обставлена. Там еще столовая была и комната одна, где врач жил из Черновиц. А Михаил устроил меня в госпиталь работать.
Л. П. Медсестрой?
Т. К. Там очень много гангренозных больных было, и он все время ноги пилил. Ампутировал. А я эти ноги держала.
Л. П. Ничего себе.
Т. К. Ой! Так дурно становилось, думала, сейчас упаду. Потом отойду в сторонку, нашатырного спирта понюхаю и опять. Потом привыкла. Очень много работы было. С утра, потом маленький перерыв и до вечера. Он так эти ноги резать научился, что я не успевала... Держу одну, а он уже другую пилит. Даже пожилые хирурги удивлялись. Он их опережал. <...>
Михаил получил назначение ехать врачом в земство, и мы поехали в Смоленск. Там ночь переночевали, а потом в Сычевку. Там ему в Управу нужно было земскую, к начальнику. <...> И оттуда уже мы поехали в Никольское [12; 42–43].

Елена Андреевна Земская:

Из Смоленска его послали в Никольскую земскую больницу, одиноко расположенную среди полей вдали от селений (в 30–40 километрах от уездного города Сычевки). Там Мих. Булгаков проработал более года.

В Никольской больнице было три строения: 1) больничный корпус, 2) двухэтажный флигель, в котором помещалась шестикомнатная квартира врача, и 3) флигель персонала, где жили две фельдшерицы-акушерки, фельдшер и сторож. С Мих. Афанасьевичем жила его жена Татьяна Николаевна, не покидавшая его во весь этот период его жизни: ни во время пребывания в военных госпиталях, ни во все время его службы в земстве [5; 83–84].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Ну, и как вам сорок верст на телеге? Как вас встретили? Какое впечатление?

Т. К. Отвратительное впечатление. Во-первых, страшная грязь. Но пролетка была ничего, рессорная, так что не очень трясло. Но грязь бесконечная и унылая, и вид такой унылый. Туда приехали под вечер. Такое все... Боже мой! Ничего нет, голое место, какие-то деревца... Издали больница видна, дом такой белый и около него флигель, где работники больницы жили, и дом врача специальный. Внизу кухня, столовая, громадная приемная и еще какая-то комната. Туалет внизу был. А вверху кабинет и спальня. Баня была в стороне, ее по-черному топили. Там такая жара была... и дым. Я потом кашляла все время, потому что, как выскочу, — тут же дышать воздухом.

Л. П. Так больница не в деревне была?

Т. К. Нет. Голое место. Только напротив на некотором расстоянии дом стоял вроде помещичьего.

Знаете, фасад такой?.. Но все очень унылое такое, дом ободранный весь. Это, нам сказали, разорившиеся помещицы там живут, две сестры. Одна потом к нам ходила. Они только иногда туда приезжали, а так дом пустой стоял [12; 44].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из рассказа «Полотенце с петухом»:*

Скажу коротко: сорок верст, отделяющих уездный город Грачевку от Мурьинской больницы, ехали мы с возницей моим ровно сутки. И даже до курьезного ровно: в два часа дня 16 сентября 1917 года мы были у последнего лабаза, помещающегося на границе этого замечательного города Грачевки, а в два часа пять минут 17 сентября того же 17-го незабываемого года я стоял на битой, умирающей и смякшей от сентябрьского дождика траве во дворе Мурьинской больницы. Стоял я в таком виде: ноги окостенели, и настолько, что я смутно тут же во дворе мысленно перелистывал страницы учебников, тупо стараясь припомнить, существует ли действительно, или мне это померещилось во вчерашнем сне в деревне Грабиловке, болезнь, при которой у человека окостеневают мышцы? Как ее, проклятую, зовут по-латыни? Каждая из мышц этих болела нестерпимой болью, напоминающей зубную боль. О пальцах на ногах говорить не приходится – они уже не шевелились в сапогах, лежали смирно, были похожи на деревянные культяпки. Сознаюсь, что в порыве малодушия я проклинал шепотом медицину и свое заявление, поданное пять лет назад ректору университета. Сверху в это время сеяло, как сквозь сито. Пальто мое набухло, как губка. Пальцами правой руки я тщетно пытался ухватиться за ручку чемодана и наконец плюнул на мокрую траву. Пальцы мои ничего не могли хватать, и опять мне, начиненному всякими знаниями

из интересных медицинских книжек, вспомнилась болезнь — паралич.

«Парализис»,— отчаянно мысленно и черт знает зачем сказал я себе. <...>

Я содрогнулся, оглянулся тоскливо на белый облупленный двухэтажный корпус, на небеленые бревенчатые стены фельдшерского домика, на свою будущую резиденцию — двухэтажный очень чистенький дом с гробовыми загадочными окнами, протяжно вздохнул [1; 71–72].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

В первую же ночь, как мы приехали, Михаила к роженице вызвали. Я сказала, что тоже пойду, не останусь одна в доме. Он говорит: «Забирай книги, и пойдем вместе». Только расположились и пошли ночью в больницу. А муж этой увидел Булгакова и говорит: «Смотри, если ты ее убьешь, я тебя зарежу». Вот, думаю, здорово. Первое приветствие. Михаил посадил меня в приемной, «Акушерство» дал и сказал, где раскрывать. И вот, прибежит, глянет, прочтет и опять туда. Хорошо, акушерка опытная была. Справились, в общем. Принимал он очень много. Знаете, как пойдет утром... не помню, с которого часа, не помню даже, чай ли пили, ели ли чего... И, значит, идет принимать. Потом я что-то готовила, какой-то обед, он приходил, наскоро обедал и до самого вечера принимал, покамест не примет всех. Вызовов тоже много было. Если от больного приезжали, Михаил с ними уезжает, а потом его привозят. А если ему нужно было куда-то ехать, лошадей ему приводили, бричка или там сани подъезжали к дому, он садился и ехал. Диагнозы он замечательно ставил. Прекрасно ориентировался [12; 45].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Потом, в следующие дни стали приезжать больные, сначала немного, потом до ста человек в день... Никольское было даже не село, а имение — напротив больницы стоял полуразвалившийся помещичий дом — и все. Ближайшее село — Воскресенское — было в десяти верстах. В доме жила разорившаяся помещица, иногда заходила к нам [5; 114].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. А интересно, развлечения какие-нибудь были? Вы к кому-нибудь ходили, к вам кто-нибудь приезжал?

Т. К. Нет. Никаких. Я ходила иногда в Муравишники — рядом село было,— там один священник с дочкой жил. Ездили иногда в Воскресенское, большое село, но далеко. В магазин ездили, продукты покупать. А то тут только лавочка какая-то была. Даже хлеб приходилось самим печь... Очень, знаете, тоскливо было [12; 46].

Александр Петрович Гдешинский. *Из письма Н. А. Булгаковой. Киев, 1–13 ноября 1940 г.:*

Что касается пребывания Миши в Никольском, под Сычевкой (Смоленской губ.), то действительно я получил от него письмо, но оно не сохранилось <...>. Помню только следующее: 1) Это село Никольское под Сычевкой представляло собой дикую глушь и по местоположению, и по окружающей бытовой обстановке и всеобщей народной темноте. Кажется, единственным представителем интеллигенции был лишь священник, 2) Больничные дела были поставлены вроде как в чеховской палате № 6, 3) Огромное распространение сифилиса. Помню, Миша рассказывал об усилиях по открытию

венерических отделений в этих местах. <...> 4) Миша очень сетовал на кулацкую, черствую натуру туземных жителей, которые, пользуясь неоценимой помощью его как врача, отказали в продаже полуфунта масла, когда заболела жена... или в таком духе, 5) Помню — это уже в разговоре потом в Киеве — о высоком наслаждении умственного труда в глубоком одиночестве ночей, вдали от жизни и людей, 6) Помню одну фразу ироническую, которой начиналось его письмо ко мне: «Перед моим умственным взором проходишь ты в смокинге, пластроне, шагающий по ногам первых рядов партера, а я...» и т. д. Дело в том, что я увлекался тогда драмой: «Мечта любви» Косоротова, «Осенние скрипки» и т. п. и писал ему об этом... 7) Еще помню упоминание о какой-то Аннушке — больничной сестре, кажется, которая очень тепло к нему относилась и скрашивала жизнь [5; 85–86].





Морфий

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

А там уже вскоре это с морфием началось. Привезли ребенка с дифтеритом, и Михаил стал делать трахеотомию. Знаете, горло так надрезается? Фельдшер ему помогал, держал там что-то. Вдруг ему стало дурно. Он говорит: «Я сейчас упаду, Михаил Афанасьевич». Хорошо, Степанида перехватила, что он там держал, и он тут же грохнулся. Ну, уж не знаю, как они там выкрутились, а потом Михаил стал пленки из горла отсасывать и говорит: «Знаешь, мне, кажется, пленка в рот попала. Надо сделать прививку». Я его предупреждала: «Смотри, у тебя губы распухнут, лицо распухнет, зуд будет страшный в руках и ногах». Но он все равно: «Я сделаю». И через некоторое время началось: лицо распухает, тело сыпью покрывается, зуд безумный. Безумный зуд. А потом страшные боли в ногах. Это я два раза испытала. И он, конечно, не мог выносить. Сейчас же: «Зови Степаниду». Я пошла туда, где они живут, говорю, что «он просит вас, чтобы вы пришли». Она приходит. Он: «Сейчас же мне принесите, пожалуйста, шприц и морфий». Она принесла морфий, впрыснула ему. Он сразу успокоился и заснул.

И ему это очень понравилось. Через некоторое время, как у него неважное состояние было, он опять вызвал фельдшерицу. Она же не может возражать, он же врач... Опять впрыскивает. Но принесла очень мало морфия. Он опять... Вот так это и началось [12; 47].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из рассказа «Морфий»:*

Первая минута: ощущение прикосновения к шее. Это прикосновение становится теплым и расширяется. Во вторую минуту внезапно проходит холодная волна под ложечкой, а вслед за этим начинается необыкновенное прояснение мыслей и взрыв работоспособности. Абсолютно все неприятные ощущения прекращаются. Это высшая точка проявления духовной силы человека. И если б я не был испорчен медицинским образованием, я бы сказал, что нормально человек может работать только после укола морфием [1; 159].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Татьяна Николаевна, а вот после второго укола Степанида ничего не заподозрила?

Т. К. Она заподозрила. И я с ней говорила: «Что вы делаете? Вы не приносите...» А она: «Как же я могу не приносить? Он же врач, я не могу ослушаться».

Л. П. И как часто он делал уколы? Раз в неделю?

Т. К. Какой черт раз в неделю!

Л. П. Раз в день?

Т. К. Два раза в день.

Л. П. Так это уже порядочно времени прошло?

Т. К. Да, порядочно. Потом он сам уже начал доставать, ездил куда-то [12; 50].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из рассказа «Морфий»:*
Ничего особенно страшного нет. На работоспособности моей это ничуть не отражается. Напротив, весь день я живу ночным впрыскиванием накануне. Я великолепно справляюсь с операциями, я безукоризненно внимателен к рецептуре и ручаюсь моим врачебным словом, что мой морфинизм вреда моим пациентам не причинил. Надеюсь, и не причинит. Но другое меня мучает. Мне все кажется, что кто-нибудь узнает о моем пороке. И мне тяжело на приеме чувствовать на своей спине тяжелый пытливый взгляд моего ассистента-фельдшера.
Вздор! Он не догадывается. Ничто не выдаст меня. Зрачки меня могут предать лишь вечером, а вечером я никогда не сталкиваюсь с ним.
Страшнейшую убыль морфия в нашей аптеке я пополнил, съездив в уезд. Но и там мне пришлось пережить неприятные минуты. Заведующий складом взял мое требование, в которое я вписал предусмотрительно и всякую другую чепуху, вроде кофеина (которого у нас сколько угодно), и говорит:
— 40 грамм морфия?
И я чувствую, что прячу глаза, как школьник. Чувствую, что краснею...
Он говорит:
— Нет у нас такого количества. Граммов десять дам.
И действительно, у него нет, но мне кажется, что он проник в мою тайну, что он щупает и сверлит меня глазами, и я волнуюсь и мучаюсь.
Нет, зрачки, только зрачки опасны, и поэтому поставлю себе за правило: вечером с людьми не сталкиваться. Удобнее, впрочем, места, чем мой участок, для этого не найти, вот уже более полугода я никого не вижу, кроме моих больных. А им до меня дела нет никакого [1; 164–165].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Т. К. И остальные уже заметили. Он видит, здесь уже больше оставаться нельзя. Надо сматываться отсюда. Он пошел — его не отпускают. Он говорит: «Я не могу там больше, я болен», — и все такое. А тут как раз в Вязьме врач требовался, и его перевели туда. <...>

Вязьма — такой захолустный город. Дали нам там комнату. Как только проснулись — «иди ищи аптеку». Я пошла, нашла аптеку, приношу ему. Кончилось это — опять надо. Очень быстро он его использовал. Ну, печать у него есть — «Иди в другую аптеку, ищи». И вот я в Вязьме там искала, где-то на краю города еще аптека какая-то. Чуть ли не три часа ходила. А он прямо на улице стоит, меня ждет. Он тогда такой страшный был... Вот, помните, его снимок перед смертью? Вот такое у него лицо было. Такой он был жалкий, такой несчастный. И одно меня просил: «Ты только не отдавай меня в больницу». Господи, сколько я его уговаривала, увещевала, развлекала... Хотела все бросить и уехать. Но как посмотрю на него, какой он — «Как же я его оставлю? Кому он нужен?». Да, это ужасная полоса была.

Л. П. А где вы там жили?

Т. К. От больницы порядочно. Две комнаты у нас было: столовая и спальня. Там еще одна комната была, ее какая-то посторонняя женщина занимала [12; 50–51].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Мне было там тяжело, одиноко, я часто плакала... Там, в Вязьме, по-моему, он и начал писать; писал только ночами... Я спросила как-то: «Что ты пишешь?» — «Я не хочу тебе читать. Ты очень впечат-

лительная — скажешь, что я болен...» Знала только название — «Зеленый змий»... [5; 114]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Ездили куда-нибудь из Вязьмы?

Т. К. Куда же он поедет, если ему все время колоть себя надо. Только вот в Москву насчет демобилизации ездил... [12; 51]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Вязьма, 31 декабря 1917 г.:*

В начале декабря я ездил в Москву по своим делам и с чем приехал, с тем и уехал. И вновь тяну лямку в Вязьме, вновь работаю в ненавистной мне атмосфере среди ненавистных людей. Мое окружающее настолько мне противно, что я живу в полном одиночестве. Зато у меня есть широкое поле для размышлений. И я размышляю. Единственным моим утешением является *для* меня работа и чтение по вечерам. Я с умилением читаю старых авторов (что попадется, т. к. книг здесь мало) и упиваюсь картинами старого времени. Ах, отчего я опоздал родиться! Отчего я не родился сто лет назад. Но, конечно, это исправить невозможно! Мучительно тянет меня вон отсюда, в Москву или в Киев, туда, где хоть и замирая, но все же еще идет жизнь. В особенности мне хотелось бы быть в Киеве! Через два часа придет Новый год. Что принесет мне он? Я спал сейчас, и мне приснился Киев, знакомые и милые лица, приснилось, что играют на пианино...

Придет ли старое время?

Настоящее таково, что я стараюсь жить, не замечая его... не видеть, не слышать!

Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось все видеть воочию, и больше я не хотел бы видеть.

Я видел, как серые толпы с гиканьем и гнусной руганью бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве... тупые и зверские лица...
Видел толпы, которые осаждали подъезды захваченных и запертых банков, голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров, видел газетные листки, где пишут, в сущности, об одном: о крови, которая льется и на юге, и на западе, и на востоке, и о тюрьмах. Все воочию видел и понял окончательно, что произошло [2; 389–390].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из рассказа «Морфий»:*
1918 год
Январь.
Я не поехал. Не могу расстаться с моим кристаллическим растворимым божком.
Во время лечения я погибну.
И все чаще и чаще мне приходит мысль, что лечиться мне не нужно.

15-го января.
Рвота утром.
Три шприца 4%-ного раствора в сумерки.
Три шприца 4%-ного раствора ночью.

16-го января.
Операционный день, потому большое воздержание – с ночи до 6 часов вечера.
В сумерки – самое ужасное время – уже на квартире слышал отчетливо голос, монотонный и угрожающий, который повторял:
– Сергей Васильевич. Сергей Васильевич.
После впрыскивания все пропало сразу.

17-го января.
Вьюга – нет приема. Читал во время воздержания учебник психиатрии, и он произвел на меня ужасающее впечатление. Я погиб, надежды нет.

Шорохов пугаюсь, люди мне ненавистны во время воздержания. Я их боюсь. Во время эйфории я их всех люблю, но предпочитаю одиночество. <...>

Внешний вид: худ, бледен восковой бледностью. Брал ванну и при этом взвесился на больничных весах. В прошлом году я весил 4 пуда, теперь 3 пуда 15 фунтов. Испугался, взглянув на стрелку, потом это прошло.
На предплечьях непрекращающиеся нарывы, то же на бедрах. Я не умею стерильно готовить растворы, кроме того, раза три я впрыскивал некипяченым шприцем, очень спешил перед поездкой. Это недопустимо.

18-го января.
Была такая галлюцинация:
Жду в черных окнах появления каких-то бледных людей. Это невыносимо. Одна штора только. Взял в больнице марлю и завесил. Предлога придумать не мог.

Ах, черт возьми! Да почему, в конце концов, каждому своему действию я должен придумывать предлог? Ведь действительно это мучение, а не жизнь!

Гладко ли я выражаю свои мысли?
По-моему, гладко.
Жизнь? Смешно!

19-го января.
Сегодня во время антракта на приеме, когда мы отдыхали и курили в аптеке, фельдшер, крутя порошки, рассказывал (почему-то со смехом), как одна фельдшерица, болея морфинизмом и не имея возможности достать морфий, принимала по полрюмки опийной настойки. Я не знал, куда девать

глаза во время этого мучительного рассказа. Что тут смешного? Мне он ненавистен. Что смешного в этом? Что?

Я ушел из аптеки воровской походкой [1; 172–173].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

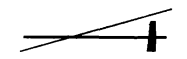
Т. К. <...> Я бегала с утра по всем аптекам в Вязьме, из одной аптеки в другую... Бегала в шубе, в валенках, искала ему морфий. Вот это я хорошо помню. А больше ни черта не помню. Ездила я из Вязьмы в Москву на неделю к Николаю Михайловичу... Страшно волновалась, как там Михаил. Потом приехала и говорю: «Знаешь что, надо уезжать отсюда в Киев». Ведь и в больнице уже заметили. А он: «А мне тут нравится». Я ему говорю: «Сообщат из аптеки, отнимут у тебя печать, что ты тогда будешь делать?» В общем, скандалили, скандалили, он поехал, похлопотал, и его освободили по болезни, сказали: «Хорошо, поезжайте в Киев». И в феврале мы уехали. <...>

В Киев мы ехали через Москву. Остановились у дяди Коли, Михаил получил документы, мы оставили там кое-какие вещи и уехали в Киев. <...> Мы прекрасно ехали, в хорошем поезде, чуть ли не в международном вагоне. И питались прилично. <...> Конечно, время было неподходящее. Немцы заняли Киев, и мы уже последним поездом ехали. Но ни в каких не в теплушках.

Л. П. В Киев вы уже при немцах приехали?

Т. К. Да, уже были немцы. <...> Сначала я тоже все ходила по аптекам, в одну, в другую, пробовала раз принести вместо морфия дистиллированную воду, так он этот шприц швырнул в меня... горящую лампу однажды бросил. «Браунинг» я у него украла, когда он спал, отдала Кольке с Ванькой: «Куда хотите девайте».

Л. П. А почему вам пришла эта мысль?
Т. К. А он несколько раз наставлял его на меня и на себя. И вообще, нельзя, чтобы оружие было в доме, когда такое дело. Вот. А потом я сказала: «Знаешь что, больше я в аптеку ходить не буду. Они записали твой адрес, звонили в другую аптеку и спрашивали: „У вас морфий брали?“ – „Брали“». Это я ему наврала, конечно. А он страшно боялся, что придут и заберут у него печать. Ужасно этого боялся. Он же тогда не смог бы практиковать. Он говорит: «Тогда принеси мне опиум». Его тогда в аптеке без рецепта продавали, и можно было несколько пузырьков в разных местах взять. Он сразу весь пузырек, оп! И потом очень мучился с желудком. И вот так постепенно он осознал, что нельзя больше никакие наркотики применять.
Л. П. Он где-нибудь лечился?
Т. К. Нет. Он знал, что это неизлечимо. Вот так это постепенно, постепенно и прошло. В общем, веселенькая была жизнь. Я чуть с ума не сошла тогда [12; 52, 56–57].



1918. В Киеве

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

...Когда приехали из земства, в городе были немцы. Стали жить в доме Булгаковых на Андреевском спуске. Горничной в доме уже не было. Обед готовили сами — по очереди. После обеда — груда тарелок. Как наступит моя очередь мыть, Ваня (младший брат Булгакова. — *М. Ч.*) надевает фартук: «Тася, ты не беспокойся, я все сделаю. Только потом мы с тобой в кино сходим, хорошо?» А Михаил все сидел, что-то писал. За частную практику он не сразу взялся. И с Михаилом ходили в кино — даже при петлюровцах ходили все равно! Раз шли — пули свистели под ногами, а мы шли! Но в общественные места старались не ходить... В Киеве тогда было очень много крыс. Однажды я проснулась — кто-то ломится в дверь. Я разбудила Михаила, Костя (двоюродный брат Булгакова. — *М. Ч.*) тоже проснулся, все вышли из комнат. Зажгли свет, открыли дверь — и целая стая крыс кинулась вниз по лестнице! А однажды крыса вбежала к нему в кабинет — Михаил влез от нее на стол и гонял палкой, а она кидалась на стол, старалась

влезть к нему! Я открыла дверь, он закричал: «Не входи! Я крысу гоняю!» Мы травили их сулемой... [5; 115]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Т. К. Михаил частной практикой занимался, принимал больных, делал им уколы. Я ему помогала. «Татьяна Николаевна, горячей воды!» Впускала больных... Вот дура какая была – время было такое, а я дверь открывала, даже не спрашивала, кто там. И на шее у меня золотая цепочка была, мне ее мать подарила... длинная, так что два раза вот так обвивалась. Она сделана была как веревка. С палец толщиной. Ведь любой бы мог – раз! – и сорвать.

Л. П. Это он еще при немцах начал практиковать?

Т. К. Сначала еще это с морфием было. А потом начал.

Л. П. А как Киев при немцах?

Т. К. Порядок был идеальный. И тишина. Все было чинно-мирно. Продукты были любые. И публика такая ходила шикарная... шляпы...

Л. П. Ну хоть чем-то отличался при них город от довоенного?

Т. К. Нет. Ничем не отличался.

Л. П. Остальные что делали? Ведь надо было на что-то жить?

Т. К. Я как-то об этом не задумывалась. Как был прием, значит, есть деньги. А нет – ходили что-то продавали, по селам ходили, меняли что-то на крупу. Целой компанией ходили. Одна мне говорит: «Я о цэ хочу»,– и на браслетку золотую показывает: «Цэ она хочет!» [12; 59]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из романа «Белая гвардия»:*

<...> В зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жители жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся на Город. И те как раз и приезжали по этому стреловидному мосту оттуда, где загадочные сизые дымки.

Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали талантливые дельцы, оставившие доверенных помощников в Москве, которым было поручено не терять связи с тем новым миром, который нарождался в Московском царстве, домовладельцы, покинувшие дома верным тайным приказчикам, промышленники, купцы, адвокаты, общественные деятели. Бежали журналисты, московские и петербургские, продажные, алчные, трусливые. Кокотки. Честные дамы из аристократических фамилий. Их нежные дочери, петербургские бледные развратницы с накрашенными карминовыми губами. Бежали секретари директоров департаментов, юные пассивные педерасты. Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров. Вся эта масса, просачиваясь в щель, держала свой путь на Город.

Всю весну, начиная с избрания гетмана, он наполнялся и наполнялся пришельцами. В квартирах спали на диванах и стульях. Обедали огромными обществами за столами в богатых квартирах. Открылись бесчисленные съестные лавки-паштетные, торговавшие до глубокой ночи, кафе, где подавали кофе и где можно было купить женщину, новые театры

миниатюр, на подмостках которых кривлялись и смешили народ все наиболее известные актеры, слетевшиеся из двух столиц, открылся знаменитый театр «Лиловый негр» и величественный, до белого утра гремящий тарелками, клуб «Прах» (поэты — режиссеры — артисты — художники) на Николаевской улице. Тотчас же вышли новые газеты, и лучшие перья в России начали писать в них фельетоны и в этих фельетонах поносить большевиков. Извозчики целыми днями таскали седоков из ресторана в ресторан, и по ночам в кабаре играла струнная музыка, и в табачном дыму светились неземной красотой лица белых, истощенных, закокаиненных проституток.

Город разбухал, ширился, лез, как опара из горшка. До самого рассвета шелестели игорные клубы, и в них играли личности петербургские и личности городские, играли важные и гордые немецкие лейтенанты и майоры, которых русские боялись и уважали. Играли арапы из клубов Москвы и украинско-русские, уже висящие на волоске помещики. В кафе «Максим» соловьем свистал на скрипке обаятельный сдобный румын, и глаза у него были чудесные, печальные, томные, с синеватым белком, а волосы — бархатные. Лампы, увитые цыганскими шалями, бросали два света — вниз белый электрический, а вбок и вверх — оранжевый. Звездою голубого пыльного шелку разливался потолок, в голубых ложах сверкали крупные бриллианты и лоснились рыжеватые сибирские меха. И пахло жженым кофе, пóтом, спиртом и французскими духами. Все лето восемнадцатого года по Николаевской шаркали дутые лихачи, в наваченных кафтанах, и в ряд до света конусами горели машины. В окнах магазинов мохнатились цветочные леса, бревнами золотистого жиру висели балыки, орлами и печатями

томно сверкали бутылки прекрасного шампанского вина «Абрау».

И все лето, и все лето напирали и напирали новые. Появились хрящевато-белые с серенькой бритой щетинкой на лицах, с сияющими лаком штиблетами и наглыми глазами тенора-солисты, члены Государственной думы в пенсне, б... со звонкими фамилиями, биллиардные игроки... водили девок в магазины покупать краску для губ и дамские штаны из батиста с чудовищным разрезом. Покупали девкам лак.

Гнали письма в единственную отдушину, через смутную Польшу (ни один черт не знал, кстати говоря, что в ней творится и что это за такая новая страна — Польша), в Германию, великую страну честных тевтонов, запрашивая визы, переводя деньги, чуя, что, может быть, придется ехать дальше и дальше, туда, куда ни в коем случае не достигнет страшный бой и грохот большевистских боевых полков. Мечтали о Франции, о Париже, тосковали при мысли, что попасть туда очень трудно, почти невозможно. Еще больше тосковали во время тех страшных и не совсем ясных мыслей, что вдруг приходили в бессонные ночи на чужих диванах.

— А вдруг? а вдруг? а вдруг? лопнет этот железный кордон... И хлынут серые. Ох, страшно...

Приходили такие мысли в тех случаях, когда далеко, далеко слышались мягкие удары пушек — под Городом стреляли почему-то все лето, блистательное и жаркое, когда всюду и везде охраняли покой металлические немцы, а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами

по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар. Ах, и полк же был! Мохнатые шапки сидели над гордыми лицами, и чешуйчатые ремни сковывали каменные подбородки, рыжие усы торчали стрелами вверх. Лошади в эскадронах шли одна к одной, рослые, рыжие четырехвершковые лошади, и серо-голубые френчи сидели на шестистах всадниках, как чугунные мундиры их грузных германских вождей на памятниках городка Берлина.

Увидав их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

– А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все – купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены государственного совета, инженеры, врачи и писатели... [1; 219–222]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Летом одно время ушли в лес... не помню уже, от кого ушли. Жили у какого-то знакомого по Киево-Ковельской дороге, в саду, в сарае. Обед варили во дворе, разводили огонь. Недели две... Одетые спали. Варя, Коля и Ваня, кажется, с нами были. Потом вернулись пешком в Киев. Дачу в Буче к этому

времени уже спалили — кажется, петлюровцы; зажгли посреди дома костер и спалили... В Киеве мы уже не скрывались — самая удачная квартира была наша, потому что с одной стороны дом был двухэтажный, а со двора — одноэтажный, и там обрыв такой был — бесконечный. Так что мы даже говорили, что в случае кто придет — бежать прямо в обрыв. Кто с улицы позвонит — узнают кто — и сейчас же туда... Один раз пришли синежупанники. Обуты в дамские боты, а на ботах шпоры... И все надушены «Кер де Жаннет» — духами модными. «У вас никто не скрывается?» Кого-то они искали. Смотрят — никого нет. Как раз Михаил собирался уйти, он в пальто был. Они полезли под стол, под кровать, посмотрели туда-сюда, потом говорят: «Идем отсюда, тут беднота, ковров даже нет. Тут еще квартира есть — может, там лучше!» И пошли вниз — к архитектору этому, у которого снимали квартиру (Василию Павловичу Листовничему. — *М. Ч.*) Вот там они разошлись! Мы потом это узнали. Они кричали очень — уже потом просили, чтоб мы пришли. Там ковры были... А у Булгаковых было очень просто [5; 116].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Л. П. Он где-нибудь служил?

Т. К. Нет, нигде не служил. Частной практикой занимался. <...> В городе еще много юнкеров было в училище. И должен был быть бой, но его, кажется, не было. Михаил приехал на извозчике и сказал, что все кончено и что будут петлюровцы. И вот петлюровцы пришли, и через какое-то время его мобилизовали. Однажды я прихожу домой — лежит записка: «Приходи туда-то, принеси то-то». Я прихожу — на лошади сидит. Говорит:

«Мы уходим сегодня в Слободку — это, знаете, с Подола есть мост в эту Слободку — приходи завтра, за мостом мы будем»,— еще что-то ему принести надо было. На следующий день я прихожу в Слободку, приношу бутерброды, кажется, папиросы, еще что-то. Он говорит: «Сегодня, наверное, драпать будут. Большевики подходят». А они большевиков страшно боялись. Я прихожу домой страшно расстроенная: потому что не знаю, удастся ли ему убежать от петлюровцев или нет. Остались мы с Варькой в квартире одни, братья куда-то ушли. И вот в третьем часу вдруг такие звонки!.. Мы кинулись с Варькой открывать дверь — ну, конечно, он. Почему-то он сильно бежал, дрожал весь, и состояние было ужасное — нервное такое. Его уложили в постель, и он после этого пролежал целую неделю, больной был. Он потом рассказал, что както немножко поотстал, потом еще немножко, за столб, за другой и бросился в переулок бежать. Так бежал, так сердце колотилось, думал, инфаркт будет. Эту сцену, как убивают человека у моста, он видел, вспоминал. <...>

Л. П. Ну, а после Петлюры? Что делал Михаил?

Т. К. Потом пришли красные, но они его не трогали. Он продолжал заниматься частной практикой. Это вот летом было, а в августе прошел слух, что возвращается Петлюра. Конечно, Михаилу бы не поздоровилось, и вот мы пошли прятаться в лес. Вера с Варей, братья и еще немец один военный, который за Варькой ухаживал. Михаил опять браслетку у меня брал. И вот мы там несколько дней прятались в сарае или домике каком-то. Немного вещей у нас было и продукты. Готовили — там во дворе печка была. Там так страшно было, если бы вы знали! Но Петлюра так и не появился, боя не было, и пришли белые. Тогда мы вернулись. <...>

А как в Киев пришли петлюровцы, то какой-то сумбур получился... не могу вот сказать точно, но что-то было не так. Или люди как-то переменились... При немцах дамы шикарные ходили, а при Петлюре другие люди появились. Погромы были, но нас это не коснулось, мы далеко от центра жили. А при красных на улицах вообще пусто было, все по домам сидели, никто не показывался. Потом уже потихонечку вылезать стали. Облавы устраивали, чтоб на работу шли, но у меня удостоверение о туберкулезе было. У многих удостоверения были. Но вечером в кино ходили.

<...> Генерала Бредова встречали хлебом-солью, он на белом коне... торжественно все так было. А боялись Петлюру. И страшно боялись большевиков, тем паче. Но когда пришли белые, то было разочарование. Страшное было разочарование у интеллигенции. Начались допросы, обыски, аресты... Спрашивали, кто у кого работал... А красные, красных сначала страшно боялись, но так, вроде бы ничего. Когда они второй раз пришли, их не так уже ненавидели. При какой-то власти, при петлюровцах, кажется, людей чуть свет на работу гнали, потом перерыв на несколько часов и опять. Люди не высыпались, ходили сонные, как мухи. И еще под украинцев подделывались. Я как-то спросила у одного русского что-то, а он: «Я це мови не понимаю». Я говорю: «Послушайте, я же вас хорошо знаю...» Махнула рукой и ушла. И вот, как белые пришли в 1919-м, так Михаилу бумажка пришла, куда-то там явиться. Он пошел, и дали ему назначение на Кавказ. <...>

Л. П. А что он писал тогда?

Т. К. Это он мне не показывал. Он всегда скрывал. И вот он уехал во Владикавказ и взял с собой мою браслетку, попросил «на счастье», а недели через

две вызвал меня телеграммой, я оставила кое-какие вещи Вере и уехала из Киева. Да! Я его провожала, говорю: «Ты скажи Косте, чтоб он меня в кафе сводил». В Киеве было кафе такое... неприличное. А Михаил: «Я на фронт ухожу, а ей, видите ли, кафе понадобилось! Какая ты легкомысленная». Обиделся [12; 69, 71–73].



В смутные дни на Кавказе

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Т. К. Приезжаю во Владикавказ, Михаил меня встретил. Маленький такой городишко, но красиво. Горы так видны... Полно кафе кругом, столики прямо на улице стоят... Народу много — военные ходят, дамы такие расфуфыренные, извозчики на шинах. Ни духов, ни одеколона, ни пудры — все раскупили. Музыка играет... Весело было. Я еще обратила внимание, Михаилу говорю: «Что это всюду бисквит продают?» А он: «Ты что! Это кукурузный хлеб». А я за бисквит приняла, тоже желтый такой. Он начал работать в госпитале. Я пришла туда поесть — голодная как черт приехала,— съела две или три котлеты. Так он: «Ты меня конфузишь!» Еще он сказал, что начал печататься там, писать. <...>

Во владикавказском госпитале Михаил проработал всего несколько дней, и его направили в Грозный, в перевязочный отряд. В Грозном мы пришли в какую-то контору, там нам дали комнату. И вот, надо ехать в этот перевязочный отряд, смотреть. Поехали вместе. Ну, возница, лошадь... и винтовку

ему дают, Булгакову, потому что надо полями кукурузными ехать, а в кукурузе ингуши прятались и могли напасть. Приехали, ничего. Он все посмотрел там. Недалеко стрельба слышится. Вечером поехали обратно. На следующий день опять так же. Потом какая-то там врачиха появилась и сказала, что с женой ездить не полагается. Ну, Михаил говорит: «Будешь сидеть в Грозном». И вот, я сидела ждала его. Думала: убьют или не убьют? Какое-то время так продолжалось, а потом наши попалили там аулы, и все это быстро кончилось. Может, месяц мы были там. Оттуда нас отправили в Беслан. <...>

Там мы мало пробыли. Жили в какой-то теплушке прямо на рельсах. Ели одни арбузы, и еще солдаты там кур крали, варили и давали врачу. Потом пришла бумажка, ехать во Владикавказ. Мы приехали, и Михаил стал работать в госпитале. Там персонала поубавилось, и поговаривали, что скоро придут красные. <...> Это еще зима 1919-го была. Поселили нас очень плохо: недалеко от госпиталя в Слободке, холодная очень комната, рядом еще комната — большая армянская семья жила. Потом в школе какой-то поселили — громадное пустое здание деревянное, одноэтажное... В общем, неуютно было. Тут мы где-то познакомились с генералом Гавриловым и его женой Ларисой. Михаил, конечно, тут же стал за ней ухаживать... Новый год мы у них встречали, 1920-й. Много офицеров было, много очень пили... «кизлярское» там было, водка или разведенный спирт, не помню я уже. Но на этот раз я не напилась. <...> И вот генерал куда-то уехал, и она предложила нам жить у них в доме. Дом, правда, не их был. Им сдавал его какой-то казачий генерал. Хороший очень дом, двор кругом был, и решеткой такой обнесен, которая закрыва-

лась. Мне частенько через нее лазить приходилось. И стали мы жить там, в бельэтаже. Михаилу платили жалованье, а на базаре все можно было купить: муку, мясо, селедку... И еще он там в газете писал... «Зори Кавказа», что ли... не помню. <...> И вот однажды Михаил попросил меня съездить в Пятигорск... не помню зачем... отвезти, что ли, что-то. Сижу на вокзале, поездов нет. Сидела, сидела и вернулась.
— Ты чего вернулась?
— Поездов нет.
— Не может быть!
— Сам попробуй.
Ну, через несколько дней он сам поехал. Приезжает и говорит: «Посмотри, что там у меня...» Я посмотрела и на спине у него нашла вошь. «Это очень плохо»,— говорит он. А через некоторое время у него голова начала болеть, температура поднялась, заболел брюшным тифом. А белые тут уже зашевелились, красных ждали. Я пошла к врачу, у которого Михаил служил, говорю, что он заболел. «Да что вы?! Надо же сматываться». Я говорю: «Не знаю как. У него температура высокая, страшная головная боль, он только стонет и всех проклинает. Я не знаю, что делать». Дал он мне адрес еще одного врача, владикавказского, тоже военный. Они его вместе посмотрели и сказали, что трогать и куда-то везти его нельзя. Тут приходят соседи, кабардинцы, приносят черкески: «Вот. Одевайтесь и давайте назад. Сегодня уходим». Я, конечно, никуда уйти не могу — Михаил лежит весь горячий, бредит, ерунду какую-то несет... <...> Я безумно уставала. Как не знаю что. Все же надо было делать — воду все время меняла, голову заматывала... лекарства врачи оставили, надо было давать... Лариса эта мне помогала.

И вот, дня через два я выхожу — тут уж не до продуктов, в аптеку надо было — город меня поразил: пусто, никого. По улицам солома летает, обрывки какие-то, тряпки валяются, доски от ящиков... Как будто большой пустой дом, который бросили. Белые смылись тихо, никому ничего не сказали. По Военно-Грузинской дороге. Конечно, они глупо сделали — оставили склады с продовольствием. Ведь можно было как-то... в городе оставались люди, которые у них работали. В общем — никого нет. И две недели никого не было. Такая была анархия! Ингуши грабили город, где-то все время выстрелы... Я бегу, меня один за руку схватил. «Ну, — думаю,— конец». Но ничего, обошлось. И вот Михаил лежал. Один раз у него глаза закатились, я думала — умер. Но потом прошел кризис, и он медленно-медленно стал выздоравливать. Это когда уже красные стали. <...>

Он уже выздоровел, но еще очень слабый был. Начал вставать понемногу. А во Владикавказе уже красные были. Так вот мы у них и оказались. Он меня потом столько раз пилил за то, что я не увезла его с белыми: «Ну как ты не могла меня увезть!» Я говорю: «Интересно, как я могла тебя увезть, когда у тебя температура сорок, и ты почти без сознания, бредишь, и я повезу тебя на арбе. Чтобы похоронить по дороге?» И вот уже решили выйти погулять. Он так с трудом... на руку мою опирается и на палочку. Идем, и я слышу: «Вон, белый идет. В газете ихней писал». Я говорю: «Идем скорей отсюда». И вот пришли, и какой-то страх на нас напал, что должны прийти и нас арестовать. Кое-кого уже арестовали. Но как-то нас это миновало, не вызывали даже никуда. Врачом он больше, сказал, не будет. Будет писать. <...>

При красных мы жили все там же. У Гавриловых, но генерал, конечно, драпанул, а потом и Лариса куда-то исчезла. Хорошая большая комната была, мебель шикарная... Ну, Михаил решил пойти устроиться на работу. Пошел в подотдел искусств, где Слезкин заведовал. То ли по объявлению он туда пошел, то ли еще как... Вот тут они и познакомились. Михаил сказал, что он профессиональный журналист, и его взяли на работу. Вообще, Слезкин много в подотдел внес. Через Владикавказ ведь масса народу ехала, много артистов, музыкантов... Он организовал всех, театр заработал, там хорошие спектакли шли: «Горе от ума», Островского вещи... концерты стали давать, потом опера неплохая была, да в таком небольшом городке. Между прочим, он немного подмазывался, Слезкин. Лицо себе румянил... вообще, немножко грим наводил.

Л. П. А в чем состояли обязанности Булгакова?

Т. К. Ну, там... организовывать... я точно не могу вам сказать, знаю, что он выступал перед спектаклями, рассказывал все. Но говорил он очень хорошо. Прекрасно говорил. Это я не потому, что... это другие так отзывались. Но денег не платили. Рассказывали, кто приезжал, что в Москве есть было нечего, а здесь при белых было все что угодно. Булгаков получал жалованье, и все было хорошо, мы ничего не продавали. При красных, конечно, не так стало. И денег не платили совсем. Ни копейки! Вот, спички дадут, растительное масло и огурцы соленые. Но на базаре и мясо, и мука, и дрова были. Одно время одним балыком питались. У меня белогвардейские деньги остались. Сначала, как белые ушли, я пришла в ужас: что с ними делать? А потом в одной лавке стала на балык обменивать. Еще у меня кое-какие драгоценности были... цепочка вот эта

толстая золотая. Вот я отрублю кусок и везу арбу дров, печенки куплю, паштет сделаю... Иначе бы не прожили. <...>
Оставаться больше было нельзя. Владикавказ же маленький городишко, там каждый каждого знает. Про Булгакова говорили: «Вон, белый идет!» [12; 76–82, 88]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма К. П. Булгакову. Владикавказ, 1 февраля 1921 г.:*
Ты спрашиваешь, как я поживаю. Хорошенькое слово. Именно я поживаю, а не живу...
Мы расстались с тобой приблизительно год назад. Весной я заболел возвратным тифом и он приковал меня... Чуть не издох, потом летом опять хворал.
Помню, около года назад я писал тебе, что я начал печататься в газетах. Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах. Это лето я все время выступал с эстрад с рассказами и лекциями. Потом на сцене пошли мои пьесы. Сначала одноактная юмореска «Самооборона», затем написанная наспех, черт знает как, 4-актная драма «Братья Турбины». Бог мой, чего я еще не делал: читал и читаю лекции по истории литературы (в Университ. народа и драмат. студии), читал вступительные слова и проч. проч.
«Турбины» четыре раза за месяц шли с треском успеха. Это было причиной крупной глупости, которую я сделал: послал их в Москву... Как раз вчера получил о них известие. Конечно, «Турбиных» забракуют, а «Самооборону» даже кто-то признал совершенно излишней к постановке. Это мне крупный и вполне заслуженный урок: не посылай неотделанных вещей!

Жизнь моя — мое страдание. Ах, Костя, ты не можешь себе представить, как бы я хотел, чтобы ты был здесь, когда «Турбины» шли в первый раз. Ты не можешь себе представить, какая печаль была у меня в душе, что пьеса идет в дыре захолустной, что я запоздал на 4 года с тем, что я должен был давно начать делать — писать.

В театре орали «Автора» и хлопали, хлопали... Когда меня вызвали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством... смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремящий зал. И думал: «а ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены, сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь».

Судьба — насмешница.

Потом кроме рассказов, которые негде печатать, я написал комедию-буфф «Глиняные женихи». Ее, конечно, не взяли в репертуар, но предлагают мне ставить в один из свободных дней. И опять: дня этого нет, все занято. Наконец на днях снял с пишущей машинки «Парижских коммунаров» в 3-х актах. Послезавтра читаю ее комиссии. Здесь она, несомненно, пойдет. Но дело в том, что я послал ее на всероссийский конкурс в Москву. Уверен, что она не попадет к сроку, уверен, что она провалится. И опять поделом. Я писал ее 10 дней. Рвань все, и «Турбины», и «Женихи», и эта пьеса. Все делаю наспех. Все. В душе моей печаль.

Но я стиснул зубы и работаю днями и ночами. Эх, если б было где печатать! <...>

И так я поживаю.

За письменным столом, заваленным рукописями... Ночью иногда перечитываю свои раньше напечатанные рассказы (в газетах! в газетах!) и думаю: где же сборник? Где имя? Где утраченные годы?

Я упорно работаю.

Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое.

Поживаю за кулисами, все актеры мне знакомые, друзья и приятели, черт бы их всех взял!

Тася служила на сцене выходной актрисой. Сейчас их труппу расформировали и она без дела.

Я живу в скверной комнате на Слепцовской улице, д. № 9, кв. 2. Жил в хорошей, имел письменный стол, теперь не имею и пишу при керосиновой лампе.

Как одет, что ем... не стоит...

Что дальше?

Уеду из Владикавказа весной или летом.

Куда?

Маловероятно, но возможно, что летом буду проездом в Москве. Стремлюсь далеко... [2; 391–392]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Летом 1921 года театр закрылся, артисты разъехались, подотдел искусств расформировался – Слезкин, который им руководил, уехал в Москву. И делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис – разведать почву. Потом приехала я. Ничего не выходило... Мы продали обручальные кольца – сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время в Киеве у Маршака – это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые, и на внутренней стороне моего кольца было выгравировано: «Михаил Булгаков» – и дата – видимо, свадьбы, а на его: «Татьяна Булгакова». Потом, в Москве, он купил мне кольцо золотое – золотой ободок вокруг круглого хризопраза зеленого... [5; 120]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Он все хотел где-то устроиться, но никак не мог. НЭП был, там все с деньгами, а у нас пусто. Ну никакой возможности не было заработать, хоть ты тресни! Он говорил: «Если устроюсь — останусь. Нет — уеду». Месяц примерно мы там пробыли. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, цепочку уже съели, и он решил, что поедем в Батум. Продали обручальные кольца и поехали [12; 89–90].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с М. Чудаковой:*

Когда приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий — я впервые их видела — и поставила в комнату. Легли спать — и я проснулась от безумной головной боли... Мы жили там месяца два, он пытался писать для газет, но у него ничего не брали. О судьбе своих младших братьев он тогда еще ничего не знал. Помню, как он сидел, писал... По-моему, «Записки на манжетах» он стал писать именно в Батуме [5; 120].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Он там тоже все пытался что-то написать, что-то куда-то пристроить, но ничего не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу. Но ты не беспокойся, где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову». Я-то понимала, что это мы уже навсегда расстаемся. Ходили на пристань, в порт он ходил, все искал кого-то, чтоб его в трюме спрятали или еще как, но то-

же ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся. <...>
В общем, он говорит: «Нечего тут сидеть, поезжай в Москву». Поделили мы последние деньги, и он посадил меня на пароход в Одессу. Я была уверена, что он уедет, и думала, что это мы уже навсегда прощаемся [12; 90–91].





В Москве 20-х годов

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из «Записок на манжетах»:*

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается в тьме. В мозгу чуткие раскаты:

— C'est la lu-u-tte fina-a-le!

...L'Internationa-a-ale!!

И здесь — так же хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон... Вниз, решившись, наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели, действительно, бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

– Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку-медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

– Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

– Три пуда... Утаптывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стеклянный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались, наконец, из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядит. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму. <...>

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афиша. Огромные, яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово-то? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и, как зачарованный, уставился на слово.

Ах, слово хорошо! А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малюют [1; 490–492].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

<...> Когда я жила в медицинском общежитии, то встретила в Москве Михаила. Я очень удивилась, потому что думала, мы уже не увидимся. Я была больше чем уверена, что он уедет. Не помню вот точно, где мы встретились... То ли с рынка я пришла, застала его у Гладыревского... то ли у Земских. Но, вот знаете, ничего у меня не было — ни радости никакой, ничего. Все уже как-то... перегорело [12; 93–94].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. М. Булгаковой-Воскресенской. Москва, 17 ноября 1921 г.:*

Очень жалею, что в маленьком письме не могу Вам передать подробно, что из себя представляет сейчас Москва. Коротко могу сказать, что идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни.

Въехав 1 $^1/_2$ месяца тому назад в Москву в чем был, я, как мне кажется, добился maximum'а того, что можно добиться за такой срок. Место я имею. Правда, это далеко не самое главное. Нужно уметь получать и деньги. И второго я, представьте, добился. Правда, пока еще в ничтожном масштабе. Но все же в этом месяце мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т. д.

Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день.

Идет полное сворачивание советских учреждений и сокращение штатов. Мое учреждение тоже подпадает под него и, по-видимому, доживает последние дни. Так что я без места буду в скором времени. Но это пустяки. Мной уже предприняты меры, чтоб не опоздать и вовремя перейти на частную службу. Вам, вероятно, уже известно, что только на ней или при торговле и можно существовать в Москве. И мое, так сказать, казенное место было хорошо лишь постольку, поскольку я мог получить на нем около 1-го милл. за прошлый месяц. На казенной службе платят туго и с опозданием, и поэтому дальше одним таким местом жить нельзя. Я предпринимаю попытки к поступлению в льняной трест. Кроме того, вчера я получил приглашение пока еще на невыясненных условиях в открывающуюся промышленную газету. Дело настоящее коммерческое, и меня пробуют. Вчера и сегодня я, т. ск., держал экзамен. Завтра должны выдать $1/2$ милл. аванса. Это будет означать, что меня оценили, и возможно тогда, что я получу заведывание хроникой. Итак, лен, промышленная газета и частная работа (случайная), вот что предстоит. Путь поисков труда и специальность, намеченные мной еще в Киеве, оказались совершенно правильными. В другой специальности работать нельзя. Это означало бы, в лучшем случае, голодовку.

Труден будет конец ноября и декабрь, как раз момент перехода на частные предприятия. Но я рассчитываю на огромное количество моих знакомств и теперь уже с полным правом на энергию, которую пришлось проявить volens-nolens. Знакомств масса и журнальных и театральных и деловых просто. Это много значит в теперешней Москве, которая переходит к новой, невиданной в ней давно уже жизни — яростной конкуренции, беготне, про-

явлению инициативы и т. д. Вне такой жизни жить нельзя, иначе погибнешь. В числе погибших быть не желаю.

Таська ищет места продавщицы, что очень трудно, п. ч. вся Москва еще голая, разутая и торгует эфемерно, большей частью своими силами и средствами, своими немногими людьми. Бедной Таське приходится изощряться изо всех сил, чтоб молотить рожь на обухе и готовить из всякой ерунды обеды. Но она молодец! Одним словом, бьемся оба как рыбы об лед. Самое главное, лишь бы была крыша. <…>

В Москве считают только на сотни тысяч и миллионы. Черный хлеб 4600 р. фунт, белый 14 000. И цена растет и растет! Магазины полны товаров, но что ж купишь! Театры полны, но вчера, когда я проходил по делу мимо Большого (я теперь уже не мыслю, как можно идти не по делу!), барышники продавали билеты по 75, 100, 150 т. руб.! В Москве есть все: обувь, материи, мясо, икра, консервы, деликатесы, все! Открываются кафе, растут как грибы. И всюду сотни, сотни! Сотни!! Гудит спекулянтская волна.

Я мечтаю только об одном: пережить зиму, не сорваться на декабре, который будет, надо полагать, самым трудным месяцем.

Таськина помощь для меня не поддается учету: при огромных расстояниях, которые мне приходится ежедневно пробегать (буквально) по Москве, она спасает мне массу энергии и сил, кормя меня и оставляя мне лишь то, что уж сама не может сделать: колку дров по вечерам и таскание картошки по утрам.

Оба мы носимся по Москве в своих пальтишках. Я поэтому хожу как-то одним боком вперед (продувает почему-то левую сторону). Мечтаю добыть

Татьяне теплую обувь. У нее ни черта нет, кроме туфель.

Но авось! Лишь бы комната и здоровье! <...>

Не буду писать, п. ч. Вы не поверите, насколько мы с Таськой стали хозяйственны. Бережем каждое полено дров. Такова школа жизни.

По ночам урывками пишу «Записки земск. вр.». Может выйти солидная вещь. Обрабатываю «Недуг». Но времени, времени нет! *Вот что больно для меня!* <...>

Конечно, при той иссушающей работе, которую я веду, мне никогда не удастся написать ничего путного, но дорога хоть мечта и работа над ней. <...>

P. S. Самым моим приятным воспоминанием за последнее время является – угадайте, что?

Как я спал у Вас на диване и пил чай с французскими булками. Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал [2; 403–405].

Ирина Сергеевна Раабен:

Было видно, что жилось ему плохо, и не представляла, чтобы у него были близкие. Он производил впечатление ужасно одинокого человека. Он обогревался в нашем доме, хотя мы сами жили тогда бедно. <...> Он был голоден, я поила его чаем с сахарином, с черным хлебом; я никого с ним не знакомила, нам никто не мешал [5; 129].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 1 декабря 1921 г.:*

Я заведываю хроникой «Торг. Пром. Вестн.», и если сойду с ума, то именно из-за него. Представляешь, что значит пустить частную газету?! Во 2 № должна пойти статья Бориса. Об авиации в промышленности, о кубатуре, штабелях и т. под. и т. под. Я совер-

шенно ошалел. А бумага!! А если мы не достанем объявлений? А хроника!! А цена!!! Целый день как в котле.

Написал фельетон «Евгений Онегин» в «Экран» (театр. журнал). Не приняли. Мотив — годится не для театр., а *для* литер. журнала.

Написал посвященн. Некрасову худож. фельет. «Муза мести». Приняли в Бюро худ. фельет. при Г.П.П. Заплатили 100. Сдали в «Вестник Искусств», который должен выйти при Тео Г.П.П. Заранее знаю, что или не выйдет журнал, или же «Музу» в последн. момент кто-нибудь найдет не в духе... и т. д. Хаос.

Не удивляйся дикой небрежности письма. Это не нарочно, а потому что буквально до смерти устаю. Махнул рукой на все. Ни о каком писании не думаю. Счастлив только тогда, когда Таська поит меня горячим чаем. Питаемся мы с ней неизмеримо лучше, чем в начале. Хотел написать тебе длинное письмо с описанием Москвы, но вот что вышло... [2; 406–407]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 10 января 1922 г.:*

Шли газеты (киевск., одесск., харьковск.) заказными бандеролями, чтобы иметь квитанции. Материала жду с нетерпением. Всплывают конкурирующие издания, работаем в муках.

Пиши: какие тресты образовались, кто во главе, что делает биржа (что предлагают, что спрашивают, с маклерами или без них), какие артели образовались, союзы их, как развиваются магазины, банк (курс), состояние рынка, подвоз, спрос, цены и т. д. и т. д. и т. д.

Что рыночные цены упали на рынке — великолепно. Значит, они соответствуют действительности. Такие

цены, как цены комитета цен, биржевого ком. и т. д., тоже нужны, но они несколько отстают и носят официальный характер. Но они тоже нужны. Наприм.: Цены утвержденные Бирж. Ком. (к примеру) такие-то, такие-то и такие-то.
А рыночные само собой. Итак, жду корреспонденции и газет [2; 407].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 13 января 1922 г.:*
Сегодня «Вестник» получил твою корреспонденцию о рыночных ценах на 31 декабря, и тотчас же я настоял, чтобы редактор перевел тебе 50 тыс. Это сделано. И одновременно с корреспонденцией меня постиг удар, значение которого ты оценишь сразу и о котором я тебе пишу конфиденциально. Редактор сообщил мне, что под тяжестью внешних условий «Вестник» горит. Ред. говорит, что шансы еще есть, но я твердо знаю, что он не переживет 7-го №. Finita! <...>
В этом письме посылаю тебе корреспонденцию «Торговый ренессанс». Я надеюсь, что ты не откажешь (взамен и я постараюсь быть полезным тебе в Москве) отправиться в любую из киевских газет по твоему вкусу (предпочтительно большую ежедневную) и предложить ее срочно.
Результаты могут быть следующие:
1) ее не примут
2) ее примут
3) примут и заинтересуются.
О первом случае говорить нечего. Если второе, получи по ставкам редакции гонорар и переведи его мне, удержав в свое пользование из него сумму, по твоему расчету необходимую тебе на почтовые и всякие иные расходы при корреспонденциях и делах со мной (полное твое усмотрение).

Если же 3, предложи меня в качестве столичного корреспондента по каким угодно им вопросам или же для подвального художественного фельетона о Москве. Пусть вышлют приглашение и аванс. Скажи им, что я завед. хроникой в «Вестнике», профессиональный журналист [2; 408–409].

Арон Исаевич Эрлих:

Я пошел бродить по бесконечным коридорам Главполитпросвета, уже освещенным ввиду ранних октябрьских сумерек. <...>

Где-то на четвертом этаже в темном углу предстала передо мной дверь с надписью «Лито»... <...>

Я толкнул дверь, и передо мной открылась... не комната, нет, то был довольно внушительный зал, обширное, но пустынное помещение, в самой отдаленной глубине которого за единственным конторским столом, застеленным газетной бумагой, сидел пожилой человек в серой папахе и в теплом, наброшенном на плечи пальто. Старик, скучая, поглаживал рыжие свисающие усы.

Я стоял на пороге раскрытой двери в молчаливой, вопросительной позе. Старик за далеким столом тоже молча и пристально, с заметным удивлением присматривался ко мне некоторое время, потом сделал приглашающий знак указательным пальцем. Он осторожно поманил меня, точно собирался поделиться какой-то тайной. Я двинулся вперед медленно и почему-то, на носках, стараясь быть как можно более бесшумным.

По мере того как я приближался, человек с рыжими усами все круче перегибался корпусом через стол мне навстречу.

Вот, наконец, мы оказались лицом к лицу.

— Табачок есть? — шепотом спросил хозяин комнаты. <...>

Я достал кожаный портсигар. <...>
Нетерпеливо, радуясь, он угостился «рассыпными», то есть продававшимися поштучно, папиросами «Ира». Наслаждение, смешанное с бурной благодарностью, отразилось на его лице.
– Что вам, товарищ? – Он блаженствовал, изголодавшийся курильщик, дорвавшийся после долгого воздержания к первой затяжке. – Садитесь, пожалуйста.
Я рассказал о себе, о первых своих опытах в печати – словом, о всех своих мечтах и надеждах...
Он слушал сочувственно, даже озабоченно и вдруг, насторожившись, снова перегнулся над столом, сделав кому-то за спиной у меня уже знакомый пригласительный знак пальцем.
Я оглянулся. Худощавый человек в легком летнем пальтишке, с предупредительно вежливой улыбкой на лице, продвигался от порога огромной комнаты к далекому столу с такой же почтительной и удивленной настороженностью, с какой я сам проделывал тот же путь несколько минут назад.
Хозяин комнаты повторил свое:
– Что скажете, товарищ?
Новый посетитель объяснил в свою очередь, что ищет работу. Врач по образованию, но литератор по профессии, он недавно приехал из Киева и хотел бы быть полезен литературному отделу Главполитпросвета... <...>
Старичок в пальто и в папахе выпустил дым из-под усов медленной струйкой и сказал, что он очень рад познакомиться с нами, что ему, кстати, нужны помощники, – да, именно два помощника – секретарь отдела и заведующий инструкторско-организационным подотделом.
– Да, да, я возьму вас обоих. Решайте сами: кто из вас хочет быть секретарем отдела, так сказать, моей правой рукой, и кто инструктором? – спросил он.

С удивительной простотой и доверчивостью разрешались в ту пору кадровые дела.

Мы, два просителя, впервые встретившиеся, стали обмениваться вежливыми поклонами и любезными улыбками.

— Будьте вы секретарем, — уговаривал я своего будущего товарища принять на себя более почетную и, вероятно, лучше оплачиваемую должность, исключительно из желания сделать ему приятное. — Вы старше меня и, конечно, опытнее...

— Помилуйте, какое значение тут может иметь возраст, — ответствовал врач-литератор, движимый теми же благородными и жертвенными соображениями. — Небольшая разница в возрасте ничего не значит. Покорнейше прошу — будьте вы секретарем.

Это продолжалось довольно долго. Неожиданный наш патрон внес примирительное предложение:

— Напишите заявки... Вот вам бумага, перо, прошу... А к завтрашнему дню договоритесь между собою: кто из вас секретарь, кто инструктор...

Мы написали свои прошения, поблагодарили и откланялись.

В коридоре за дверью представились друг другу:

— Будем знакомы: Булгаков, Михаил Афанасьевич.

Я назвал свою фамилию, имя и отчество.

Четверть часа спустя, когда мы вместе выбрались на бульвар, было решено, что секретарем будет Булгаков [16; 11–16].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из «Записок на манжетах»:*

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занимались три человека: старик (драмы; <...>), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.
И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый, пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва, 1899 г.».
И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.
По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.
Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала [1; 496].

Ирина Сергеевна Раабен:

Однажды он пришел веселый: «Кажется, я почувствовал почву под ногами». Он поступил тогда секретарем Лито Наркомпроса. ...Он жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки». И так и сделал. Он послал

это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой комнаты где-то в районе Садовой [5; 129].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из «Записок на манжетах»:*

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр. назн. делопроизв.

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов.

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.» Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа [1; 503].

Арон Исаевич Эрлих:

Ни одного из своих проектов литературного общения с рабочими на заводах и фабриках осуществить я не успел: государство отказывалось от многих излишеств недавнего времени, в том числе от таких, как «Лито». Мы выбыли в разряд безработных вместе с нашим начальником-мечтателем в серой папахе. Взамен последней зарплаты и выходного пособия каждому из нас предложили по ящику спичек [16; 26].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Потом он все-таки устроился. Борис Земский взял его к себе. Это какое-то учебное заведение было, связано с авиацией. В Петровском парке оно находилось. Я еще помню — несла оттуда судочек с маслом. И еще он стал в газете работать... [12; 98]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгаковой-Земской. Москва, 24 марта 1922 г.:*
Кроме Н.Т.К. я служу сотрудником новой большой газеты (офф.). На двух службах получаю всего 197 руб. (по курсу Наркомфина за март около 40 миллионов) в месяц, т. е. $^1/_2$ того, что мне требуется для жизни (если только жизнью можно назвать мое существование за последние два года) с Тасей. Она, конечно, нигде не служит и готовит на маленькой железной печке. (Кроме жалования у меня плебейский паек. Но боюсь, что в дальнейшем он все больше будет хромать.)
Жизнь московскую описывать не стану. Это нечто столь феерическое, что нужно страниц 8, специально посвященных ей. Иначе понять ее нельзя. Да и не знаю, интересна ли она тебе? На всякий случай упомяну две-три детали, дернув их наобум.
Самое характерное, что мне бросилось в глаза: 1) человек плохо одетый – пропал, 2) увеличивается количество трамваев и, по слухам, прогорают магазины, театры (кроме «гротесков») прогорают, частн. худ. издания лопаются. Цены сообщить невозможно, потому что процесс падения валюты принял галопирующий характер, и иногда создается разница при покупке днем и к вечеру. Например: утром постное масло – 600, вечер – 650, и т. д. Сегодня купил себе англ. ботинки желтые на рынке за 4 $^1/_2$ (четыре с половиной) лимона. Страшно спешил, п. ч. через неделю они будут стоить 10.
Прочее, повторяю, неописуемо. Замечателен квартирный вопрос. По счастью для меня, тот кошмар в 5-м этаже, среди которого я $^1/_2$ года бился за жизнь, стоит дешево (за март около 700 тысяч). <...>
Работой я буквально задавлен. Не имею времени писать и заниматься как следует франц. язык. Составляю себе библиотеку (у букинистов – наглой

и невежеств. сволочи — книги дороже, чем в магазинах) [2; 411–412].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Он еще тогда все время Мефистофеля рисовал. Так, на бумажке какой-нибудь, на листочках... Лицо одно. Бородка такая. Цветными карандашами раскрашивал. Вот письменный стол, и обязательно рожица Мефистофеля висит [12; 103].



В «Гудке»

Арон Исаевич Эрлих:

<...> Я <...> столкнулся в Столешниковом переулке с Булгаковым. <...> Мы не виделись два месяца и очень обрадовались друг другу.

— Что нового? Как поживаете, Михаил Афанасьевич? Где работаете?

— Да так... перебиваюсь случайным заработком. Удается иной раз пристроить то фельетончик, то очеркишко... Постоянной работы нет.

Потом он сказал, что начал было писать роман «Белая гвардия», но кроме заголовка сочинил всего несколько страничек. Не идет дело. Куда там, если мысли заняты поисками хлеба насущного! А хочется. Ах, как хочется ему писать!

— Ладно, хватит про себя... Что у вас-то слышно?

Мне почему-то было неловко перед бедствующим товарищем, и, пробормотав нечто уклончивое, я спросил:

— Михаил Афанасьевич, а вам никогда не случалось работать в газете?

— Говорю же вам: пробавляюсь помаленьку. А где? В газетах, конечно. Только редко удается, а сил и времени приходится тратить на это бездну.

— Нет, я спрашиваю — в самом аппарате редакции вы никогда не работали?
— Нет, не случалось... А про наше «Лито» вспоминаете? — вдруг рассмеялся он. — Вот еще тоже темочка, — так и чешутся руки!.. Дьяволиада...
— Как вы сказали?
— Дьяволиада, — повторил он оживленнее прежнего. — Да, мне только сейчас это пришло в голову. Но я, пожалуй, так и назову повесть, если когда-нибудь напишу ее: «Дьяволиада».
<...> Мы долго бродили в тот вечер вместе по московским улицам. Расставаясь, М. А. Булгаков откровенно позавидовал моему прочному благополучию.
— Хотите у нас работать?.. Я постараюсь устроить, — предложил я. — Конечно, литературный правщик — это не ахти какое счастье. Но почему бы временно не пойти на это? Обработка корреспонденции не отнимет у вас слишком много сил, но даст верный, постоянный заработок и позволит по вечерам спокойно заниматься своим настоящим делом.
— Не возьмут.
— Почему вы так думаете?
— Пробовал, просился. Не берут.
— Приходите завтра к нам в редакцию. Посмотрим... <...>
Спустя несколько дней Булгаков был принят в штат литературных обработчиков «Гудка». В ту пору именно так подбирался в нашей редакции состав литературных сил: мы, «старые» сотрудники, рекомендовали своих товарищей, главный редактор и секретарь внимательно знакомились с новыми кандидатами и после короткой пробы включали их в штат. Ничего порочного в таком способе подбора кадров не было: в начале двадцатых годов в аппарате «Гудка», как ни в какой другой газете,

оказалось много молодых талантливых литераторов, – М. Булгаков, В. Катаев, Ю. Олеша, Л. Славин, С. Гехт, Л. Саянский, И. Ильф, Е. Петров, Б. Перелешин, М. Штих, А. Козачинский, К. Паустовский...

Многие из них впоследствии сыграли весьма приметную роль в развитии советской художественной литературы [16; 35–39].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Михаил Афанасьевич работает фельетонистом в газете «Гудок». Он берет мой маленький чемодан по прозванью «щенок» (мы любим прозвища) и уходит в редакцию. Домой в «щенке» приносит читательские письма – частных лиц и рабкоров. Часто вечером мы их читаем вслух и отбираем наиболее интересные для фельетона. Невольно вспоминается один из случайных сюжетов. Как-то на строительстве понадобилась для забивки свай капрова баба. Требование направили в главную организацию, а оттуда – на удивленье всем – в распоряжение старшего инженера прислали жену рабочего Капрова. Это вместо капровой-то бабы! [4; 94]

Август Ефимович Явич:

Булгаков сидел над правкой заметок, придавая им легкий иронический глянец и лоск. При этом легко угадывалось то отвращение, которое он питал к некоторым героям этих заметок [5; 157].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

25-го июля 1923. Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки. Сотрудники «Г<удка>» пьют много. Сегодня опять пиво. Играл на Неглинном на биллиарде. «Г<удок>» два дня, как перешел на Солянку во «Дворец Труда». <...> <«Запи-

ски на манжетах»> в Берлине до сих <пор> не <издали>, пробиваюсь фельетонами в «Нак<ануне>». Роман <из->за <работы в> «Г<удке>», отнимающей лучшую часть дня, почти не подвигается.
Москва оживлена чрезвычайно. Движения все больше. Банкнот (червонец) сегодня стал 975 милл., а золот<ой> рубль — 100. <Курс Госбанка>. Здорово? [3; 145]

Арон Исаевич Эрлих:

Редакция наша меняла адреса: с Басманной улицы перебралась в Чернышевский переулок, затем с Чернышевского перекочевала на Солянку, во Дворец Труда, где разместились центральные комитеты всех профессиональных союзов страны.
Дворец Труда — это тот самый «Дом народов», что впоследствии описан был Ильфом и Петровым в романе «Двенадцать стульев». <...>
В этом здании с необъятными коридорами и обосновался «Гудок» уже надолго. Большая группа молодых литераторов дружно работала здесь многие годы. <...> Железнодорожная газета открывала перед каждым из своих сотрудников возможность длительных поездок в любом направлении и на любое расстояние по стране. Какой это был простор для жизненных наблюдений! Но и те, кто не отличался страстью к путешествиям, находился тоже в постоянной и каждодневной связи с советским житьем-бытьем во всем его неисчерпаемом многообразии: сотни и тысячи писем приходили в редакцию отовсюду, со всех станций и полустанков, из депо и мастерских, из школ или больниц, из клубов, стадионов, домов отдыха. В них говорилось обо всем, что только может быть с человеком на земле, и с каждым письмом надо было внимательно ознакомиться, дать ему ход: обработать его в печать или направить по иному пути...

Газета наша росла; маленькие прежде страницы ее развернулись в полновесные листы таких же размеров, как в «Правде», в «Известиях», в «Труде», — и уже не было такого газетного жанра, который не находил бы себе места на страницах «Гудка» [16; 40–41].

И. С. Овчинников:

Правщики «Четвертой полосы», как чиновники литературного департамента, являлись на работу вместе с бухгалтерами, машинистками и курьерами ровно в девять.

Фельетонист Олеша и художник Фридберг пользовались льготой: приходили и в одиннадцать, и в двенадцать — когда им было удобно.

Явившись с большим опозданием, Олеша на этот раз был несколько навеселе. Заметив это, обитатели комнаты, свои и приблудившиеся, прямо от двери взяли его под руки и поставили на ближайший стол. Так начался сеанс стихотворных импровизаций, эпиграмм и каламбуров, своего рода «египетские ночи». Присутствовавшие предлагали Олеше тему, задавали вопросы — и он немедленно отвечал четверостишием. В комнате становилось шумно. На шум сейчас же набегали работники других отделов, заглядывали даже случайные прохожие.

Вот, оправляя на ходу непослушные манжеты, в общем потоке втискивается в комнату Михаил Афанасьевич. Его встречают взрывом смеха, дружным улюлюканием: наметилась подходящая мишень для остроумия Олеши. Как будто по сговору, начинаются требовательные выкрики:

— Эпиграмму на Булгакова!.. Даешь на Булгакова!.. Просим, просим!

С напускной важностью Олеша делает шаг к краю стола. Ворчит, как в трансе, пробуя один за другим

варианты, ловя на лету подсказы нетерпеливых слушателей.
Но вот он выпрямился. Рука выброшена вперед:
— Хотите на Булгакова? Могу! На кого прикажете! Вы заказчики, я исполнитель! Пожалуйста!..
Начинает медленно, но уверенно скандировать:

Булгаков Миша ждет совета...
Скажу, на сей поднявшись трон:
Приятна белая манжета,
Когда ты сам не бел нутром!..

И сейчас же со всех сторон крики протеста и возмущения:
— Товарищи, провокация! Товарищи, предательский намек! Скрытый донос и самый наглый вызов!
Обращаясь к Булгакову, Перелешин решительно настаивает:
— Михаил Афанасьевич, слово за вами! Немедленно к оружию! Сокрушительный контрудар, не сходя с места!
Булгаков растерянно и вместе с тем плутовато улыбается:
— Так, говорите, контрудар? Придется!.. Смолоду мы тоже баловались стишками-то!.. Попробуем... особенно с вашей помощью!
Начинает вслух сочинять стихи:

По части рифмы ты, брат, дока, —
Скажу Олеше-подлецу...
Но путь... но стиль... но роль.

Ищет, варьирует... Перелешин перебивает:
— Товарищи, а вот насчет «подлецу» это, по-моему, не пойдет! Факт, так сказать, внелитературный! Голое ругательство и больше ничего!..
И сейчас же дикий рев голосов:

– Подлецу – долой! Подлецу – отставить! Прямое ругательство, и только!
К этому тихо и внушительно присоединял свой голос Ильф:
– Правильно! Дешево и скучно!..
Продолжая улыбаться, Булгаков разводит руками:
– Не нравится – перекантуем! Нам это ничего не стоит! Прошу внимания! Вариант номер два:

По части рифмы ты, брат, дока, –
Скажу я шутки сей творцу!..

Опять врываются голоса:
– Предлагаем чудесные рифмы! Михаил Афанасьевич, чудесные рифмы!.. Дока – Видока! Французского Видока! Флюгарина Видока!.. И дальше – по лицу!.. Творцу – по лицу! Рифма? А?..
Булгаков:
– Мерси-с! Довольно! Контрудар изготовлен!
Декламирует:

По части рифмы ты, брат, дока, –
Скажу я шутки сей творцу,
Но роль доносчика Видока
Олеше явно не к лицу!..

Сеанс окончен. Посетители толпой спешат к двери [5; 141–143].

Арон Исаевич Эрлих:
С двух часов дня все материалы в разных отделах газеты поступали от сотрудников к заведующим отделами и дальше к секретарю редакции.
После этого сотрудники были, в сущности, свободны. Они могли еще понадобиться для каких-нибудь исправлений или уточнений, и поэтому нельзя было уходить из редакции, но чаще всего складывалось так, что больше уже ничего от них не требовалось.

Что же оставалось делать в продолжение трех часов до окончания рабочего дня?

Литправщик производственного отдела М. Булгаков не хотел терять даром драгоценного времени и писал. Ровным почерком, без всяких исправлений и помарок заполнял он в стенах редакции толстую тетрадь в клеенчатой обложке, сочиняя повести «Дьяволиада» и «Роковые яйца».

Другие сотрудники разбредались в разные стороны по Дворцу Труда. Одни в столовую, где можно было уютно потолковать за бутылкой пильзенского, вспененного, пузырящегося пива. Другие гуляли по коридорам, тем самым длиннющим коридорам, что побуждали ко все ускоряющейся рыси. Третьих непреодолимо влекло в большую комнату «Четвертой полосы» именно потому, что здесь всегда было шумно, весело и опасно: в любую минуту можно было попасть под круговую атаку острых языков и надо было не ударить лицом в грязь, мужественно принять бой! Разгоралось словесное сражение, длилась жгучая и увлекательная перепалка, шло состязание в остроумии.

В этой комнате любой разговор принимал сатирическую окраску — такова уже была самая атмосфера «Четвертой полосы» [16; 48–50].

И. С. Овчинников:

В нашей комнате, в простенке, за спиной Ильфа висел большой лист картона, наполовину заклеенный газетными вырезками. В каждой вырезке какой-нибудь ляпсус, курьез, ошибка. Это наша гудковская доска брака. Называется она «Сопли и вопли».

Доской брака вдруг очень заинтересовался сотрудник «Рабочего Москвы» Павлов. Увидев доску в первый раз, он не только внимательно прочитал ее вдоль и поперек, но многие вырезки тут же переписал в свой

блокнот. То же самое проделывал он и дальше с каждой новой партией вырезок.
Выяснилось любопытное обстоятельство: к Павлову его редакция прикрепила пятерых рабкоров, из которых он в срочном порядке должен был сделать журналистов-профессионалов.
Никаких учебников и руководств по газетной работе в те годы не было, и наши вырезки он использовал как своеобразное пособие. Каждую вырезку он прочитывал со своими рабкорами и кратко ее комментировал:
– Поняли? Так писать не надо!..
Материалы накапливались. Павлов пытался свести их в систему и сделать как бы памятку «Советы рабкору». Но одному задача оказалась не под силу. Пришел в «Гудок».
«Советы» сделали, но получились они убийственно «четвертополосными». Броско, зло и безбожно шаржированно.
Вот некоторые из этих советов.
– Не больше четырех отглагольных существительных в предложении.
Например: «Выдавание книг производится при соблюдении непотерятия и неукрадения».
– Не больше девяти родительных падежей в определении.
Например: «Не отремонтированы печи помещения библиотеки общежития молодежи школы ученичества завода ремонта паровозов».
– Не больше двух слов в предложении от точки до точки.
Например: «Я ем. Он юн. Дождь шел. Море смеялось».
Три слова допускаются в виде исключения.
Например: «Клим, пей чай. Гости начали съезжаться».
Категорично? Даже чрезмерно?

Но Олеша нашел веские доводы в защиту этой категоричности.
— Помните, товарищи, что это же идеал. Достигнуть его невозможно, — поучал он с глубокомыслием Швейка. — Конечно, жаль, но что же поделаешь: идеалы — они обязательно недостижимы...
В комнату стрельнуть папиросу заскочил Булгаков. Покуривая у печной отдушины, в нашем «Клубе у вьюшки», Михаил Афанасьевич видел и слышал все, что выкамаривала братва с материалами доски брака. Решил вмешаться:
— Товарищи звери, прошу слова!
Швырнул окурок за печку и решительно подступил к столу. За столом Перелешин, Ильф, Петров. Чуть поодаль Олеша.
Заговорил без приглашения:
— Так вот, друзья хорошие! То, что вы головотяпы и, извините, негодяи, — об этом молчу. Это вам лучше, чем Булгакову, известно. То, что вы без конца коверкаете и мордуете рабкоровские письма, — это не новость тоже. Тут дело ваше хозяйское, как говорят, внутреннее и сугубо частное. Об этом помолчим тоже. Но скажите, кто дал вам право вывихивать мозги ни в чем не повинным рабкорам товарища Павлова? И еще скажите, что это за идеал такой — косноязычная фраза в два слова, да еще на каком-то птичьем жаргоне? Позвольте! Минутку!..
Булгаков опрометью несется к себе в комнату и сейчас же возвращается, потрясая над головой растрепанным томиком:
— Прошу внимания! Убедительно прошу внимания! Читаем! — Михаил Афанасьевич находит нужную страницу и начинает читать: — «Даже в те часы, когда совершенно потухает петербургское серое небо... когда все уже отдохнуло после департаментского скрипенья перьями, беготни, своих и чужих необ-

ходимых занятий... когда чиновники спешат предать наслаждению оставшееся время»...

Проходит минута, две – Булгаков читает. Но вот он резко захлопнул книжку и окидывает каждого из нас гордым взглядом фокусника и победителя: – Ну как? Дошло? Фразочка из гоголевской «Шинели». Прошу убедиться: с предлогами, с союзами точно двести девятнадцать честных русских слов – и без никакой такой Сухаревки.

Мы слегка обескуражены. По долгу теоретика и методиста возражать начинает Перелешин.

– Ну и в чем же дело? – скучно тянет он, давясь притворной зевотой. – Так это же Гоголь! Так это же гений! Товарищ Павлов, а сколько, скажите, Гоголей в вашей рабкоровской пятерке? Ни одного! Товарищ Булгаков, а сколько, скажите, фраз протяженностью в двести девятнадцать слов написали вы сами за все свое литературное житье-бытье? Ни одной! Так в чем же, спрашиваю еще раз, дело? И какое отношение имеем мы к Гоголю, а Гоголь к нам? Мы сотрудники массовой газеты, и в этом своем рабочем качестве мы держимся твердого, тысячу раз проверенного правила: в газете две короткие фразы всегда лучше одной длинной... Аминь!

Булгаков не сдается:

– Но гоголевская фраза в двести слов это тоже идеал, причем идеал бесспорный, только с другого полюса. Так почему же вы, педагоги на час, не хотите сказать рабкорам об этом идеале? Товарищ Павлов, я протестую! Будете читать рабкорам свои сумасшедшие советы, обязательно прочитайте как противоядие и моего Гоголя. Я настаиваю!.. [5; 133–135]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

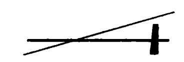
27 августа 1923. «Гудок» изводит, не дает писать. <...>

3 сентября 1923. Я каждый день ухожу на службу в этот свой «Гудок» и убиваю в нем совершенно безнадежно свой день.

Жизнь складывается так, что денег мало, живу я, как и всегда, выше моих скромных средств. Пьешь и ешь много и хорошо, но на покупки вещей не хватает. Без проклятого пойла – пива не обходится ни один день [3; 146].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Недавно я перечитала более ста фельетонов Булгакова, напечатанных в «Гудке». Подписывался он по-разному: иногда полным именем и фамилией, иногда просто одной буквой или именем Михаил, иной раз инициалами или: Эм, Эмма Б., Эм. Бе., М. Олл-Райт и пр. Несмотря на разные псевдонимы, узнать его «почерк» все же можно. Как бы сам Булгаков ни подсмеивался над своей работой фельетониста, она в его творчестве сыграла известную роль, сослужив службу трамплина для перехода к серьезной писательской деятельности. Сюжетная хватка, легкость диалога, выдумка, юмор – все тут [4; 95].



Рождение мастера

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

30 сентября 1923. Вероятно, потому, что я консерватор до... «мозга костей» хотел написать, но это шаблонно, но, словом, консерватор, всегда в старые праздники меня влечет к дневнику. Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву. Два года. Многое ли изменилось за это время? Конечно, многое. Но все же вторая годовщина меня застает все в той же комнате и все таким же изнутри.

Болен я, кроме всего прочего... <...>

Москва по-прежнему чудный какой-то ключ. Бешеная дороговизна и уже не на эти дензнаки, а на золото. Червонец сегодня – 4000 руб., д<ензнаки 19>23 г. – 4 миллиарда. По-прежнему и даже еще больше, чем раньше, нет возможности ничего купить из одежды.

Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один – отсутствие квартиры.

<В> литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно

хорошо написал. Как будто пленкой какой-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему <верю> это я <...> знаю <...> мыслью и чувством. <...>

18 октября 1923. Сегодня был у доктора, посоветоваться насчет боли в ноге. Он меня очень опечалил, найдя меня в полном беспорядке. Придется серьезно лечиться. Чудовищнее всего то, что я боюсь слечь, потому что в милом органе, где я служу, под меня подкапываются и безжалостно могут меня выставить.

Вот, черт бы их взял.

Червонец, с Божьей помощью, сегодня 5500 рублей ($5\,{}^{1}/_{2}$ миллиардов).

Французская булка стоит 17 миллионов, фунт белого хлеба – 65 миллионов. Яйца, десяток, вчера стоили 200 <миллионов> рублей.

Москва шумна. Возобновил маршруты трамвай 24 (Остоженка). <...>

19 октября 1923. Сегодня вышел гнусный день. Род моей болезни таков, что, по-видимому, на будущей неделе мне придется слечь. Я озабочен вопросом, как устроить так, чтобы в «Г<удке>» меня не сдвинули за время болезни с места. Второй вопрос, как летнее пальто жены превратить в шубу. День прошел сумбурно, в беготне. Часть этой беготни была затрачена (днем и вечером) на «Трудовую копейку». В ней потеряны два моих фельетона. Важно, что Кольцов (редактор «Копейки») их забраковал. Я не мог ни найти оригинала, ни добиться ответа по поводу их. Махнул в конце концов рукой.

Завтра Гросс (редактор фин<ансового> отд<ела> «К<опейки>») даст мне ответ по поводу фельетона о займе и, возможно, 3 червонца.

Вся надежда на них.

«Н<акануне>» в этот последний период времени дает мне мало (там печатается мой фельетон в 4-х номерах о Выставке). Жду ответа из «Недр» насчет «Диаволиады».
В общем, хватает на еду и мелочи, а одеться не на что. Да, если бы не болезнь, я бы не страшился за будущее.
Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ [3; 146–147].

Эмилий Львович Миндлин:

Открылась первая Всероссийская сельскохозяйственная выставка на территории бывшей свалки — там, где сейчас Центральный парк культуры и отдыха имени Горького.
Все мы писали тогда о выставке в московских газетах. Но только Булгаков преподал нам «высший класс» журналистики.
Редакция «Накануне» заказала ему обстоятельный очерк. Целую неделю Михаил Афанасьевич с редкостной добросовестностью ездил на выставку и проводил на ней по многу часов.
Наконец изучение завершилось, и Булгаков принес в редакцию заказанный материал. Это был мастерски сделанный, искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк о сельскохозяйственной выставке. Много внимания автор сосредоточил на павильонах — узбекском, грузинском — и на всевозможных соблазнительных национальных напитках и блюдах в открытых на выставке чайхане, духане, шашлычной, винном погребке и закусочных под флагами советских среднеазиатских и закавказских республик. Никто не сомневался в успехе булгаковского очерка в Берлине. И даже то, что особенно много места в этом очерке уделено аппетитному описанию вос-

точных блюд и напитков, признано было очень уместным и своевременным. Ведь эмигрантская печать злорадно писала о голоде в наших национальных республиках!

Очерк я отправил в Берлин, и уже дня через три мы держали в Москве последний номер «Накануне» с очерком Булгакова на самом видном месте.

Наступил день выплаты гонорара. Великодушие Калменса не имело границ; он сам предложил Булгакову возместить производственные расходы: трамвай, билеты. Может быть, что-нибудь еще, Михаил Афанасьевич?

Счет на производственные расходы у Михаила Афанасьевича был уже заготовлен. Но что это был за счет! Расходы по ознакомлению с национальными блюдами и напитками различных республик! Уж не помню, сколько там значилось обедов и ужинов, сколько легких и нелегких закусок и дегустаций вин! Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и вина был на двоих.

На Калменса страшно было смотреть. Он производил впечатление человека, которому остается мгновение до инфаркта. Белый как снег, скаредный наш Семен Николаевич Калменс, задыхаясь, спросил — почему же счет за недельное пирование на двух лиц? Не съедал же Михаил Афанасьевич каждого блюда по две порции!

Булгаков невозмутимо ответил:

— А извольте-с видеть, Семен Николаевич. Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлись по вкусу. Как вам угодно-с, а произведенные мною производственные расходы покорнейше прошу возместить.

И возместил! Калменс от волнения едва не свалился, даже стал как-то нечленораздельно похрипывать, посинел. И все-таки возместил. Булгакову не посмел отказать [5; 146–147].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

26 октября 1923. Я нездоров, и нездоровье мое неприятное, потому что оно может вынудить меня лечь. А это в данный момент может повредить мне в «Г<удке>». Поэтому и расположение духа у меня довольно угнетенное.

Сегодня я пришел в «Г<удок>» рано. Днем лежал. По дороге из «Г<удка>» заходил в «Недра» к П. Н. Зайцеву. Повесть моя «Дьяволиада» принята, но не дают больше, чем 50 руб. за лист. И денег не будет раньше следующей недели. Повесть дурацкая, ни к черту не годная. Но Вересаеву (он один из редакторов «Недр») очень понравилась.

В минуты нездоровья и одиночества предаюсь печальным и завистливым мыслям. Горько раскаиваюсь, что бросил медицину и обрек себя на неверное существование. Но, видит Бог, одна только любовь к литературе и была причиной этого.

Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами, волей-неволей <отражающимися> в произведениях, трудно печататься и жить.

Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя.

Но не будем унывать. Сейчас я просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере! Там Давид, который все время распевает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье

мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога. <...>

Мои предчувствия относительно людей никогда меня не обманывают. Никогда. Компания исключительной сволочи группируется вокруг «Накануне». Могу себя поздравить, что я в их среде. О, мне очень туго придется впоследствии, когда нужно будет соскребать накопившуюся грязь со своего имени. Но одно могу сказать с чистым сердцем перед самим собой. Железная необходимость вынудила меня печататься в нем. Не будь «Нак<ануне>», никогда бы не увидали света ни «Записки на манжетах», ни многое другое, в чем я могу правдиво сказать литературное слово. Нужно было быть исключительным героем, чтобы молчать в течение четырех лет, молчать без надежды, что удастся открыть рот в будущем. Я, к сожалению, не герой.

Но мужества во мне теперь больше. О, гораздо больше, чем в 21-м году. И если б не нездоровье, я бы тверже смотрел в свое туманное черное будущее. <...>

6 ноября 1923. Страшат меня мои 32 года и брошенные на медицину годы, болезнь и слабость. У меня за ухом дурацкая опухоль <...>, уже 2 раза опер<ирован>ная. Боюсь, что <...> слепая болезнь прервет мою работу. <...>

Я буду учиться теперь. Не может быть, чтобы голос, тревожащий сейчас меня, не был вещим. Не может быть. Ничем иным я быть не могу, я могу быть одним — писателем.

Посмотрим же и будем учиться, будем молчать [3; 148–150].

Валентин Петрович Катаев:

...Однажды мы с синеглазым решили издавать юмористический журнал вроде «Сатирикона». Ко-

гда мы выбирали для него название, синеглазый вдруг как бы сделал стойку, понюхал воздух, в его глазах вспыхнули синие огоньки горящей серы, и он торжественно, но вместе с тем и восхищаясь собственной находкой, с ядовитой улыбкой на лице сказал:

– Наш журнал будет называться «Ревизор»!

Издатель нашелся сразу: один из тех мелких капиталистов, которые вдруг откуда-то появились в большом количестве и шныряли по Москве, желая как можно выгоднее поместить неизвестно откуда взявшиеся капиталы. Можно ли было найти что-нибудь более выгодное, чем сатирический журнал с оппозиционным оттенком под редакцией синеглазого, автора нашумевшей «Дьяволиады»? (Впрочем, не ручаюсь, возможно это было еще до появления «Дьяволиады».) <...>

...Мы с синеглазым быстро накатали программу будущего журнала и отправились в Главполитпросвет, где работал хорошо известный мне еще по революционным дням в Одессе товарищ Сергей Ингулов, наш общий друг и доброжелатель... Надо заметить, что в то время уже выходило довольно много частных периодических изданий – например, журнальчик «Рупор», юмористическая газетка «Тачка» и многие другие, – так что я не сомневался, что Сергей Ингулов, сам в прошлом недурной провинциальный фельетонист, без задержки выдаст нам разрешение на журнал, даже придет в восторг от его столь счастливо найденного названия.

Мы стояли перед Ингуловым – оба в пальто – и мяли в руках шапки, а Ингулов, наклонивши к письменному столу свое красное лицо здоровяка-сангвиника, пробегал глазами нашу программу. По мере того как он читал, лицо синеглазого делалось все озабоченнее. Несколько раз он поправлял свой аккурат-

ный пробор прилежного блондина, искоса посматривая на меня, и я заметил, что его глаза все более и более угасают, а на губах появляется чуть заметная ироническая улыбочка — нижняя губа немного вперед кувшинчиком, как у его сестренки-синеглазки.

— Ну, Сергей Борисович, как вам нравится название «Ревизор»? Не правда ли, гениально? — воскликнул я, как бы желая поощрить Ингулова.

— Гениально-то оно, конечно, гениально, — сказал Сергей Борисович, — но что-то я не совсем понимаю, кого это вы собираетесь ревизовать? И потом, где вы возьмете деньги на издание?

Я оживленно объяснил, кого мы хотим ревизовать и кто нам обещал деньги на издание. Ингулов расстегнул ворот своей вышитой рубахи под пиджаком, почесал такую же красную, как лицо, будто распаренную в бане грудь и тяжело вздохнул.

— Идите домой, — сказал он совсем по-родственному и махнул рукой.

— А журнал? — спросил я.

— Журнала не будет, — сказал Ингулов.

— Да, но ведь какое название! — воскликнул я.

— Вот именно, — сказал Ингулов.

— Странно, — сказал я, когда мы спускались по мраморной зашарканной лестнице. Синеглазый нежно, но грустно назвал меня моим уменьшительным именем, укоризненно покачал головой и заметил:

— Ай-яй-яй! Я не думал, что вы такой наивный. Да и я тоже хорош. Поддался иллюзии. И не будем больше вспоминать о покойнике «Ревизоре», а лучше пойдем к нам есть борщ. Вы, наверное, голодный? — участливо спросил он.

Жена синеглазого Татьяна Николаевна была добрая женщина и нами воспринималась если не как

мама, то, во всяком случае, как тетя. Она деликатно и незаметно подкармливала в трудные минуты нас, друзей ее мужа, безалаберных холостяков [10; 221–223].

Эмилий Львович Миндлин:

Каким-то издателям пришла в голову мысль пригласить Булгакова на пост секретаря редакции нового литературного журнала. Не помню, как должен был называться этот журнал. Редакция была создана, Булгаков стал ее полноправным хозяином и, разумеется, привлек всех нас к сотрудничеству. Редакция помещалась там, где сейчас кассы Большого театра, рядом с Центральным детским театром.

Мы пришли — Слезкин, Катаев, Гехт, Стонов, я... Булгаков поднялся нам навстречу и, прежде чем приступить к переговорам о задачах журнала, жестом гостеприимного хозяина указал на стол. Черт возьми! Мы не привыкли к такому приему в редакциях. На столе стояли стаканы с только что налитым горячим крепким чаем — не меньше чем по два куска настоящего сахара в каждом стакане! Да, товарищи, — сахара, а не сахарина, от которого мы отнюдь еще не отвыкли в те времена! Но что там чай с сахаром! Возле каждого стакана лежала свежая французская булка! Целая французская булка на каждого человека!

Не помню, состоялась ли в тот раз беседа о журнале, но булки были съедены все до единой.

Редакция булгаковского журнала всем очень понравилась. Уже на следующий день всю молодую (стало быть, не больно сытую) литературную Москву облетело радостное известие: Михаил Булгаков в своей новой редакции каждому приходящему литератору предлагает стакан сладкого чая с белой булкой!

Отбою не было в этой редакции от авторов. Вскоре кое-кто сообразил, что можно ведь приходить и по два раза в день — булки будут выданы дважды. Через несколько дней издатели спохватились и каждому приходящему стали предлагать чай с половиной булки. А недели через две или три незадачливая редакция прекратила свое существование. Бог весть, сколько булок и сахару было скормлено молодым литераторам, но журнала так и не увидел никто [5; 148–149].

Валентин Петрович Катаев:

Он был старше нас всех — его товарищей по газете, — и мы его воспринимали почти как старика. По характеру своему Булгаков был хороший семьянин. А мы были богемой. Он умел хорошо и организованно работать. В определенные часы он садился за стол и писал свои вещи, которые потом прославились. Нас он подкармливал, но не унижая, а придавал этому характер милой шалости. Он нас затаскивал к себе и говорил: «Ну, конечно, вы уже давно обедали, индейку, наверное, кушали, но, может быть, вы все-таки что-нибудь съедите?»

У Булгаковых всегда были щи хорошие, которые его милая жена нам наливала по полной тарелке, и мы с Олешей с удовольствием ели эти щи, и тут же, конечно, начинался пир остроумия. Олеша и Булгаков перекрывали друг друга фантазией. Тут же Булгаков иногда читал нам свои вещи — уже не фельетоны, а отрывки из романа. Помню, как в один прекрасный день он сказал нам: «Знаете что, товарищи, я пишу роман, и если вы не возражаете, прочту несколько страничек». И он прочитал нам несколько отрывков очень хорошо написанного, живого, яркого произведения, которое потом постепенно превратилось в роман «Белая гвардия» [5; 124].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

25 февраля 1924. Сегодня вечером получил от Петра Никаноровича свежий номер <альманаха> «Недра». В нем моя повесть «Дьяволиада».

Это было во время чтения моего — я читал куски из «Белой гвардии» у Веры Оскаровны З.

По-видимому, и в этом кружке производило впечатление. <...>

Итак, впервые я напечатан не на газетных листах и не в тонких журналах, а в книге альманаха. Да-с. Скольких мучений стоит! [3, 150]

Арон Исаевич Эрлих:

Вскоре <...> сотрудник «Гудка» Леонид Саянский отозвал меня в редакции в сторону, шепнул:

– Приходи ко мне сегодня вечером, Миша читать будет...

– Что он будет читать?

– Новую повесть. Часам к восьми приходи... Миша кончил новую повесть «Роковые яйца».

Я сильно задержался в тот день в редакции и поспел в Большой Кисловский к Саянскому на час позже условленного времени. Но читать еще не начинали, – не было автора. Большущая комната Саянского была полна гостей, – пожалуй, не меньше полусотни человек уже съехалось: были тут и писатели, и критики, были артисты театров Вахтангова и Художественного.

Гости все прибывали. Саянский звонил по телефону в разные места, выискивая пропавшего автора.

– Вот, ей-богу... Ведь дал честное слово, что не опоздает... Неужели... неужели обманул и не придет вовсе? – уже встревоженно бормотал хозяин комнаты, укладывая на рычаг телефонную трубку и приветливо здороваясь с новыми гостями.

Наконец Булгаков приехал. Опешив перед столь многочисленной аудиторией, он увел хозяина комнаты в самую глубь коридора, даже укрылся там за дверью умывальной и стал препираться с ним торопливым шепотом:

– Ты с ума спятил? Что здесь происходит? Мы условились, что будет человек пять-шесть!

– Я говорил, восемь-десять... Да ведь черт его знает, откуда они все узнали!.. Ну, ничего, ничего...

Черта он помянул зря. Конечно же по его собственной вине предполагавшееся интимное домашнее чтение оборачивалось в многолюдный литературный вечер. Он созвал – каждого по секрету – всех своих знакомых, а знакомым его не было числа!

– Ничего, ничего, – повторял он. – Пошли!

Так состоялось первое чтение «Роковых яиц».

Прочитать вслух несколько печатных листов прозы – испытание весьма серьезное и для автора и для слушателей. Булгаков поэтому начал с предупреждения, что он познакомит собравшихся с несколькими первыми страницами своей новой повести, потом прочитает два-три отрывка из разных мест. Но уже первая попытка оторваться от рукописи и бегло изложить дальнейшее течение сюжета вызвала шумные протесты. Всем хотелось слушать без пропусков.

– Хорошо, – согласился автор, – попробуем еще несколько страниц.

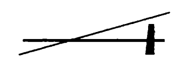
Повесть была прочитана полностью, без всяких купюр, хотя для этого потребовалось около трех часов непрерывного чтения. <...>

«Роковые яйца» вскоре появились в альманахе «Недра». Критика обошла глухим молчанием новую повесть Булгакова, зато в устных размышлениях среди молодых советских литераторов она

долго вызывала страстные, подчас негодующие отклики [16; 62–66].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*
26 декабря 1924. Только что вернулся с вечера у Ангарского – редактора «Недр». Было одно, что теперь всюду: разговоры о цензуре, нападки на нее, «разговоры о писательской правде» и «лжи». Был<и>: Вересаев, К..., Никандров, Кириллов, Зайцев <П. Н.>, Ляшко и Львов-Рогачевский. Я не удержался, чтобы несколько раз не встрять с речью о том, что в нынешнее время работать трудно, с нападками на цензуру и прочим, чего вообще говорить не следует.
Ляшко, пролетарский писатель, чувствующий ко мне непреодолимую антипатию (инстинкт), возражал мне с худо скрытым раздражением:
– Я не понимаю, о какой «правде» говорит т. Булгаков? Почему все <...> нужно изображать? Нужно давать «чер<ес>полосицу» и т. д.
Когда же я говорил о том, что нынешняя эпоха – это эпоха сви<нства> – он сказал с ненавистью:
– Чепуху вы говорите...
Не успел ничего ответить на эту семейную фразу, потому что вставали в этот момент из-за стола. От хамов нет спасения. <...>
Ангарский (он только на днях вернулся из-за границы) в Берлине, а, кажется, и в Париже всем, кому мог, показал гранки моей повести «Роковые яйца». Говорит, что страшно понравилось и (кто-то в Берлине, в каком-то издательстве) ее будут переводить.
Больше всех этих Ляшко меня волнует вопрос – беллетрист ли я? <...>
28 декабря 1924. Вечером у Никитиной читал свою повесть «Роковые яйца». Когда шел туда, ребяческое

желание отличиться и блеснуть, а оттуда — сложное чувство. Что это? Фельетон? Или дерзость? А может быть, серьезное? Тогда невыпеченное. Во всяком случае, там сидело человек 30, и ни один из них не только не писатель, но и вообще не понимает, что такое русская литература.
Боюсь, как бы не саданули меня за все эти подвиги «в места не столь отдаленные». <...>
5 января 1925. Сегодня в «Гудке» в первый раз с ужасом почувствовал, что я писать фельетонов больше не могу. Физически не могу. Это надругательство надо мной и над физиологией [3; 155, 157].



Любовь

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Мы на Новый год (1924. — *Сост.*) гадали, воск топили и в мисочку такую выливали. Мне ничего не вышло — пустышка, а ему все кольца выходили. Я даже расстроилась, пришла домой, плакала, говорю: «Вот увидишь, мы разойдемся». А он: «Ну что ты в эту ерунду веришь!» А он тогда уже за этой Белозерской бегал. Она была замужем за Василевским и разошлась. И вот Михаил: «У нас большая комната, нельзя ли ей у нас переночевать?» — «Нет, — говорю, — нельзя». Он все жалел ее: «У нее сейчас такое положение, хоть травись». Вот и пожалел. В апреле, в 24-м году, говорит: «Давай разведемся, мне так удобнее будет, потому что по делам приходится с женщинами встречаться...» И всегда он это скрывал. Я ему раз высказала. Он говорит: «Чтобы ты не ревновала». Я не отрицаю — я ревнивая, но на это есть основания. Он говорит, что он писатель и ему нужно вдохновение, а я должна на все смотреть сквозь пальцы. Так что и скандалы получались, и по физиономии я ему раз свистнула. И мы развелись [12; 107–108].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Все самые важные разговоры происходили у нас на Патриарших прудах (Михаил Афанасьевич жил близко, на Большой Садовой в доме 10). Одна особенно задушевная беседа, в которой Михаил Афанасьевич — наискрытнейший человек — был предельно откровенен, подкупила меня и изменила мои холостяцкие настроения.

Мы решили пожениться. Легко сказать — пожениться. А жить где? [4; 89–90]

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

После развода и переезда Михаил стал подыскивать где-нибудь помещение для жилья, потому что часто приходила Белозерская, ей даже пытались звонить по нашему телефону, и я запротестовала. Какое-то время он жил с ней у Нади на Большой Никитской. Она там по объявлению взяла заведывание школой, и там они с месяц жили. Потом там, наверно, нельзя было уже, и он вернулся в квартиру 34. А в ноябре уже совсем уехал. Приехал на подводе, взял только книги и теткины тоже... ну, какие-то там мелочи еще. Я ему помогала все уложить, вниз относить, а потом он попросил у меня золотую браслетку. Но я не дала ему. Жена Артура Манасевича все удивлялась, что я ему помогаю и никакого скандала нет. Вот так мы и разъехались. Куда он поехал, где жил — ни звука мне не сказал, и я у него не спрашивала [12; 110].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Потом мы зарегистрировались в каком-то отталкивающем помещении ЗАГСа в Глазовском (ныне ул. Луначарского) переулке, что выходил на б. церковь Спаса на Могильцах.

Сестра М. А., Надежда Афанасьевна Земская, приняла нас в лоно своей семьи, а она была директором

школы и жила на антресолях здания бывшей гимназии (ул. Герцена, 46). Получился «терем-теремок». А в теремке жили: сама она, муж ее Андрей Михайлович Земский, их маленькая дочь Оля, его сестра Катя и сестра Н. А. Вера. Это уже пять человек. Ждали приезда из Киева младшей сестры Елены Булгаковой. Тут еще появились и мы.

К счастью, было лето, и нас устроили в учительской под портретом сурового Ушинского на клеенчатом диване, с которого я ночью скатывалась. Были там и другие портреты, но менее суровые, а потому они и не запомнились [4; 92].

Сергей Александрович Ермолинский:

Она отнюдь не выглядела экстравагантно. Напротив, в ней не было ничего вычурного. Все «нэповское», модное, избави бог, отсутствовало в ней. Она одевалась строго и скромно. Была приветлива, улыбчива, весела. В ней было много душевной теплоты. Любила давать причудливые клички знакомым — Петю-Петянь, Петры-Тытери и т. п. Собаку назвала Бутоном, по имени слуги Мольера. А Михаила Афанасьевича называла Макой и ласково: Мася-Колбася. В кругу ее друзей он на всю жизнь так и остался Макой, а для иных — Масей-Колбасей [8; 32].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

28 декабря 1924. <...> У газетчика случайно на Кузнецком увидел 4-й номер «России». Там — первая часть моей «Белой гвардии», т. е. не первая часть, а первая треть. Не удержался и у второго газетчика, на углу Петровки и Кузнецкого, купил номер. Роман мне кажется то слабым, то очень сильным. Разобраться в своих ощущениях я уже больше не могу. Больше всего почему-то привлекло мое внимание посвящение. Так свершилось. Вот моя жена [3; 155].

Татьяна Николаевна Кисельгоф. *Из беседы с Л. Паршиным:*

Булгаков присылал мне деньги или сам приносил. Он довольно часто заходил. Однажды принес «Белую гвардию», когда напечатали. И вдруг я вижу – там посвящение Белозерской. Так я ему бросила эту книгу обратно. Столько ночей я с ним сидела, кормила, ухаживала... он сестрам говорил, что мне посвятит... Он же когда писал, то даже знаком с ней не был [12; 111].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

28 декабря 1924. <...> Не для дневника и не для опубликования: подавляет меня чувственно моя жена. Это и хорошо, и отчаянно, и сладко, и, в то же время, безнадежно сложно: я как раз сейчас хворый, а она для меня... Сегодня видел, как она переодевалась перед нашим уходом к Никитиной, жадно смотрел. <...>

3 января 1925. Ужасное состояние: все больше влюбляюсь в свою жену. Так обидно – 10 лет открещивался от своего... Бабы, как бабы. А теперь унижаюсь даже до легкой ревности. Чем-то мила и сладка. И толстая [3; 155].



Укусы Шарикова

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из дневника:*

Забавный случай: у меня не было денег на трамвай, а потому я решил из «Гудка» пойти пешком. Пошел по набережной Москвы-реки. Полулуние в тумане. Почему-то середина Москвы-реки не замерзла, а на прибрежном снеге и льду сидят вороны. В Замоскворечье огни. Проходя мимо Кремля, поравнявшись с угловой башней, я глянул вверх, приостановился, стал смотреть на Кремль и только что подумал, «доколе, Господи», — как серая фигура с портфелем вынырнула сзади меня и оглядела. Потом прицепилась. Пропустил ее вперед, и около четверти часа мы шли, сцепившись. Он плевал с парапета, и я. Удалось уйти у постамента Александру [3; 156].

Из сводки Секретного отдела ОГПУ № 110. 9 марта 1925 г.:

Был 7 марта 1925 г. на очередном литературном «субботнике» у Е. Ф. Никитиной (Газетный, 3, кв. 7, т. 2-14-16).

Читал Булгаков свою новую повесть. Сюжет: профессор вынимает мозги и семенные железы у только

что умершего и вкладывает их в собаку, в результате чего получается «очеловечивание» последней. При этом вся вещь написана во враждебных, дышащих бесконечным презрением к Совстрою тонах:
1) У профессора семь комнат. Он живет в рабочем доме. Приходит к нему депутация от рабочих, с просьбой отдать им две комнаты, так как дом переполнен, а у него одного семь комнат. Он отвечает требованием дать ему еще и восьмую. Затем подходит к телефону и по № 107 заявляет какому-то очень влиятельному совработнику «Виталию Власьевичу» (?), что операции он ему делать не будет, прекращает практику вообще и уезжает навсегда в Батум, так как к нему пришли вооруженные револьверами рабочие (а этого на самом деле нет) и заставляют его спать на кухне, а операции делать в уборной. Виталий Власьевич успокаивает его, обещая дать «крепкую» бумажку, после чего его никто трогать не будет. Профессор торжествует. Рабочая делегация остается с носом.
«Купите тогда, товарищ, — говорит работница, — литературу в пользу бедных нашей фракции». — «Не куплю», — отвечает профессор. «Почему? Ведь недорого. Только пятьдесят копеек. У вас, может быть, денег нет?» — «Нет, деньги есть, а просто не хочу». — «Так, значит, вы не любите пролетариат?» — «Да, — сознается профессор, — я не люблю пролетариат».
Все это слушается под сопровождение злорадного смеха никитинской аудитории. Кто-то не выдерживает и со злостью восклицает: — Утопия!
2) «Разруха, — ворчит за бутылкой Сен-Жульена тот же профессор, — что это такое? Старуха, еле бредущая с клюкой? Ничего подобного. Никакой разрухи нет, не было, не будет и не бывает. Разруха — это сами люди. Я жил в этом доме на Пречис-

тенке с 1902 по 1917-й, пятнадцать лет. На моей лестнице двенадцать квартир. Пациентов у меня бывает сами знаете сколько. И вот внизу, на парадной, стояла вешалка для пальто, калош и т. д. Так что же вы думаете? За эти пятнадцать лет не пропало ни разу ни одного пальто, ни одной тряпки. Так было до 24 февраля, а 24-го украли все: все шубы, моих три пальто, все трости, да еще и у швейцара самовар свистнули. Вот что. А вы говорите — разруха».

Оглушительный хохот всей аудитории.

3) Собака, которую он приютил, разорвала ему чучело совы. Профессор пришел в неописуемую ярость. Прислуга советует ему хорошенько отлупить пса. Ярость профессора не унимается, но он гремит: «Нельзя. Нельзя никого бить. Это — террор, а вот чего достигли они своим террором. Нужно только учить». И он свирепо, но не больно тычет собаку мордой в разорванную сову.

4) «Лучшее средство для здоровья и нервов — не читать газеты, в особенности же „Правду". Я наблюдал у себя в клинике тридцать пациентов. Так что же вы думаете, не читавшие „Правду" выздоравливают быстрее читавших...» — и т. д. и т. д.

Примеров можно было бы привести еще великое множество, примеров того, что Булгаков определенно ненавидит и презирает весь Совстрой, отрицает все его достижения.

Кроме того, книга пестрит порнографией, облеченной в деловой, якобы научный вид.

Таким образом, эта книжка угодит и злорадному обывателю, и легкомысленной дамочке и сладко пощекочет нервы просто развратному старичку. Есть верный, строгий и зоркий страж у Советской власти, это — Главлит, и если мое мнение не расходится с его, то эта книга света не увидит. Но разре-

шите отметить то обстоятельство, что эта книга (первая ее часть) уже прочитана аудитории в 48 человек, из которых 90 процентов – писатели сами. Поэтому ее роль, ее главное дело уже сделано, даже в том случае, если она и не будет пропущена Главлитом: она уже заразила писательские умы слушателей и обострит их перья. А то, что она не будет напечатана (если не будет), это-то и будет роскошным им, писателям, уроком на будущее время, уроком, как не нужно писать для того, чтобы пропустила цензура, то есть как опубликовать свои убеждения и пропаганду, но так, чтобы это увидело свет...

Мое личное мнение: такие вещи, прочитанные в самом блестящем московском литературном кружке, намного опаснее бесполезно-безвредных выступлений литераторов 101-го сорта на заседаниях «Всер<оссийского> Союза поэтов» [15; 103–105].

Сводка Секретного отдела ОГПУ № 122. 24 марта 1925 г.:

Вторая и последняя часть повести Булгакова «Собачье сердце», дочитанная им 21 марта 1925 г. на «Никитинском субботнике», вызвала сильное негодование двух бывших там писателей-коммунистов и всеобщий восторг всех остальных. Содержание этой финальной части сводится приблизительно к следующему: очеловеченная собака стала наглеть с каждым днем все более и более. Стала развратной: делала гнусные предложения горничной профессора. Но центр авторского глумления и обвинения зиждется на другом: на ношении собакой кожаной куртки, на требовании жилой площади, на проявлении коммунистического образа мышления. Все это вывело профессора из себя, и он разом покончил с созданным им самим несчастием, а именно: превра-

тил очеловеченную собаку в прежнего, обыкновеннейшего пса.

Если и подобные грубо замаскированные (ибо все это «очеловечение» — только подчеркнуто заметный, небрежный грим) выпады появляются на книжном рынке СССР, то белогвардейской загранице, изнемогающей не меньше нас от бумажного голода, а еще больше от бесплодных поисков оригинального, хлесткого сюжета, остается только завидовать исключительнейшим условиям для контрреволюционных авторов у нас [15; 106–107].

Из агентурно-осведомительной сводки ОГПУ № 4. 2 января 1926 г.:

<...> Желательно выявить физиономию писателя М. Булгакова, автора сборника «Дьяволиада», где повесть «Роковые яйца» обнаруживает его как типичного идеолога современной злопыхательствующей буржуазии.

Вещь чрезвычайно характерная для определенных кругов общества [15; 108–109].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Время шло, и над повестью «Собачье сердце» сгущались тучи, о которых мы и не подозревали.

«В один прекрасный вечер» — так начинаются все рассказы, — в один непрекрасный вечер на голубятню постучали (звонка у нас не было) и на мой вопрос «кто там?» бодрый голос арендатора ответил: «Это я, гостей к вам привел!»

На пороге стояли двое штатских: человек в пенсне и просто невысокого роста человек — следователь Славкин и его помощник с обыском. Арендатор пришел в качестве понятого. Булгакова не было дома, и я забеспокоилась: как-то примет

он приход «гостей», и попросила не приступать к обыску без хозяина, который вот-вот должен прийти.

Все прошли в комнату и сели. Арендатор, развалясь на кресле, в центре. Личность это была примечательная, на язык несдержанная, особенно после рюмки-другой... Молчание. Но длилось оно, к сожалению, недолго.

— А вы не слыхали анекдота, — начал арендатор... («Пронеси, Господи!» — подумала я.)

— Стоит еврей на Лубянской площади, а прохожий его спрашивает: «Не знаете ли вы, где тут Госстрах?»

— Госстрах не знаю, а госужас вот...

Раскатисто смеется сам рассказчик. Я бледно улыбаюсь. Славкин и его помощник безмолвствуют. Опять молчание — и вдруг знакомый стук.

Я бросилась открывать и сказала шепотом М. А.:

— Ты не волнуйся, Мака, у нас обыск.

Но он держался молодцом (дергаться он начал значительно позже). Славкин занялся книжными полками. «Пенсне» стало переворачивать кресла и колоть их длинной спицей.

И тут случилось неожиданное. М. А. сказал:

— Ну, Любаша, если твои кресла выстрелят, я не отвечаю. (Кресла были куплены мной на складе бесхозной мебели по 3 р. 50 коп. за штуку.)

И на нас обоих напал смех. Может быть, и нервный. Под утро зевающий арендатор спросил:

— А почему бы вам, товарищи, не перенести ваши операции на дневные часы?

Ему никто не ответил... Найдя на полке «Собачье сердце» и дневниковые записи, «гости» тотчас же уехали [4; 106–107].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Заявление в ОГПУ. 18 мая 1926 г.:*

При обыске, произведенном у меня представителями ОГПУ 7 мая 1926 г. (ордер 2287, дело 45), у меня были изъяты с соответствующим занесением в протокол – повесть моя «Собачье сердце» в 2 экземплярах на пишущей машинке и 3 тетради, написанные мною от руки, черновых мемуаров моих под заглавием «Мой дневник».

Ввиду того, что «Сердце» и «Дневник» необходимы мне в срочном порядке для дальнейших моих литературных работ, а «Дневник», кроме того, является для меня очень ценным интимным материалом, прошу о возвращении мне их [15; 129].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из протокола допроса ОГПУ. 22 сентября 1926 г.:*

Связавшись слишком крепкими корнями со строящейся Советской Россией, не представляю себе, как бы я мог существовать в качестве писателя вне ее. Советский строй считаю исключительно прочным. Вижу массу недостатков в современном быту и, благодаря складу моего ума, отношусь к ним сатирически и так и изображаю их в своих произведениях. <...>

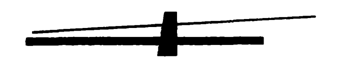
«Повесть о собачьем сердце» не напечатана по цензурным соображениям. Считаю, что произведение «Повесть о собачьем сердце» вышло гораздо более злободневным, чем я предполагал, создавая его, и причины запрещения печатания мне понятны. Очеловеченная собака Шарик получилась, с точки зрения профессора Преображенского, отрицательным типом, так как попала под влияние фракции. Это произведение я читал на «Никитинских субботниках», редактору «Недр» т. Ангарскому, и в кружке поэтов у Зайцева Петра Никаноровича, и в «Зеленой

лампе». В «Никитинских субботниках» было человек 40, в «Зеленой лампе» человек 15 и в кружке поэтов человек 20. Должен отметить, что неоднократно получал приглашения читать это произведение в разных местах и от них отказывался, так как понимал, что в своей сатире пересолил в смысле злостности и повесть возбуждает слишком пристальное внимание [15; 130, 132].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

По настоянию Горького, приблизительно через два года «Собачье сердце» было возвращено автору... [4; 107]





Театральный роман. Продолжение

Павел Александрович Марков:

«Дни Турбиных» стали своего рода новой «Чайкой» Художественного театра [5; 239].

Марк Исаакович Прудкин (1898–1994), *советский российский актер театра и кино:*

Начался сезон 1925/26 года. Художественный театр – в трудных поисках пьес современного репертуара. Ему нужны не схемы с сухими примитивными образами, а пьесы с живыми человеческими характерами. «Мы хотели, – как говорил К. С. Станиславский, – со всей глубиной поглядеть не на то, как ходят с красными флагами, а хотели заглянуть в революционную душу». Наша студийная молодежь, пришедшая в Художественный театр в прошлом сезоне, с присущей молодости энергией и смелостью начинает привлекать в театр новых, молодых драматургов.

Режиссер 2-й студии Борис Ильич Вершилов рассказал мне о своем знакомстве с молодым писателем Михаилом Афанасьевичем Булгаковым, который заинтересовал его своим еще не законченным романом «Белая гвардия» [5; 264].

Павел Александрович Марков:

О нем и о его романе «Белая гвардия» мы узнали в одну из наших встреч от всегда спокойного и размеренного Бориса Ильича Вершилова. Ему, в свою очередь, указал на булгаковский роман поэт Павел Антокольский. Когда мы прочли этот многоплановый, сложный, написанный в особой манере роман, многие из нас, молодых мхатовцев, были захвачены и покорены талантом Булгакова. На наше предложение инсценировать «Белую гвардию» Булгаков откликнулся охотно и энергично. <...>

Он принялся за работу над пьесой жадно и быстро. Но первый вариант его инсценировки поражал невиданным размером. Булгаков принес толстый, многостраничный фолиант, содержащий шестнадцать сцен и точно следовавший роману. И хотя совершенно очевидна была полная невозможность вместить содержание новоявленной пьесы в один вечер, уже появившиеся в театре поклонники Булгакова не отступались от идеи увидеть на сцене «Белую гвардию». Вскоре сам Булгаков понял, что путь точной инсценировки явно неплодотворен, и стал довольно решительно обращаться с действующими лицами романа, получив на то одобрение в театре, — его поддержал в этом в первую очередь И. Я. Судаков. (Первоначально режиссером будущего спектакля намечался Вершилов, но скрепя сердце он отошел от постановки, так как Станиславский привлек его в качестве режиссера к «Женитьбе Фигаро».) Судаков обладал бурным темпераментом: он чувствовал театр, законы сцены, которые Булгаков мгновенно с его помощью осваивал, осознавая их по-своему, Михаил Афанасьевич использовал советы Судакова неожиданно и тонко. Инсценировка постепенно превращалась в пьесу, действующие лица романа — военный врач

Турбин и полковник Най-Турс — слились в одно лицо со своим характером, не совпадающим ни с тем, ни с другим. Постепенно шестнадцать картин, которые составляли первый вариант «Турбиных», уплотнились в семь. Автор сумел выразить заложенный в романе конфликт особыми, сценическими средствами. Каждая фраза драматурга заключала многоплановый смысл. Булгаков мог разъяснить в любом действующем лице не только то, что показано на сцене, — он мог конкретно рассказать обо всех его особенностях, ежедневных привычках, в ярчайших эпизодах подробно изложить его биографию. Он все знал о каждом из персонажей «Турбиных», если даже этот человек произносил на сцене две-три реплики [11; 225–227].

Марк Исаакович Прудкин:

Мне вспоминается первое чтение пьесы М. А. Булгаковым перед труппой МХАТа в нижнем фойе театра. На чтении присутствовало старшее поколение мхатовцев — К. С. Станиславский, И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, М. М. Тарханов и молодежь. Михаил Афанасьевич, естественно, очень волновался. Шутка ли!.. Первая пьеса... Художественный театр!.. Он был бледен, непрерывно курил, пил воду, читал он превосходно; один за другим перед нами возникали образы героев пьесы, яркие, живые, четкие. Все слушали с большим вниманием, сопровождая смехом острые, полные юмора реплики действующих лиц, и с искренним волнением — драматические куски пьесы. По окончании чтения автора наградили дружными аплодисментами. Михаил Афанасьевич, радостный, смущенный, застенчиво улыбался, а мы, группа молодежи, окружили его, благодарили, жали ему руки и, конечно, втайне лелеяли надежду участвовать в его пьесе.

Хотя пьеса еще требовала дальнейшей доработки, для всех было ясно, что театр получает интересный драматургический материал с остро развивающимся сюжетом и с превосходными ролями, написанными свежо и не схематично, с живыми человеческими характерами, наделенными подлинными чувствами и переживаниями [5; 264–265].

Павел Александрович Марков:

Одновременно с окончанием литературной работы осуществлялось распределение ролей. Первоначально замысливалось объединить в спектакле «стариков» и молодежь. Возникло (правда, ненадолго) распределение ролей, по которому Алексея Турбина должен был играть Леонидов, Гетмана – Качалов, фон Шратта – один из старейших актеров театра Вишневский, Василису (в сцене, долго существовавшей в репетиционный период) – Тарханов. Уже вскоре исполнителем Алексея Турбина назывался Судаков, Николки – Ливанов, Лариосика – на первых порах Завадский, потом Вербицкий. Но «старики» постепенно отпадали, поскольку все точнее выявлялся *молодежный* характер спектакля. А молодежный спектакль был, как всегда, необходим театру. Молодые силы рвались наружу, и они нуждались в близкой им пьесе, в которой могли бы чувствовать себя свободнее, чем в ответственных вводах в старые спектакли, где тревожило творческое сравнение со «стариками». Они нуждались в некоем раскрепощении. Действительно, так и случилось в «Днях Турбиных», которые вдобавок воспринимались как остро современная пьеса: события, происходившие в ней, были отделены всего шестилетним промежутком времени, у многих они были на памяти. Но, конечно, современность пьесы определялась не только, вернее,

не столько временными рамками: за ними ощущалась революционная эпоха в целом, а главное — еще не угасшая проблема «приятия» и «неприятия» революции. В «Турбиных» весь коллектив видел ярко пропагандистскую пьесу. Мы полагали, что пора наглядной, прямой агитации прошла, и «Турбиных» считали не «военной» пьесой, а пьесой об интеллигенции. Нам казалось, что судьбы полюбившихся нам героев пьесы сами собой говорят за революцию. Мы определяли основное сквозное действие очень простыми, наивными, но для нас убедительными и раскрывающими смысл пьесы словами: «Даже самое хорошее, в человеческом смысле преимущественно, должно неизбежно погибнуть в белогвардейской среде» [11; 227–228].

Евгений Васильевич Калужский:

Все участники были буквально «влюблены» в пьесу и в свои роли. Работа шла с воодушевлением и очень дружно. Она была особенно дорога еще и потому, что это была первая самостоятельная работа молодой, обновленной в 1924 году труппы Художественного театра. Режиссером стал И. Я. Судаков. Центральные роли играли Соколова, Хмелев, Кудрявцев, Яншин, Добронравов, Вербицкий. Я получил роль Студзинского. Предполагалось, что из «стариков» будут заняты только В. Качалов в роли гетмана, Вишневский в роли немецкого майора фон Шратта и М. Тарханов в роли соседа Турбиных — обывателя Василисы. По ходу работы первые две роли окончательно перешли к Ершову и Станицыну, а третья была вычеркнута совсем.

На репетициях мы прежде всего удивлялись тому, что дельные советы, верные и тонкие замечания Булгакова были скорее замечаниями профессионального режиссера, а не автора.

Он умел выслушивать внимательно, благожелательно, без всякой «фанаберии». Тщательно обдумывал все советы по поводу отдельных кусков текста или толкования каких-нибудь сцен. Бывали споры, расхождения во мнениях, но обычно брал верх никогда не покидавший Булгакова здравый смысл [5; 244–245].

Валентин Петрович Катаев:

Пьеса в первом варианте, которую Булгаков нам читал, была не той пьесой, которую потом увидели зрители в МХАТе. Это была пьеса и романтическая, и сатирическая, многокартинная. Там было много ярких сценических образов, которые выпали. Тогда Художественный театр стремился к простоте, к камерности, и он немного по-другому транспонировал пьесу Булгакова. Я думаю, что это оказалось даже лучше. Ведь иногда интуиция актера и режиссера делает чудеса.

В пьесе «Дни Турбиных» есть образ студента Лариосика. Как скажешь «Лариосик», так вы сразу увидите худенького тогда Яншина. А у Булгакова он был задуман как здоровенный неуклюжий детина из провинции, который сразу стал неудобным человеком в доме. Эту комическую фигуру театр сделал совсем по-другому. Яншин и режиссура сделали Лариосика не таким, как написал Булгаков, но не хуже, а, может быть, даже лучше [5; 125–126].

Марк Исаакович Прудкин:

Редко можно встретить драматурга, который бы так полно, во всех мельчайших подробностях, увлекательно раскрывал перед нами созданные им человеческие характеры. Невозможно забыть его подсказ талантливой В. С. Соколовой, исполнительнице роли Елены Тальберг. Елена узнает, что ее брат Алек-

сей Турбин убит, — Михаил Афанасьевич посоветовал этот кусок в сцене сыграть так: Елена услыхала о смерти брата, она начинает метаться из угла в угол, прижав пальцы рук к вискам и тихо и монотонно, как заученный урок, повторяя слова: «Алешу убили... Алешу убили...» Этот подсказ был снайперский, он попадал зрителю в самое сердце и, что называется, хватал за горло.

Михаил Афанасьевич ценил тонкие артистические находки, преклонялся перед К. С. Станиславским, исполнителем роли Астрова в «Дяде Ване». Однажды на мой вопрос, как мне играть сцену объяснения Шервинского с Еленой, он ответил: «Смотрите и изучайте, как Константин Сергеевич играет в „Дяде Ване" сцену объяснения Астрова с Еленой Андреевной». И хотя чеховские герои были, конечно, совсем иными, чем герои Булгакова, творческий принцип должен был оставаться тем же [5; 266–267].

Евгений Васильевич Калужский:

Вскоре после начала репетиций исчезла и некоторая настороженность и замкнутость Булгакова. Сползла и «маска», которая, как оказалось, прикрывала его скромность и даже застенчивость. Взгляд его стал мягким и все чаще поблескивал. Улыбка становилась все обаятельнее и милее. Он стал какимто свободным, весь расправился, его движения, походка стали легкими и стремительными. Работа не только увлекала его, но, по-видимому, и удовлетворяла. Все чаще проявлялись его жизнелюбие и блестящий юмор. Отношения с Михаилом Афанасьевичем становились все более и более простыми, товарищескими. Иногда по окончании работ он вместе с занятыми в пьесе актерами, вдвоем или втроем, заходил посидеть часок, большей частью

в кафе на улице Горького, которое помещалось в несуществующем теперь старом доме между улицами Огарева и Неждановой. Там он раскрывался совершенно. Был очень остроумен, рассказывал разные эпизоды, иногда фантазировал [5; 245].

Павел Александрович Марков:

Станиславскому, относившемуся первоначально несколько недоверчиво к самой пьесе, спектакль был показан в фойе. Булгаков, Судаков и актеры оказались победителями. Константин Сергеевич был захвачен сложностью образов, отсутствием однозначности, свойственной большинству пьес этой поры, и бездонной искренностью актеров, полной отдачей себя ролям. Было какое-то мужественное и радостное отчаяние, с которым исполнители шли на решающий для себя экзамен. С юмором и скепсисом, за которыми скрывалось отчаяние драматурга-дебютанта, переживал этот показ Булгаков. Как всегда, на лице Станиславского (за которым все присутствовавшие следили едва ли не больше, чем за спектаклем) отражались все тончайшие детали спектакля.

Станиславский был одним из самых непосредственных зрителей. На показе «Турбиных» он открыто смеялся, плакал, внимательно следил за действием, грыз по обыкновению руку, сбрасывал пенсне, вытирал платком слезы, одним словом, он полностью жил спектаклем. И хотя своим прозорливым и пронзительным взглядом видел и недочеты и недоборы спектакля, он после конца просмотра хмыкнул, сказал свое: «Ну-с, можно завтра играть», что обычно означало начало длительной его личной работы. Правда, на этот раз он изменил себе: оставив в неприкосновенности почти весь актерский рисунок, занялся лишь отдельными сценами,

в частности поставил сцену «принос Николки». Этими немногочисленными встречами он пользовался для углубления понимания ролей. Более того, он давал общий камертон спектаклю, укрепляя его сценическую атмосферу [11; 229–230].

Федор Николаевич Михальский:

Генеральная репетиция прошла в бурных спорах, протестах части зрительного зала. С верхнего яруса раздавались свистки врагов этой пьесы. Вспоминаю театрального критика В. И. Блюма, ярого противника Художественного театра, кричавшего: «Как же можно допускать, чтобы я, смотря на этого офицера с черными усиками, вдруг находил в себе какие-то отзвуки симпатии к нему...» [5; 255].

Евгений Васильевич Калужский:

<...> Состоялась первая генеральная репетиция «Белой гвардии». Она имела громадный успех. Но этот успех оказался предвестником и началом продолжительной, упорной и настойчивой борьбы театра за дальнейшую жизнь пьесы и спектакля. Успех обострил усилия противников пьесы, добивавшихся ее снятия. Но в конце концов после дополнительных просмотров в сентябре пьеса была разрешена, но только Художественному театру. Тогда-то она и получила свое окончательное название «Дни Турбиных». Премьера состоялась 5 октября [5; 246].

Марк Исаакович Прудкин:

Название пьесы в процессе работы менялось несколько раз, пока, по предложению В. В. Лужского, не пришли к окончательному решению назвать ее «Дни Турбиных» [5; 264].

Павел Александрович Марков:

Спектакль по своей внешней форме мог казаться подчеркнуто традиционным, кричаще традиционным, но — только казаться. Художник Н. Ульянов почувствовал строгую выразительность пьесы, и он как бы отходил на второй план, становился как бы незаметен и неслышен. Но он до конца почувствовал атмосферу квартиры с кремовыми занавесками, с какой-то примирительно голубовато-серебристой окраской обоев, со строгими и точными линиями немного скошенной комнаты, без какого-либо увлечения бытовыми подробностями, со скудной и немногочисленной мебелью. В самом воздухе просто оформленной сцены ощущалась какая-то тревога. И ее-то, внутреннюю тревогу, передавал весь коллектив актеров — зараженных, мучимых, разбереженных ею. Тревога была в беспокойном ритме спектакля, в смене настроений, в поглощенности актеров заботами, более того — решением судеб своих героев.

Действующие лица «Турбиных» жили не домашними интересами, а своим, для многих неведомым будущим. Атмосфера ожидания, связанная с верой в будущее у одних, крушением иллюзий у других, объединяла исполнителей: она-то и определяла ритм спектакля. Побеждала вера, и это совпадало с тем, что наполняло существо актеров, вступивших на большой путь продолжателей искусства Художественного театра. Исполнители — а им было в середине двадцать шестого года лет по двадцать пять—двадцать семь — окунались в то, что они знали, что пережили, и ни один из них не оставался безразличным к пьесе.

Никак нельзя не отметить огромной роли И. Я. Судакова в создании спектакля, но без постоянного присутствия Булгакова такого спектакля, каким

оказались «Турбины», несмотря на блестящий коллектив актеров, не могло родиться. Судаков обладал энергией, знанием сцены, профессиональным умением, влюбленностью в пьесу, но Булгаков рассказывал, вводил в живую атмосферу, заражал симпатией и антипатией к действующим лицам, играл все роли, острил и раскрывал самое существо психологии Турбиных. Действовал он при этом не отвлеченными рассуждениями, а конкретно-образно, часто непосредственным показом. В результате коллектив, который после нескольких отборов оказался занятым в «Турбиных», во всех решительно случаях попадал в точку. Актеры уловили то сочетание трагического, комедийного и лирического, которое придавало спектаклю особое обаяние [11; 228–229].

Ирина Сергеевна Раабен:

Спектакль был потрясающий, потому что все было живо в памяти у людей. Были истерики, обмороки, семь человек увезла скорая помощь, потому что среди зрителей были люди, пережившие и Петлюру, и киевские эти ужасы, и вообще трудности гражданской войны... [5; 130]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Я стоял, стиснутый толпой, в боковом проходе верхнего яруса, как и все кругом, ошеломленный, потрясенный этим спектаклем, который с первой минуты захватил меня целиком. Мне все еще виделась белая лестница киевской Александровской гимназии с мечущимися по ней юнкерами и гимназистами. Вставало за окном багровое зарево, самоубийственной решимостью горели черные глаза Хмелева – Алексея. Николка – Кудрявцев с криком «Этого быть не может! Алеша, поднимись!»

подхватывал беспомощно катившееся по ступеням уже мертвое лицо и, хромая, бежал от стрелявших ему вслед по ногам петлюровцев. Мне все еще слышался тихий, неотступный, все один и тот же вопрос Елены — Соколовой: «Где Алексей?» — когда в турбинский дом принесли раненого Николку.

После этой сцены был антракт; в зале зажегся свет, капельдинеры отворили двери в фойе. Но ни один человек, буквально ни один, не вышел из зала, — так и остались все на своих местах, молчали или разговаривали вполголоса [5; 283–284].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Москвичи знают, каким успехом пользовалась пьеса. Знакомая наша присутствовала на спектакле, когда произошел характерный случай.

Шло 3-е действие «Дней Турбиных»... Батальон разгромлен. Город взят гайдамаками. Момент напряженный. В окне турбинского дома зарево. Елена с Лариосиком ждут. И вдруг слабый стук... Оба прислушиваются... Неожиданно из публики взволнованный женский голос: «Да открывайте же! Это свои!» Вот это слияние театра с жизнью, о котором только могут мечтать драматург, актер и режиссер [4; 120].

Валентин Петрович Катаев:

«Дни Турбиных» были громадной победой Булгакова. И Булгаков из прозаика превратился на некоторое время в знаменитого драматурга [5; 126].

Из агентурного донесения ОГПУ:

От интеллигенции злоба дня перекинулась к обывателям и даже рабочим. <...> Около Художествен-

ного театра стоит целая стена барышников, предлагающих билеты на «Дни Турбиных» по тройной цене, а на Столешниковом, у витрины фотографа весь день не расходится толпа, рассматривающая снимки постановки [15; 149].

Валентин Петрович Катаев:

Появление Булгакова в Художественном театре — это тоже некая комическая новелла из эпохи нашей работы в «Гудке».

Представьте себе редакцию газеты — большую накуренную комнату, в которой 5, 6 или 10 небритых молодых людей, пишущих заметки, фельетоны, обрабатывающих письма с мест.

И вообразите себе, что вдруг выясняется, что один из них давно написал пьесу, и она принята и пойдет в МХАТе, в лучшем театре мира. Страшно взбудоражен был весь «Гудок». Булгаков стал ходить в хорошем костюме и в галстуке. Но вдруг оказалось, что через некоторое время появляется пьеса другого гудковца, потом появляется пьеса третья, тоже гудковца, мои «Растратчики» и «Три толстяка» Олеши. Тогда все сотрудники «Гудка» перестали заниматься своими делами и начали писать пьесы. Когда бы вы ни пришли в «Гудок», у всех на столах лежат пачки бумаги и все пишут пьесы для Художественного театра.

Это было очень смешно и странно, что почему-то из железнодорожной газеты вышли авторы Художественного театра. Даже Станиславский был дезориентирован. И когда его спросили, работает ли театр с рабочими авторами, он не без гордости ответил: «Как же, как же, разве вы не знаете, что у нас идет пьеса железнодорожника Булгакова и готовятся еще две пьесы железнодорожников» [5; 124–125].

Арон Исаевич Эрлих:

Теперь нередко в нашем «клубе», – в комнате «Четвертой полосы», – вместо изощренных и шумных, веселых или злых шуток друг над другом мы заняты разговорами о пьесе нашего товарища. М. Булгаков делится с нами последней беседой с молодым Хмелевым, который будет исполнять трагическую роль старшего из братьев Турбиных, полковника старой армии, или с еще более молодым Яншиным, которому в пьесе поручена комическая роль Лариосика, или потешает нас юмористическим пересказом своих встреч с К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко. <…>

Однажды в комнату «Четвертой полосы» занесена была странная весть: в витрине художественного ателье на Кузнецком мосту выставлен некий портрет, – новый, прежде его не было… Если бы не монокль с тесемкой, не аристократическая осанка в повороте головы, не легкая надменная гримаса левой половины лица, вызванная необходимостью зажимать подбровными мускулами оптическое приспособление, можно бы побиться об заклад, что это… это Михаил Афанасьевич… это Булгаков!

Как-то мимоходом мы проверили, – так оно и оказалось: он!..

Булгаков с моноклем, быть может, единственным в ту пору на всю страну…

Не помню, кто из нас заметил тогда:

– Какой экспонат!

В первое мгновение никто не оценил всей значительности этого возгласа.

– Находка. Лучшее украшение для нашей выставки, – последовало разъяснение. – Купим? Один экземпляр в «Сопли и вопли».

Так мы и сделали. Наша настенная выставка всевозможных курьезов и нелепостей пополнилась новым экспонатом — портретом М. Булгакова с моноклем.

<...> Однажды он зашел в комнату «Четвертой полосы» и тотчас увидел собственный портрет среди прочих подробностей нашей веселой выставки. Была долгая пауза.

Потом он обернулся, вопросительно оглядел всех нас и вдруг расхохотался.

– Подписи не хватает, — сказал он. — Объявить конкурс на лучшую подпись к этому портрету!.. Где достали? У Наппельбаума?

Мы никогда больше не видели его с моноклем [16; 68, 74–76].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Говоря о «Днях Турбиных», уместно упомянуть и о первом критике пьесы. Однажды у нас появился незнакомый мрачный человек в очках — Левушка Остроумов (так назвали его потом у Ляминых) и отчитал М. А., сказав, что пьеса написана плохо, что в ней не соблюдены классические каноны. Он долго и недружелюбно бубнил, часто упоминая Аристотеля. М. А. не сказал ни слова. Потом критик ушел, обменяв галоши...

Несколько позже критик Садко в статье «Начало конца МХАТа» («Жизнь искусства», 43, 1927 г.) неистовствует по поводу возобновления пьесы «Дни Турбиных». Он называет Булгакова «пророком и апостолом российской обывательщины» (стр. 7), а самое пьесу «пошлейшей из пьес десятилетия» (стр. 8).

Критик пророчит гибель театру и добавляет зловеще: как веревка поддерживает повесившегося, так и успех пьесы, сборы, которые она делает,

не спасут Московский Художественный театр от смерти.

Когда сейчас перечитываешь рецензии тех лет, поражаешься необыкновенной грубости. Даже тонкий эрудит Луначарский не удержался, чтобы не лягнуть Булгакова, написав, что в пьесе «Дни Турбиных» – атмосфера собачьей свадьбы («Известия», 8 октября 1926 г.). Михаил Афанасьевич мудро и сдержанно (пока!) относится ко всем этим выпадам [4; 132–133].

Борис Сергеевич Ромашов (1895–1958), *драматург. Из внутренней рецензии на пьесу М. А. Булгакова «Дни Турбиных». Из личного дела М. Булгакова:*

Пьеса Булгакова явилась первым опытом старого МХАТа в области современного репертуара. Опыт, должно подчеркнуть, не удался во многих отношениях.

«Дни Турбиных» пытаются дать «эпическое полотно» эпохи Гражданской войны, <...> но вместо эпического полотна перед зрителем ряд несвязанных эпизодов. <...> Сосредоточивая внимание на жизни Турбиных (совершенно из «Трех сестер» Чехова), автор совершает грубейшую ошибку, пытаясь показать подобным образом белогвардейщину, в розовых, уютных красках рисуя ее «героев». <...> Отсутствие социального подхода, стремление уйти в уютное гнездышко, спрятав голову подобно страусу, делает всю картину нарочито фальшивой и идеологически неприемлемой.

И никакой эпохи не может быть за кремовыми шторами, ибо нельзя и смешно пытаться дать эпическое полотно, не поднявшись на те колосники, откуда видны социально-классовые корни и границы революции.

МХАТ ставит эту пьесу со всеми атрибутами чеховщины. Система Станиславского возобновляется во всей своей широте (хотя сам создатель системы недавно в своей книге отказался от нее). Получается урок из давнего прошлого. И все эти приемчики натуралистической игры, виртуозное ведение диалога, истерия и т. п. производят впечатление на публику. Большое мастерство и культура несомненно налицо в актерском исполнении. Но тем хуже для спектакля. Как раз этот подход усиливает фальшивость самой пьесы. <...>

Никак нельзя говорить о современности в этом спектакле, совершенно чуждом новому зрителю! <...>

Новый театр должен противопоставить подобным пьесам действительно здоровую вещь, написанную во всеоружии классового анализа событий без «турбинских» извращений [15; 148–149].

Эмилий Львович Миндлин:

Чуть ли не каждый день то в одной, то в другой газете появлялись негодующие статьи. Карикатуристы изображали Булгакова не иначе как в виде белогвардейского офицера. Ругали и МХАТ, посмевший сыграть пьесу о «добрых и милых белогвардейцах». Раздавались требования запретить спектакль. Десятки диспутов были посвящены «Дням Турбиных» во МХАТе. На диспутах постановка «Дней Турбиных» трактовалась чуть ли не как диверсия на театре. Запомнился один такой диспут в Доме печати на Никитском бульваре. На нем ругательски ругали не столько Булгакова (о нем, мол, уже и говорить даже не стоило!), сколько МХАТ. Небезызвестный в ту пору газетный работник Грандов так и сказал с трибуны: «МХАТ — это змея, которую совет-

ская власть понапрасну пригрела на своей широкой груди!» <...>

Более других неистовствовал видный в Москве журналист Орлинский. В короткий срок этот человек прославился своими фанатичными выступлениями против Булгакова и его пьесы «Дни Турбиных».

Орлинский не только призывал на страницах газет к походу против «Дней Турбиных», но подобными призывами заканчивал каждую из бесчисленных речей на антибулгаковских диспутах.

Михаил Афанасьевич избегал посещать эти диспуты. На некоторые его приглашали, он обычно отказывался. Однако имя Орлинского так приелось ему, он уже столько наслышался о своем лютом противнике, что однажды не выдержал и, как всегда, светски подобранный, одетый безукоризненно, явился на диспут, где ораторствовал Орлинский.

Диспут состоялся в здании театра Мейерхольда на Триумфальной площади, теперь площади Маяковского.

Появление автора «Дней Турбиных» в зале, настроенном в большинстве недружелюбно к нему, произвело ошеломляющее впечатление. Никто не ожидал, что Булгаков решится прийти. Послышались крики: «На сцену! На сцену его!»

По-видимому, не сомневались, что Булгаков пришел каяться и бить себя кулаками в грудь. Ожидать этого могли только те, кто не знал Михаила Афанасьевича.

Преисполненный собственного достоинства, с высоко поднятой головой, он медленно взошел по мосткам на сцену. За столом президиума сидели участники диспута и среди них готовый к атаке Орлинский.

Булгаков спокойно слушал ораторов, как пытавшихся его защищать, так и старых его обвинителей во главе с Орлинским.

Наконец предоставили слово автору «Дней Турбиных». Булгаков начал с полемики, утверждал, что Орлинский пишет об эпохе Турбиных, не зная этой эпохи, рассказал о своих взаимоотношениях с МХАТом. И неожиданно закончил тем, ради чего он, собственно, и пришел на диспут.

– Покорнейше благодарю за доставленное удовольствие. Я пришел сюда только затем, чтобы посмотреть, что это за товарищ Орлинский, который с таким прилежанием занимается моей скромной особой и с такой злобой травит меня на протяжении многих месяцев. Наконец я увидел живого Орлинского. Я удовлетворен. Благодарю вас. Честь имею.

Не торопясь, с гордо поднятой головой, он спустился со сцены в зал и с видом человека, достигшего своей цели, направился к выходу при оглушительном молчании публики.

Шум поднялся, когда Булгакова уже не было в зале [5; 150–152].

Из агентурного донесения ОГПУ:

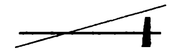
Начали такую бомбардировку, что заинтересовали всю Москву. <...> Проведено так организованно, что не подточишь и булавки, а все это — вода на мельницу автора и МХАТа. <...> Пьеса ничего особенного не представляет. <...> Всю шумиху подняли журналисты и взбудоражили обывательскую массу. <...>

Во всяком случае, «Дни Турбиных» — единственная злоба дня за эти лето и осень в Москве среди обывателей и интеллигенции. Какого-нибудь эффектного конца ждут все с большим возбуждением [15; 150].

Из докладной начальника Пятого отделения ОГПУ А. Ф. Рутковского. 18 октября 1926 г.:

Вся интеллигенция Москвы говорит о «Днях Турбиных» и о Булгакове.

В нескольких местах пришлось слышать, будто Булгаков несколько раз вызывался (и даже привозился) в ГПУ, где по четыре и шесть часов допрашивался. Многие гадают, что с ним теперь сделают: посадят ли в Бутырки, вышлют ли в Нарым или за границу [15; 137].



В пору расцвета

Сергей Александрович Ермолинский:

Годы совместной жизни с Любовью Евгеньевной, думаю, едва ли не были самыми счастливыми в писательской биографии Булгакова. Я подчеркиваю — счастливыми, хотя это может показаться неожиданным. Ведь именно тогда на него обрушился, как я уже говорил, буквально шквал самой грубой критики. К его имени прилепили, как каинову печать, обобщающее словцо «булгаковщина». Но ведь при всем нервном напряжении, какое ему пришлось вынести, он жил! Он находился в центре кипучих театральных битв! Он действовал! Он боролся! Он был «на коне»! Он был в славе! Когда он приходил ужинать в «Кружок», где собирались писатели и актеры (как нынче в Доме литераторов или в Доме актера), его появление сопровождалось оживленным шепотом. К нему, услужающе юля, подбегал подвизавшийся в «Кружке» тапер и, приняв заказ, тотчас возвращался к роялю и отбарабанивал в усладу знаменитому гостю модный фокстротик (кажется, «Аллилуйя»). Если в бильярдной находился в это время Маяковский и Булгаков направлялся туда, за ним устремлялись любопытные. Еще бы —

Михаил Булгаков и Маяковский! Того гляди, разразится скандал.
Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался блеснуть ударом. Маяковский, насколько помню, играл лучше — выхватка была игроцкая.
— От двух бортов в середину, — говорил Булгаков. Промах.
— Бывает, — сочувствовал Маяковский, похаживая вокруг стола и выбирая удобную позицию. — Турбинчики — это вещь! Разбогатеете окончательно на своих тетях Манях и дядях Ванях, выстроите загородный дом и огромный собственный бильярд. Непременно навещу и потренирую.
— Благодарствую. Какой уж там дом.
— А почему бы?
— О, Владимир Владимирович, и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.
Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой:
— Абсолютно согласен.
Независимо от результата игры прощались дружески. И все расходились разочарованные.
Для многих, даже близких, людей, особенно для приятелей, охотно прилеплявшихся к нему, его жизнь в те годы представлялась на зависть яркой, необычной, в непрерывном ожидании новых взрывов и ошеломлений. С внешней стороны вроде бы так и было. Казалось, он достиг прочного положения; как ни старалась критика, которая стала похожа уже на травлю, но она только подогревала его успех! И он, встречаемый поклонниками, путешествовал по Крыму, в Ялту, в волошинский Коктебель, оттуда в Батум, в Тифлис и, наконец, в тот самый Владикавказ, где еще совсем

недавно бедствовал... А дома его ждала полная чаша! Он уже переехал на Большую Пироговскую, его окружали друзья. Среди них — первые признавшие его интеллектуалы Пречистенки <...>. Чуть не каждый день прибегали «турбинцы», влюбленные в него молодые мхатовцы, готовые, казалось, разделить с ним все возможные превратности его писательской судьбы... Словом, жилось на широкую ногу, весело, может быть, чуть бестолково [8; 30–31].

Эмилий Львович Миндлин:

На время — но только на недолгое время, пока «Дни Турбиных» еще не были сняты с репертуара, положение Булгакова изменилось. Он мог позволить себе уже не писать фельетон за фельетоном чуть ли не каждый день. Он больше не жаловался, что не остается «времени для себя», то есть для большой серьезной работы. Появились деньги — он сам говорил, что иногда даже не знает, что делать с ними. Хотелось бы, например, купить для кабинета ковер. Имеет право писатель украсить свой кабинет ковром? Но, помилуйте, купишь ковер, постелешь, а тут, изволите ли видеть, придет вдруг инспектор, увидит ковер и решит, что недостаточно обложил тебя, — не иначе как писатель скрывает свои доходы!.. И таким наложищем обложит, что и ковру рад не будешь, и дай боже, чтоб на пару штанов осталось!

Писатели в ту пору должны были так же, как и «частники» и «ремесленники», подавать декларации о своих доходах, а Булгаков, бывший тогда особенно на виду, почему-то вызывал постоянное недоверие своего фининспектора. Должно быть, из-за недружелюбных статей о Михаиле Булгакове в разных газетах. Впрочем, материальное благоденствие Бул-

гакова длилось не так уж и долго. Пьесу с репертуара сняли, печатать его перестали.
Но если его не печатали, то не могли помешать ему участвовать в публичных литературных спорах. В стенах Большой аудитории Политехнического музея они почти прекратились. Но в «Доме Герцена» на Тверском бульваре, 25, еще продолжались, правда, не с прежней страстностью и все реже и реже.
На одном из них выступил и Булгаков.
Василий Львович Львов-Рогачевский был добрый, доброжелательный ко всем человек, но едва ли взыскательный критик. Он принадлежал к категории милых и мягких людей, способных только хвалить, говорить о других приятное и совершенно неспособных бранить, осуждать.
И искренне, празднично радовался, когда в литературе объявлялось новое имя.
Из Харькова ему прислали три или четыре тонюсенькиx книжечки-тетрадочки рассказов неизвестных писателей.
Василий Львович принес эти тетрадочки в «Дом Герцена» и восторженно стал говорить о новой плеяде открытых им в Харькове писателей. Он показывал собранию книжечки этих писателей, много говорил о таланте каждого, об их свежем взгляде на мир, называл их первыми ласточками «новой литературной весны». Подчеркивал необыкновенную значимость того, что молодые эти писатели появились в провинции, и пророчил, что именно из провинции следует ожидать нового, счастливого, блестящего пополнения современных литературных трудов.
Булгаков сидел неподалеку от Львова-Рогачевского, и, когда тот положил книжечки на сукно стола, Михаил Афанасьевич пододвинул все их к себе и стал

перелистывать, в то время как Львов-Рогачевский продолжал говорить. А когда кончил, Михаил Афанасьевич поднялся с книжечками в руках. Он просил разрешения сказать несколько слов об этих писателях. Конечно, он не успел познакомиться с их рассказами сколько-нибудь всерьез. Но, видите ли, уважаемые товарищи, нельзя судить о характере творчества того или иного писателя, не прочитав хотя бы самое главное из всего, что этим писателем было написано. Но, право же, судить о том, писатель ли это вообще, можно, выбрав наугад, взяв, так сказать «на ощупь», даже несколько строк из любой его написанной книги.

Так вот он, М. А. Булгаков, сидя здесь за столом, только что успел взять наугад, «на ощупь» всего лишь несколько строк из страниц расхваленного Василием Львовичем писателя города Харькова. Не угодно ли собранию членов «Литературного звена» прослушать одну страницу из книжки превознесенного профессором Львовым-Рогачевским рвущегося в литературу молодого писателя?

И Булгаков артистически прочитал собравшимся эту страницу. Я не помню ни имени этого никому не известного автора, ни даже того, о чем говорилось на этой странице, за исключением строк, встреченных хохотом зала. Смеялся даже Василий Львович Львов-Рогачевский, за двадцать минут до этого предсказывавший автору этой странички грядущую славу писателя.

Это был рассказ о любви двух рабочих — Тани и Вани. Что предшествовало злополучной странице и что следовало за ней — не знаю. Да из всей прочитанной Булгаковым страницы и запомнилось только, что Таня и Ваня, обнявшись, лежали в кустах и как настоящие (по мысли бедного автора) пролетарии шептались... не о том, что он любит ее, а она

его, и вообще не о том, что было бы естественно в их положении. Ваня и Таня, обнимаясь в кустах, шептались… о мировой революции. И когда Ваня попросил Таню что-нибудь спеть ему, только потише, чтобы посторонние их не открыли, Таня шепотком спела своему возлюбленному… «Интернационал»!

— И вы выдаете это за образец рабочей, пролетарской любви? — возмущенно спрашивал Михаил Афанасьевич. — Вы называете автора талантом, подающим большие надежды, сулите славу в литературе, сбиваете с толку рабочего парня, которому вкус испортила наша же критика!

Нет-с. Извините. Булгаков отказывался признавать подобные вещи фактом русской литературы. И вдруг перешел к тому, что даже самого скромного русского литератора обязывает уже то одно, что в России было «явление Льва Толстого русским читателям».

— Явление Христа народу! — выкрикнул кто-то из недоброжелателей Михаила Булгакова.

Булгаков ответил, что для него явление Толстого в русской литературе значит то же, что для верующего христианина евангельский рассказ о явлении Христа народу.

— После Толстого нельзя жить и работать в литературе так, словно не было никакого Толстого. То, что он был, я не боюсь сказать: то, что было явление Льва Николаевича Толстого, обязывает каждого русского писателя после Толстого, независимо от размеров его таланта, быть беспощадно строгим к себе. И к другим, — выдержав паузу, добавил Булгаков.

И только сейчас обнаружилось, что в зале сидит Серафимович. До сих пор он не подавал голоса, был невидим за спинами заслонявших его членов «Литературного звена» — как всегда, с выпущен-

ным поверх пиджака широким воротником рубашки «апаш».

– Однако и у Льва Николаевича бывали огрехи в его работе, – прозвучал вдруг голос Серафимовича. – Михаил Афанасьевич напрасно считает, что у Льва Николаевича ни одной непогрешимой строки!

– Ни одной! – убежденно, страстно сказал Булгаков. – Совершенно убежден, что каждая строка Льва Николаевича – настоящее чудо. И пройдет еще пятьдесят лет, сто лет, пятьсот, а все равно Толстого люди будут воспринимать как чудо!

И вновь повторил, что непростительная снисходительность Львова-Рогачевского к плохим, стыдным, беспомощным литературным произведениям может быть объяснена только тем, что уважаемый Василий Львович на время просто позабыл о том, что русским читателям являлся сам Лев Николаевич Толстой!

Львов-Рогачевский не стерпел. Если, как этого требует Михаил Афанасьевич, каждого писателя сравнивать со Львом Толстым, то тогда вообще ни одного писателя не останется.

Булгаков огорчился, что Львов-Рогачевский его не понял. Если бы он думал так, как толкует его слова Василий Львович, то Булгаков должен был бы сам немедленно прекратить работу в литературе. Помилуйте, Василий Львович, кому же может прийти на ум требовать, чтобы каждый новый писатель был равен Льву Николаевичу Толстому? Смешно. Нет, этого он, слава богу, не требовал – еще не сошел с ума. Он требовал и требует, чтобы самый факт существования в нашей литературе Толстого был фактом, обязывающим любого писателя.

– Обязывающим к чему? – спросил кто-то из зала.

— К совершенной правде мысли и слова, — провозгласил Булгаков. — К искренности до дна. К тому, чтобы знать, чему, какому добру послужит то, что ты пишешь! К беспощадной нетерпимости ко всякой неправде в собственных сочинениях! Вот к чему нас обязывает то, что в России был Лев Толстой!

Одно из самых последних собраний в «Доме Герцена» было «булгаковским». Тон на этом собрании задал Булгаков [5; 152–156].

Елена Сергеевна Булгакова:

Раскольников, Федор Федорович, бывший в то время (примерно, год 1929-й) начальником Главреперткома, написал пьесу «Робеспьер». Он предложил Никитиной, что прочтет ее на одном из никитинских субботников.

Публики собралось необыкновенно много, причем было несколько худруков, вроде Берсенева, Таирова, еще кое-кого — забыла. Актеры были — из подхалимов.

Миша сидел крайним около прохода ряду в четвертом, как ему помнится.

Раскольников кончил чтение и сказал после весьма продолжительных оваций:

— Теперь будет обсуждение? Ну что ж, товарищи, давайте, давайте...

Сказал это начальственно-снисходительно. И Миша тут же решил выступить, не снеся этого тона. Поднял руку.

— Берсенев Иван Николаевич, Александр Яковлевич Таиров... — перечислял и записывал ведущий собрание человек... (Не помню — кто был третьим)... Булгаков... (человек сказал несколько боязливо)... (Дальше пошли другие, поднявшие руки.)

Начал Берсенев.

– Так вот, товарищи... мы только что выслушали замечательное произведение нашего дорогого Федора Федоровича! (Несколько подхалимов воспользовались случаем и опять зааплодировали.) Скажу прямо, скажу коротко. Я слышал в своей жизни много потрясающих пьес, но такой необычайно подействовавшей на меня, такой... я бы сказал, перевернувшей меня, мою душу, мое сознание... – нет, такой – я еще не слышал! Я сидел как завороженный, я не мог опомниться все время... мне трудно говорить, так я взволнован! Это событие, товарищи! Мы присутствуем при событии! Чувства меня... мне... мешают говорить! Что я могу сказать? Спасибо, низкий поклон вам, Федор Федорович! (И Берсенев поклонился низко Раскольникову под бурные овации зала.)
(Да, а Раскольников, сказав: «Давайте, давайте, товарищи...», сошел с эстрады и сел в третьем ряду, как раз перед Мишей.)
– Следующий, товарищи! – сказал председатель собрания. – А! Многоуважаемый Александр Яковлевич!
И Таиров начал, слегка задыхаясь:
– Да, товарищи, нелегкая задача – выступить с оценкой такого произведения, какое нам выпала честь слышать сейчас! За свою жизнь я бывал много раз на обсуждении пьес Шекспира, Мольера, древних Софокла, Еврипида... Но, товарищи, пьесы эти, при всем том, что они, конечно, великолепны, – все же как-то далеки от нас! (Гул в зале: пьеса-то тоже несовременная!..) Товарищи!! Да! Пьеса несовременная, но! Наш дорогой Федор Федорович именно гениально сделал то, что, взяв несовременную тему, он разрешает ее таким неожиданным образом, что она становится нам необыкновенно близкой, мы как бы живем во время Робеспьера,

во время Французской революции! (Гул, но слов разобрать невозможно.) Товарищи! Товарищи!! Пьеса нашего любимого Федора Федоровича – это такая пьеса, поставить которую будет величайшим счастьем для всякого театра, для всякого режиссера. (И Таиров, сложив руки крестом на груди, а потом беспомощно разведя руками, пошел на свое место под еще более бурные овации подхалимов.)
Затем выступил кто-то третий и сказал:
– Я, конечно, вполне присоединяюсь к предыдущим ораторам в их высокой оценке пьесы нашего многоуважаемого Федора Федоровича! Я только поражен, каким образом выступавшие ораторы не заметили главного в этом удивительном произведении?! Языка!! Я много в своей жизни читал замечательных писателей, я очень ценю, люблю язык Тургенева, Толстого! Но то, что мы слышали сегодня – меня потрясло! Какое богатство языка! Какое разнообразие! Какое – я бы сказал – *своеобразие*! Эта пьеса войдет в золотой фонд нашей литературы хотя бы по своему языковому богатству! Ура! (Кто-то подхватил, поднялись аплодисменты.)
– Кто у нас теперь? – сказал председатель. – Ах, товарищ Булгаков! Прошу.
Миша встал, но не сошел со своего места, а начал говорить, глядя на шею Раскольникова, сидящего, как известно, перед ним.
– Дда... Я внимательно слушал выступления предыдущих ораторов... очень внимательно... (Раскольников вздрогнул.) Иван Николаевич Берсенев сказал, что ни одна пьеса в жизни его не взволновала так, как пьеса товарища Раскольникова. Может быть, может быть... Я только скажу, что мне искренне жаль Ивана Николаевича, ведь он работает в театре актером, режиссером, художественным руководителем, наконец, – уже много лет. И вот, оказыва-

ется, ему приходилось работать всегда на материале, оставлявшем его холодным. И только сегодня... Жаль, жаль... Точно также я не совсем понял Александра Яковлевича Таирова. Он сравнивал пьесу товарища Раскольникова с Шекспиром и Мольером. Я очень люблю Мольера. И люблю его не только за темы его пьес (которые он берет для своих пьес), за характеры его героев, но и за удивительно сильную драматургическую технику. Каждое появление действующего лица у Мольера необходимо, обоснованно, интрига закручена так, что звена вынуть нельзя. Здесь же, в пьесе т. Раскольникова (шея Раскольникова покраснела), ничего не поймешь что к чему, почему выходит на сцену это действующее лицо, а не другое. Почему оно уходит? Первый акт можно свободно выбросить, второй перенести... Как на даче в любительском спектакле! Что же касается языка, то мне просто как-то обидно за выступавшего оратора, что до сих пор он не слышал лучшего языка, чем в пьесе т. Раскольникова. Он говорил здесь о своеобразии. Да, конечно, это своеобразный язык... вот, позвольте, я записал несколько выражений, особенно поразивших меня... «Он всосал с молоком матери этот революционный пыл»...

Да...

Ну, что ж, бывает. Не удалась пьеса. Не удалась. После этого, как говорил Миша, произошло то, что бывает на базаре, когда кто-нибудь первый бросил кирпич в стену.

Начался бедлам.

Следующие ораторы предлагали действительно выкинуть какие-то сцены, действующих лиц...

Собрание закончилось. «А сейчас Иван Иванович исполнит полонез Шопена». Шея у Раскольникова стала темно-синей, налилась.

Миша поднялся и направился к выходу. Почувствовав на спине холодок, обернулся и увидел ненавидящие глаза Раскольникова. Рука его тянулась к карману. Миша повернулся к двери. «Выстрелит в спину?» [7; 304–306]

Евгений Васильевич Калужский:

Он много работал и наконец прочел Художественному театру свою новую пьесу «Бег». Было это году в 1928-м, помнится, осенью [5; 247].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

К сожалению, я сейчас не вспомню, какими военными источниками, кроме воспоминаний генерала Слащева (Я. А. Слащев, *Крым в 1920 году. Отрывки из воспоминаний с предисловием Д. Фурманова*. М.–Л., Гослитиздат, 1924), пользовался М. А., работая над «Бегом». Помню, что на одной карте были изображены все военные передвижения красных и белых войск и показаны, как это и полагается на военных картах, мельчайшие населенные пункты.

Карту мы раскладывали и, сверяя ее с текстом книги, прочерчивали путь наступления красных и отступления белых, поэтому в пьесе так много подлинных названий, связанных с историческими боями и передвижениями войск: Перекоп, Сиваш, Чонгар, Курчулан, Алманайка, Бабий Гай, Арабатская стрелка, Таганаш, Юшунь, Керман-Кемальчи...

Чтобы надышаться атмосферой Константинополя, в котором я прожила несколько месяцев, М. А. просил меня рассказывать о городе. Я рассказывала, а он как художник брал только самые яркие пятна, нужные ему для сценического изображения.

Крики, суета, интернациональная толпа большого восточного города показаны им выразительно и правдиво (напомню, что Константинополь в то

время был в ведении представителей Франции, Англии, Италии. Внутренний порядок охраняла международная полиция. Султан номинально еще существовал, но по ту сторону Босфора, на азиатском берегу, уже постреливал Кемаль).
Что касается «тараканьих бегов», то они с необыкновенным булгаковским блеском и фантазией родились из рассказа Аркадия Аверченко «Константинопольский зверинец», где автор делится своими константинопольскими впечатлениями тех лет. На самом деле, конечно, никаких тараканьих бегов не существовало. Это лишь горькая гипербола и символ — вот, мол, ничего иного эмигрантам не остается, кроме тараканьих бегов [4; 175–176].

Евгений Васильевич Калужский:

Мастерское чтение «Бега» еще усилило и без того сильное впечатление от пьесы. В день чтения в театре было праздничное настроение. Радовала и новая превосходная пьеса, радовали и прекрасные роли. Радовались, но все же где-то глубоко в сознании прятались и опасения.
Очень запомнились О. Л. Книппер-Чехова и М. П. Лилина, которые внимательно слушали пьесу. Как и все актрисы, они страдали от того, что в пьесах обычно больше мужских ролей, чем женских. В списке действующих лиц их сразу заинтересовала некая Барабанчикова, хотя, по ремарке автора, она существовала только в воображении генерала Чарноты, одного из главных действующих лиц пьесы. Как только автор прочел, что Барабанчикова, лежавшая в начале пьесы укрытая с головой попоной, на церковной скамейке, «шевельнулась и простонала», Ольга Леонардовна и Мария Петровна многозначительно переглянулись и обе замерли в ожидании дальнейшего. После первой ее реплики с Голубко-

вым и химиком Махровым (а на самом деле епископом Африканом) они пришли в восторг и стали перешептываться. Надо было видеть их недоумение и разочарование, когда Барабанчикова оказалась переодетым в женское платье генералом Чарнотой. Тем не менее они вместе со всеми от всего сердца смеялись и аплодировали автору. В перерыве они со смехом рассказывали, как обе обрадовались роли, подходившей им по возрасту, как пришли в восторг от ее текста и как мечтали вместе репетировать и играть ее.

Состав исполнителей был очень сильный и интересный (Серафима – Соколова, Голубков – Яншин, Африкан – Москвин, Чарнота – Добронравов, Люська – Андровская, де Бризар – Прудкин, Хлудов – Хмелев, Корзухин – Ершов) [5; 247–248].

Павел Александрович Марков:

Когда Булгаков читал первые сцены «Бега», они сразу пленили, взяли за сердце. «Бег» он написал для той же группы актеров, сыгравших Турбиных. Но, сочиняя «Бег» в расчете на ряд исполнителей, он отнюдь не подлаживался к ним, а, скорее, учитывал свойства их обаяния и масштабы дарования, отнюдь не предполагая, что они пойдут по проторенному пути. Он писал, так сказать, не «под актеров», а «для актеров», в чем я вижу существенную разницу. Он с необыкновенной зоркостью понял трагедийную основу таланта Хмелева, после Алексея Турбина видя его в генерале Хлудове, или лирическое зерно Яншина, предлагая ему вслед за Лариосиком – Голубкова в «Беге». Он помогал актерам, творчески толкал их вперед. <...>

«Бег» начали репетировать сразу. В эскизах декораций Владимир Владимирович Дмитриев вскрывал трагедийную сущность пьесы. Но репетиции шли

еще в фойе, когда пришло неожиданное запрещение, особенно удивившее потому, что на этот раз пьеса имела такого защитника, как Горький. Театр энергично боролся за пьесу. В течение двух-трех сезонов возобновлялись репетиции, но «Бег» так и не был поставлен.

Запрещение «Бега» было горьким ударом для всей молодой труппы театра, а для Булгакова — почти катастрофой. Но, крайне ранимый, он обладал необыкновенной душевной силой. Он вообще был соткан из противоречий, как всякий человек сложнейшей душевной организации. Он мог выстоять против жестоких несправедливостей, связанных с запрещением его пьес, но мог обидеться, глубоко запрятать обиду от одного неосторожного или легкомысленного слова друга [5; 242–243].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

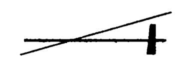
Пьесу Московский Художественный театр принял и уже начал репетировать. <...> Ужасен был удар, когда ее запретили. Как будто в доме появился покойник... [4; 176–177]

Евгений Васильевич Калужский:

Булгаков ни разу не обмолвился о себе или о своих интересах. Его мучило то положение, в которое он, как казалось, невольно поставил театр. В то время на Художественный театр было и без того много нападок за его якобы отставание от современности, неспособность отобразить ее, за мертвую академичность. Михаил Афанасьевич похудел, осунулся, во взгляде появились настороженность и печаль. Однако присутствия духа не терял и нет-нет весь озарялся юмором, этим лучшим помощником в трудностях и в беде.

Участь «Бега» вскоре постигла и «Зойкину квартиру», и поставленную в 1928 году в Камерном театре еще одну пьесу Булгакова – «Багровый остров». В середине 1929 года из репертуара МХАТа исчезли и «Дни Турбиных».

Встречаться и видеть Михаила Афанасьевича стало просто тяжело. Держался он всегда мужественно, корректно и достойно, но глаза выдавали глубокую печаль. Юмор стал горьким и каким-то унылым. Это был один из труднейших, если не самый трудный период жизни Булгакова-писателя [5; 248].





Отчаяние

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Вспоминаю, как постепенно распухал альбом вырезок с разносными отзывами и как постепенно истощалось стоическое к ним отношение со стороны М. А., а попутно истощалась и нервная система писателя: он стал раздражительней, подозрительней, стал плохо спать, начал дергать головой и плечом (нервный тик).

Надо только удивляться, что творческий запал (видно, были большие его запасы у писателя Булгакова!) не иссяк от этих непрерывных груборугательных статей. Я бы рада сказать критических статей, но не могу – язык не поворачивается... [4; 174]

Михаил Афанасьевич Булгаков:

Генеральному Секретарю партии И. В. Сталину
Председателю Ц. И. Комитета М. И. Калинину
Начальнику Главискусства А. И. Свидерскому
Алексею Максимовичу Горькому

литератора
Михаила Афанасьевича
БУЛГАКОВА
(Москва, Б. Пироговская,
35/а, кв. 6, т. 2-03-27)

Заявление

В этом году исполняется десять лет с тех пор, как я начал заниматься литературной работой в СССР.

Из этих десяти лет последние четыре года я посвятил драматургии, причем мною были написаны 4 пьесы. Из них три («Дни Турбиных», «Зойкина квартира» и «Багровый остров») были поставлены на сценах государственных театров в Москве, а четвертая – «Бег», была принята МХАТом к постановке и в процессе работы Театра над нею к представлению запрещена.

В настоящее время я узнал о запрещении к представлению «Дней Турбиных» и «Багрового острова». «Зойкина квартира» была снята после 200-го представления в прошлом сезоне по распоряжению властей. Таким образом, к настоящему театральному сезону все мои пьесы оказываются запрещенными, в том числе и выдержавшие около 300 представлений «Дни Турбиных».

В 1926-м году в день генеральной репетиции «Дней Турбиных» я был в сопровождении агента ОГПУ отправлен в ОГПУ, где подвергался допросу.

Несколькими месяцами раньше представителями ОГПУ у меня был произведен обыск, причем отобраны были у меня «Мой дневник» в 3-х тетрадях и единственный экземпляр сатирической повести моей «Собачье сердце».

Ранее этого подверглись запрещению: повесть моя «Записки на манжетах». Запрещен к переизданию сборник сатирических рассказов «Дьяволиада», запрещен к изданию сборник фельетонов, запрещены в публичном выступлении «Похождения Чичикова». Роман «Белая гвардия» был прерван печатанием в журнале «Россия», т. к. запрещен был самый журнал.

По мере того, как я выпускал в свет свои произведения, критика в СССР обращала на меня все большее внимание, причем ни одно из моих произведений, будь то беллетристическое произведе-

ние или пьеса, не только никогда и нигде не получило ни одного одобрительного отзыва, но напротив, чем большую известность приобретало мое имя в СССР и за границей, тем яростнее становились отзывы прессы, принявшие наконец характер неистовой брани.

Все мои произведения получили чудовищные, неблагоприятные отзывы, мое имя было ошельмовано не только в периодической прессе, но в таких изданиях, как Б. Сов. Энциклопедия и Лит. Энциклопедия.

Бессильный защищаться, я подавал прошение о разрешении хотя бы на короткий срок отправиться за границу. Я получил отказ.

Мои произведения «Дни Турбиных» и «Зойкина квартира» были украдены и увезены за границу. В г. Риге одно из издательств дописало мой роман «Белая гвардия», выпустив в свет под моей фамилией книгу с безграмотным концом. Гонорар мой за границей стали расхищать.

Тогда жена моя Любовь Евгениевна Булгакова вторично подала прошение о разрешении ей отправиться за границу одной *для* устройства моих дел, причем я предлагал остаться в качестве заложника. Мы получили отказ.

Я подавал много раз прошения о возвращении мне рукописей из ГПУ и получал отказы или не получал ответа на заявления.

Я просил разрешения отправить за границу пьесу «Бег», чтобы ее охранить от кражи за пределами СССР.

Я получил отказ.

К концу десятого года силы мои надломились, не будучи в силах более существовать, затравленный, зная, что ни печататься, ни ставиться более в пределах СССР мне нельзя, доведенный до нервного рас-

стройства, я обращаюсь к Вам и прошу Вашего ходатайства перед Правительством СССР ОБ ИЗГНАНИИ МЕНЯ ЗА ПРЕДЕЛЫ СССР ВМЕСТЕ С ЖЕНОЮ МОЕЙ Л. Е. БУЛГАКОВОЙ, которая к прошению этому присоединяется.

Москва М. Булгаков.
<...> июля 1929 г.
[2; 431–433]

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 24 августа 1929 г.:*

Теперь сообщаю тебе, мой брат: положение мое неблагополучно.

Все мои пьесы запрещены к представлению в СССР, и беллетристической ни одной строки моей не напечатают.

В 1929 году совершилось мое писательское уничтожение. Я сделал последнее усилие и подал Правительству СССР заявление, в котором прошу меня с женой моей выпустить за границу на любой срок.

В сердце у меня нет надежды. Был один зловещий признак — Любовь Евгеньевну не выпустили одну, несмотря на то, что <я> оставался (это было несколько месяцев тому назад).

Вокруг меня уже ползает змейкой темный слух о том, что я обречен во всех смыслах.

В случае, если мое заявление будет отклонено, игру можно считать оконченной, колоду складывать, свечи тушить.

Мне придется сидеть в Москве и не писать, потому что не только писаний моих, но даже фамилии моей равнодушно видеть не могут.

Без всякого малодушия сообщаю тебе, мой брат, что вопрос моей гибели — это лишь вопрос срока,

если, конечно, не произойдет чуда. Но чудеса случаются редко [2; 433–434].

Елена Сергеевна Булгакова:

И вот в 30-м году Михаил Афанасьевич понял, что он должен обратиться в правительство с точным описанием своего положения, своей судьбы в прошлом и в данное время и поставить вопрос так: он писатель, он не может не писать, не писать – для него равносильно смерти. Или его следует выпустить за рубеж, где он будет жить, просто зарабатывая на жизнь, или же дать возможность работать в Советском Союзе. Но так, чтобы он не был, как он говорил, большим заводом, выпускающим зажигалки. Он написал по семи адресам, и мы разнесли эти письма по всем семи адресам [5; 385].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Письмо Правительству СССР. 28 марта 1930 г.:*

Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом:

1

После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет:

Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.

Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.

Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет.
Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым.

2

Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных — было 3, враждебно-ругательных — 298.
Последние 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни.
Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «СУКИНЫМ СЫНОМ», а автора пьесы рекомендовали как «одержимого СОБАЧЬЕЙ СТАРОСТЬЮ». Обо мне писали как о «литературном УБОРЩИКЕ», подбирающем объедки после того, как «НАБЛЕВАЛА дюжина гостей ».
Писали так:
«...МИШКА Булгаков, кум мой, ТОЖЕ, ИЗВИНИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ, ПИСАТЕЛЬ, В ЗАЛЕЖАЛОМ МУСОРЕ шарит... Что это, спрашиваю, братишечка, МУРЛО у тебя... Я человек деликатный, возьми да и ХРЯСНИ ЕГО ТАЗОМ ПО ЗАТЫЛКУ... Обывателю мы без Турбиных, вроде как БЮСТГАЛЬТЕР СОБАКЕ, без нужды... Нашелся, СУКИН СЫН, НАШЕЛСЯ ТУРБИН, ЧТОБ ЕМУ НИ СБОРОВ, НИ УСПЕХА...» («Жизнь ИСКУССТВА», № 44–1927 г.).

Писали «О Булгакове, который чем был, тем и останется, НОВОБУРЖУАЗНЫМ ОТРОДЬЕМ, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы» («Комс. правда», 14/X.1926 г.).

Сообщали, что мне нравится «АТМОСФЕРА СОБАЧЬЕЙ СВАДЬБЫ вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля» (А. Луначарский, «Известия», 8/X–1926 г.) и что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет «ВОНЬ» (Стенограмма совещания при Агитпропе в мае 1927 г.), и так далее, и так далее...

Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель — гораздо серьезнее.

Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЯРОСТЬЮ доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать.

И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА.

3

Отправной точкой этого письма *для* меня послужит мой памфлет «Багровый остров».

Вся критика СССР, без исключений, встретила эту пьесу заявлением, что она «бездарна, беззуба, убога» и что она представляет «пасквиль на революцию».

Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно.

В № 12 «Реперт. Бюлл.» (1928 г.) появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что

«Багровый остров» — «интересная и остроумная пародия», в которой «встает зловещая тень Великого Инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего РАБСКИЕ ПОДХАЛИМСКИ-НЕЛЕПЫЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ШТАМПЫ, стирающего личность актера и писателя», что в «Багровом острове» идет речь о «зловещей мрачной силе, воспитывающей ИЛОТОВ, ПОДХАЛИМОВ И ПАНЕГИРИСТОВ...».

Сказано было, что, «если такая мрачная сила существует, НЕГОДОВАНИЕ И ЗЛОЕ ОСТРОУМИЕ ПРОСЛАВЛЕННОГО БУРЖУАЗИЕЙ ДРАМАТУРГА ОПРАВДАНО».

Позволительно спросить — где истина?

Что же такое, в конце концов, — «Багровый остров»? — «Убогая, бездарная пьеса» или это «остроумный памфлет»?

Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень, и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее.

Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что «Багровый остров» — пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком — не революция.

Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» — это «первый в СССР призыв к свободе печати» («Молодая гвардия», № 1–1929 г.), — она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.

4

Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противупоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М. Е. Салтыкова-Щедрина.

Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире М. Булгакова — «КЛЕВЕТА».

Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления:

«М. Булгаков ХОЧЕТ стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша», № 6–1925 г.).

Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум: М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ, и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима.

Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма (№ 6 «Лит. Газ.»), и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу:

ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ СТРОЙ.

Мыслим ли я в СССР?

5

И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах: «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение русской интеллигенции как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно *для* писателя, кровно связанного с интеллигенцией.

Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает — несмотря на свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ — аттестат белогвардейца-врага, а получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР. <...>

7

Ныне я уничтожен.

Уничтожение это было встречено советской общественностью с полною радостью и названо «ДОСТИЖЕНИЕМ».

Р. Пикель, отмечая мое уничтожение («Изв.», 15/IX–1929 г.), высказал либеральную мысль:

«Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов».

И обнадежил зарезанного писателя словами, что «речь идет о его прошлых драматургических произведениях».

Однако жизнь, в лице Главреперткома, доказала, что либерализм Р. Пикеля ни на чем не основан.

18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса «Кабала святош» («Мольер») К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НЕ РАЗРЕШЕНА.

Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены — работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы — блестящая пьеса.

Р. Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие.

И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр» .

Все мои вещи безнадежны.

8

Я прошу Советское Правительство принять во внимание, что я не политический деятель, а литератор и что всю мою продукцию я отдал советской сцене.

Я прошу обратить внимание на следующие два отзыва обо мне в советской прессе.

Оба они исходят от непримиримых врагов моих произведений, и поэтому они очень ценны.
В 1925 году было написано:
«Появляется писатель, НЕ РЯДЯЩИЙСЯ ДАЖЕ В ПОПУТНИЧЕСКИЕ ЦВЕТА» (Л. Авербах, «Изв.», 20/IX–1925 г.).
А в 1929 году:
«Талант его столь же очевиден, как и социальная реакционность его творчества» (Р. Пикель, «Изв.», 15/IX–1929 г.).
Я прошу принять во внимание, что невозможность писать равносильна *для* меня погребению заживо.

9

Я ПРОШУ ПРАВИТЕЛЬСТВО СССР ПРИКАЗАТЬ МНЕ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ПОКИНУТЬ ПРЕДЕЛЫ СССР В СОПРОВОЖДЕНИИ МОЕЙ ЖЕНЫ ЛЮБОВИ ЕВГЕНЬЕВНЫ БУЛГАКОВОЙ.

10

Я обращаюсь к гуманности советской власти и прошу меня, писателя, который не может быть полезен у себя, в отечестве, великодушно отпустить на свободу.

11

Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское Правительство дать мне работу по специальности и командировать меня в театр на работу в качестве штатного режиссера.
Я именно и точно и подчеркнуто прошу о КАТЕГОРИЧЕСКОМ ПРИКАЗЕ, О КОМАНДИРОВАНИИ, потому что все мои попытки найти работу в той единственной области, где я могу быть поле-

зен СССР, как исключительно квалифицированный специалист, потерпели полное фиаско. Мое имя сделано настолько одиозным, что предложения работы с моей стороны встретили ИСПУГ, несмотря на то, что в Москве громадному количеству актеров и режиссеров, а с ними и директорам театров, отлично известно мое виртуозное знание сцены.

Я предлагаю СССР совершенно честного, без всякой тени вредительства, специалиста режиссера и актера, который берется добросовестно ставить любую пьесу, начиная с шекспировских пьес и вплоть до пьес сегодняшнего дня.

Я прошу о назначении меня лаборантом-режиссером в 1-й Художественный Театр — в лучшую школу, возглавляемую мастерами К. С. Станиславским и В. И. Немировичем-Данченко.

Если меня не назначат режиссером, я прошусь на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя — я прошусь на должность рабочего сцены.

Если же и это невозможно, я прошу Советское Правительство поступить со мной, как оно найдет нужным, но как-нибудь поступить, потому что у меня, драматурга, написавшего 5 пьес, известного в СССР и за границей, налицо, В ДАННЫЙ МОМЕНТ, — нищета, улица и гибель [2; 443–450].

Елена Сергеевна Булгакова:

Письмо попало к Сталину. Сталин позвонил через 20 дней, письмо было написано 28 марта 30-го года, а 18 апреля был звонок. И Сталин сказал: «Мы получили с товарищами ваше письмо, и вы будете иметь по нему благоприятный результат». Потом, помолчав секунду, добавил: «Что, может быть, вас, правда, отпустить за границу, мы вам очень надоели?»

Это был неожиданный вопрос. Но Михаил Афанасьевич быстро ответил: «Я очень много думал над этим, и я понял, что русский писатель вне родины существовать не может». Сталин сказал: «Я тоже так думаю. Ну, что же, тогда поступить в театр?» – «Да, я хотел бы». – «В какой же?» – «В Художественный. Но меня не принимают там». Сталин сказал: «Вы подайте еще раз заявление. Я думаю, что вас примут» [5; 385–386].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Однажды, совершенно неожиданно, раздался телефонный звонок. Звонил из Центрального Комитета партии секретарь Сталина Товстуха. К телефону подошла я и позвала М. А., а сама занялась домашними делами. М. А. взял трубку и вскоре так громко и нервно крикнул «Любаша!», что я опрометью бросилась к телефону (у нас были отводные от аппарата наушники).

На проводе был Сталин. Он говорил глуховатым голосом, с явным грузинским акцентом и себя называл в третьем лице. «Сталин получил, Сталин прочел...» <...>. Он предложил Булгакову:

– Может быть, вы хотите уехать за границу?

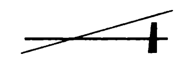
(Незадолго перед этим по просьбе Горького был выпущен за границу писатель Евгений Замятин с женой.) Но М. А. предпочел остаться в Союзе.

Прямым результатом беседы со Сталиным было назначение М. А. Булгакова на работу в Театр рабочей молодежи, сокращенно ТРАМ.

Вскоре после этого у нас на Пироговской появились двое молодых людей. Один высокомерный – Федор Кнорре, другой держался лучше – Николай Крючков. ТРАМ – не Художественный театр, куда жаждал попасть М. А., но капризничать не приходилось. Трамовцы уезжали в Крым и пригласили Булгакова с собой. Он поехал [4; 164].

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:
Москва широко комментировала звонок Сталина. Каждый вносил свою лепту выдумки, что и продолжается по сей день. Роман с Театром рабочей молодежи так и не состоялся: М. А. направили на работу в Художественный театр, чего он в то время пламенно добивался [4; 166].

Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:*
После разговора по телефону со Сталиным, когда ему была обещана работа в Художественном театре, он бросил револьвер в пруд. Кажется, в пруд у Новодевичьего монастыря [5; 414].



Елена

Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:*

Когда Булгаков соединился с Е. С., он сказал ей: «Против меня был целый мир – и я один. Теперь мы вдвоем, и мне ничего не страшно» [5; 414].

Елена Сергеевна Булгакова:

Мы познакомились очень неожиданно. Я интересовалась им давно. С тех пор как прочитала «Роковые яйца» и «Белую гвардию». Я почувствовала, что это совершенно особый писатель, хотя литература 20-х годов у нас была очень талантлива. Необычайный взлет был у русской литературы. И среди всех был Булгаков, причем среди этого большого созвездия он стоял как-то в стороне по своей необычности, необычности темы, необычности языка, взгляда, юмора: всего того, что, собственно, определяет писателя.

Все это поразило меня.

Я была женой генерал-лейтенанта Шиловского, прекрасного, благороднейшего человека. Была, что называется, счастливая семья: муж, занимающий высокое положение, двое прекрасных сыновей... Вообще все было хорошо. Но когда я встретила Булгакова случайно в одном доме, я поняла, что это моя

судьба, несмотря на все, несмотря на безумно трудную трагедию разрыва. Я пошла на все это, потому что без Булгакова для меня не было бы ни смысла жизни, ни оправдания ее... [5; 387]

Игорь Владимирович Белозерский. *В записи С. П. Князевой:*

А вы знаете, как Михаил Афанасьевич познакомился с нею? Некто по имени Петя решил от нее избавиться как от любовницы и предложил ее Булгакову, который был большим котом и мог подойти прямо на улице к женщине и пригласить в ресторан, сказав, что у него много денег. Вдова этого Пети (не буду называть его фамилию) рассказала Любовь Евгеньевне, что перед смертью тот просил прощения у Любови Евгеньевны за то, что таким образом разрушил семью. <...> Любовь Евгеньевна тоже не была святой. Романов у нее было много. Но рана, нанесенная булгаковским уходом, никогда не затягивалась.

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

В 29–30 годах мы с М. А. поехали как-то в гости к его старым знакомым, мужу и жене Моисеенко (жили они в доме Нирензее в Гнездниковском переулке). За столом сидела хорошо причесанная интересная дама — Елена Сергеевна Нюренберг, по мужу Шиловская. Она вскоре стала моей приятельницей и начала запросто и часто бывать у нас в доме.

Так на нашей семейной орбите появилась эта женщина, ставшая впоследствии третьей женой М. А. Булгакова [4; 148].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 13 февраля 1961 г.:*

Это было на масляной, у одних общих знакомых. По Киеву они были знакомы с Мишей, но он их не

любил и хотел закончить бывать у них. С другой стороны, и Евгений Александрович, живя какое-то время в Киеве, познакомился с ними, но бывал у них только тогда, когда я уезжала куда-нибудь летом и он оставался один. А мне почему-то не хотелось с ними знакомиться. Но тогда они позвонили и, уговаривая меня придти, сказали, что у них будет знаменитый Булгаков, — я мгновенно решила пойти. Уж очень мне нравился он, как писатель. А его они тоже как-то соблазнили, сказав, что придут интересные люди, словом, он пошел. Сидели мы рядом (Евгений Александрович был в командировке, и я была одна), у меня развязались какие-то завязочки на рукаве <...>, я сказала, чтобы он завязал мне. И он потом уверял всегда, что тут и было колдовство, тут-то я его и привязала на всю жизнь. На самом деле, ему, конечно, больше всего понравилось, что я, вроде чеховского дьякона в «Дуэли», смотрела ему в рот и ждала, что он еще скажет смешного. Почувствовав такого благодарного слушателя, он развернулся вовсю и такое выдал, что все просто стонали. Выскакивал из-за стола, на рояле играл, пел, танцевал, словом, куражился вовсю. Глаза у него были ярко-голубые, но когда он расходился так, они сверкали, как бриллианты. Тут же мы условились идти на следующий день на лыжах. И пошло. После лыж — генеральная «Блокады», после этого — актерский клуб, где он играл с Маяковским на биллиарде, и я ненавидела Маяковского и настолько явно хотела, чтобы он проиграл Мише, что Маяковский уверял, что у него кий в руках не держится. (Он играл ровнее Миши, — Миша иногда играл блестяще, а иногда мазал.) Словом, мы встречались каждый день и, наконец, я взмолилась и сказала, что никуда не пойду, хочу выспаться, и чтобы Миша не звонил мне сегодня. И легла ра-

но, чуть ли не в девять часов. Ночью (было около трех, как оказалось потом) Оленька, которая всего этого не одобряла, конечно, разбудила меня: иди, тебя твой Булгаков зовет к телефону. (Страшно раздраженно сказала.) Я подошла. «Оденьтесь и выйдите на крыльцо», — загадочно сказал Миша, и, не объясняя ничего, только повторял эти слова. Жил он в это время на Большой Пироговской, а мы на Большой Садовой, угол Малой Бронной, в особнячке, видевшем Наполеона, с каминами, с кухней внизу, с круглыми окнами, затянутыми сиянием, словом, дело не в сиянии, а в том, что далеко друг от друга. А он повторяет: «Выходите на крыльцо». Под Оленькино ворчанье я оделась (командировка-то еще не кончилась!) и вышла на крылечко. Луна светит страшно ярко, Миша белый в ее свете стоит у крыльца. Взял под руку и на все мои вопросы и смех — прикладывает палец ко рту и молчит, как пень. Ведет через улицу, приводит на Патриаршие пруды, доводит до одного дерева и говорит, показывая на скамейку: здесь они увидели его в первый раз. — И опять — палец у рта, опять молчание. Потом также под руку ведет в какой-то дом у Патриарших, поднимаемся на третий этаж, он звонит. Открывает какой-то старик, роскошный старик, высоченного роста, красивый, с бородищей, в белой поддевке, в высоких сапогах. Потом выходит какой-то молодой, сын этого старика. Идем все в столовую. Горит камин, на столе — уха, икра, закуски, вино. Чудесно ужинаем, весело, интересно. Из каких-то слов понимаю, что старик — в прошлом оптовый торговец, рыбопромышленник, был в ссылке, вернулся к сыну в Москву (а сам астраханский), привез всю эту рыбную снедь, которой его наградили в Астрахани бывшие приятели. А Миша был в приятельских отношениях с сыном его. Сидели

до утра. Я сидела на ковре около камина, старик чего-то ошалел: «Можно поцеловать вас?» — «Можно, говорю, целуйте в щеку». А он: «Ведьма! Ведьма! Приколдовала!» «Тут и я понял, — говорил потом всегда Миша, вспоминая с удовольствием этот вечер, вернее, ночь, — что ты ведьма! Присушила меня!» Пошли домой, и так до сих пор не знаю, у кого это я была. Миша для таинственности не сказал фамилии и всегда уверял, что все это мне приснилось. А может быть, и не рыбопромышленник, и не астраханский, и не был в ссылке, а все это розыгрыш? Не знаю. Миша любил разыгрывать. <...>

Потом пришла весна, за ней лето, я поехала в Ессентуки на месяц. Получала письма от Миши, в одном была засохшая роза и вместо фотографии — только глаза его, вырезанные из карточки. И писал, что приготовил для меня достойный подарок, чтобы я ехала скорей домой. А подарок был — что он посвящает мне роман, показал черновик, тетрадь (она хранится у меня), на первой странице написано: «Тайному другу». Это — черновик его романа «Записки покойника» — из театральной жизни. А на экземпляре книги «Дьяволиада» он написал в 33-м году: «Тайному другу, ставшему явным, жене моей Елене. Ты совершишь со мной мой последний полет. Твой М. 21 мая». (День моих имянин.) [7; 326–327]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 24 марта 1961 г.:*

В первый раз, когда мы только что познакомились с Мишей и он сказал мне: «Пойдемте на „Аиду“». Встретились под первой колонной слева. А в театре, в первом ряду справа (где сидели Карик с Алисой) он сказал во время увертюры: «В особенно любимых местах я пожму вам пальцы...» По-видимому, вся музыка была особенно любимая [7; 329].

Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:*
Булгаков познакомился с Еленой Сергеевной в голодные, тяжкие годы. Перехватив аванс, он пригласил ее как-то выпить по кружке пива. Закусывали крутым яйцом. Но как все с ним, это было празднично, счастливо [5; 413].

Светлана Петровна Князева (1937–2010), *заведующая редакцией издательства «Художественная литература», в которой шла подготовка к публикации книги «Воспоминаний» Л. Е. Белозерской-Булгаковой:*
За корректурой книги воспоминаний Игорь Владимирович (Белозерский. — *Сост.*) <...> вспомнил рассказ Любови Евгеньевны, как она однажды, будучи еще женой Булгакова, подслушала мимолетный разговор Елены Сергеевны с Михаилом Афанасьевичем, и тот сказал, что, скорее всего, не уйдет от Любови Евгеньевны, потому что «не хочет ее расстраивать». Елена Сергеевна в ответ сказала, что пусть выбирает. Любовь Евгеньевна поняла: Булгаков для нее потерян.

Елена Сергеевна Булгакова:
Потом наступили гораздо более трудные времена, когда мне было очень трудно уйти из дома именно из-за того, что муж был очень хорошим человеком, из-за того, что у нас была такая дружная семья. В первый раз я смалодушествовала и осталась, и я не видела Булгакова 20 месяцев, давши слово, что не приму ни одного письма, не подойду ни разу к телефону, не выйду одна на улицу. Но, очевидно, все-таки это была судьба. Потому что, когда я первый раз вышла на улицу, я встретила его, и первой фразой, которую он сказал, было: «Я не могу без тебя жить». И я ответила: «И я тоже». И мы решили соединиться, несмотря ни на что. Но тогда же он мне сказал то, что, я не знаю почему, но приняла со

смехом. Он мне сказал: «Дай мне слово, что умирать я буду у тебя на руках». Если представить, что это говорил человек неполных сорока лет, здоровый, с веселыми голубыми глазами, сияющий от счастья, то, конечно, это выглядело очень странно. И я, смеясь, сказала: «Конечно, конечно, ты будешь умирать у меня на...» Он сказал: «Я говорю очень серьезно, поклянись». И в результате я поклялась [5; 387–388].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Е. А. Шиловскому. Москва, 6 сентября 1932 г.:*

Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше. И мы хотим по<жениться> [2; 485].

Сергей Александрович Ермолинский:

Нетрудно установить официальную дату регистрации нового брака М. А. Булгакова, но это, как и многие «даты», само по себе ничего не обозначает. Все произошло гораздо раньше, а вот жить вместе им было негде. Елене Сергеевне пришлось перебраться на Большую Пироговскую, но там жила Любовь Евгеньевна; легко представить себе, в какой неестественной обстановке все трое очутились. Пожалуй, только ему могло показаться, что теперь, когда все наконец разъяснилось и очистилось, они, добрые и великодушные, не фальшивя, поймут друг друга [8; 45].

Игорь Владимирович Белозерский. *В записи С. П. Князевой:*

Когда Булгаков разошелся с первой женой, он предложил Любовь Евгеньевне жить в его квартире. Она наотрез отказалась. И вот, женившись в третий раз, Булгаков привел свою новую жену в общую

с Любовь Евгеньевной квартиру. Весь дом, по словам Игоря Владимировича, «восстал, а хозяйка дома имела длительную и малоприятную для Булгакова с ним беседу», пригрозила, что если он не купит для Любови Евгеньевны квартиру, то она «натравит на него всех жильцов». Такое поведение объяснялось тем, что Любовь Евгеньевна скиталась по углам в течение почти двух лет. Она ушла сразу же, как только поняла, что Булгаков для нее потерян. Перед уходом, как гордая оскорбленная женщина, она сообщила ему, что у нее есть любовник. Это была неправда. После разговора с хозяйкой Булгаков, у которого было, помимо этих квартирных споров, много неприятностей, приобрел бывшей жене квартиру и отдал ей те вещи и мебель, которые они приобрели вместе.

Сергей Александрович Ермолинский:

Так продолжалось до тех пор, пока не удалось вымолить небольшую квартиру в писательской надстройке в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова), и Лена с Михаилом Афанасьевичем переехали туда. С ними — ее младший сын Сережа, а старший, Женя, остался у отца, но часто приходил к ним и очень привязался к Булгакову. У Жени была даже какая-то влюбленность в него [8; 45].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма А. С. Нюренбергу. 19 июня 1961 г.:*

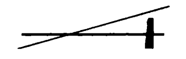
Миша как-то, очень легко, абсолютно без тени скучного нравоучения, говорил мальчикам моим за утренним кофе в один из воскресных дней, когда Женичка пришел к нам и мы, счастливая четверка, сидели за столом: «Дети, в жизни надо уметь рисковать... Вот, смотрите на маму вашу, она жила очень хорошо с вашим папой, но рискнула, пошла

ко мне, бедняку, и вот поглядите, как сейчас нам хорошо...» И вдруг, Сергей малый, помешивая ложечкой кофе, задумчиво сказал: «Подожди, Потап (домашнее прозвище М. Булгакова. — *Сост.*), мама ведь может 'искнуть еще 'аз».

Потап выскочил из-за стола, красный, не зная, что ответить ему, мальчишке восьми лет [7; 331–332].

Сергей Александрович Ермолинский:

Когда он жил на улице Фурманова, ничего похожего на бедность у него в доме не было. Я заходил к нему почти каждый день. Видел, как и в хорошие периоды (в материальном отношении), и в плохие (а такие, разумеется, бывали, и нередко) гостя встречали с одинаковым радушием — в квартире безукоризненный порядок, хозяйка мила, нарядна, — и застолье протекало так, что никто не мог бы и намеком ощутить, в каком положении дела писателя Булгакова. Все было как всегда. Как этого достигала Лена, я не знаю, но делалось это легко и незаметно, даже для самого Миши [8; 75].



Возвращение «Турбиных»

Евгений Васильевич Калужский:

В один из январских вечеров 1932 года члены дирекции, режиссер И. Я. Судаков, руководитель постановочной части театра И. Я. Гремиславский и я были приглашены на квартиру Константина Сергеевича. Он объявил нам, что есть распоряжение о быстром возобновлении «Турбиных». Мы были созваны для того, чтобы обдумать, как скорее и лучше восстановить спектакль. Спектакль был назначен на 18 февраля. Через день исполнители собрались на репетицию. Когда стали повторять текст, казалось, что все всё забыли. Но стоило только начать, как все пошло как по маслу. Можно было играть хоть сейчас. Постановочные цехи и мастерские театра восстановили декорации раньше срока. В этом было выражение подъема и радости всего коллектива театра, вызванного возвращением любимой пьесы в репертуар [5; 249–250].

Федор Николаевич Михальский:

Ясно хранится в памяти день, когда в доме К. С. Станиславского раздался телефонный звонок члена Комиссии по руководству Большим и Художествен-

ным театром А. С. Енукидзе, задавшего вопрос, сможет ли театр примерно в течение месяца возобновить «Турбиных». Да, да, конечно! Созваны дирекция, режиссерская коллегия, постановочная часть, и тотчас же все принялись за работу по восстановлению спектакля.

Я немедленно позвонил Михаилу Афанасьевичу домой. И в ответ после секунды молчания слышу упавший, потрясенный голос: «Федор Николаевич, не можете ли вы сейчас же приехать ко мне?» Я помчался на Пироговскую. <...>

Вот я на Пироговской, вхожу в первую комнату. На диване полулежит Михаил Афанасьевич, ноги в горячей воде, на голове и на сердце холодные компрессы. «Ну, рассказывайте, рассказывайте!» Я несколько раз повторяю рассказ и о звонке А. С. Енукидзе, и о праздничном настроении в театре. Пересилив себя, Михаил Афанасьевич поднимается. Ведь что-то надо делать. «Едем, едем!» И мы отправляемся в Союз писателей, в Управление авторских прав и, наконец, в Художественный театр. Здесь его встречают поздравлениями, дружескими объятиями и радостными словами [5; 257–258].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма П. С. Попову. Москва, 25 января – 24 февраля 1932 г.:*

15-го января днем мне позвонили из Театра и сообщили, что «Дни Турбиных» срочно возобновляются. Мне неприятно признаться: сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска. Сердце, сердце! <...>

Далее – Театр. Павел Сергеевич, мою пьесу встретили хорошо, во всех цехах, и смягчилась моя душа!

А далее плеснуло в город. Мать честная, что же это было!
Было три несчастья. Первое вылилось в формулу: «Поздравляю. Теперь Вы разбогатееете!» Раз — ничего. Два — ничего. Но на сотом человеке стало тяжко. <...>
Номер второй: «Я смертельно обижусь, если не получу билета на премьеру». Это казнь египетская. Третье хуже всего: московскому обывателю, оказалось, до зарезу нужно было узнать «Что это значит?!». И этим вопросом они стали истязать меня. Нашли источник! Затем жители города решили сами объяснить, что это значит, видя, что ни автор пьесы, ни кто-либо другой не желает или не может этого объяснить. И они наобъясняли, Павел Сергеевич, такого, что свет померк в глазах. Кончилось тем, что ко мне ночью вбежал хорошо знакомый человек с острым носом, с больными сумасшедшими глазами. Воскликнул: «Что это значит?!»
— А это значит, — ответил я, — что горожане, и, преимущественно, литераторы, играют IX-ую главу твоего романа, которую я в твою честь, о великий учитель, инсценировал. Ты же сам сказал: «...в голове кутерьма, сутолока, сбивчивость, неопрятность в мыслях... вызначилась порода маловерная, ленивая, исполненная беспрерывных сомнений и вечной боязни». Укрой меня своей чугунною шинелью!
И он укрыл меня, и слышал я уже глуше, как шел театральный дождь — и бухала моя фамилия, и турбинская фамилия, и «Шаляпин приезжает, и Качалову ногу отрезали!!». (Качалов, точно, болен, но нельзя же все-таки народным артистам ноги отхватывать! А Шаляпин, кажется, не приезжает, и только

зря в Большом телефон оборвали. Языки бы им оборвать!)

Ну, а все-таки, Павел Сергеевич, что же это значит? Я-то знаю?

Я знаю:

В половине января 1932 года, в силу причин, которые мне неизвестны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХТ замечательное распоряжение — пьесу «Дни Турбиных» возобновить.

Для автора этой пьесы это значит, что ему — автору возвращена часть его жизни.

Вот и все [2; 468–470].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма П. С. Попову. Москва, 24 апреля 1932 г.:*

Пьеса эта была показана 18-го февраля. От Тверской до Театра стояли мужские фигуры и бормотали механически: «Нет ли лишнего билетика?» То же было и со стороны Дмитровки.

В зале я не был. Я был за кулисами, и актеры волновались так, что заразили меня. Я стал перемещаться с места на место, опустели руки и ноги. Во всех концах звонки, то свет ударит в софитах, то вдруг, как в шахте, тьма, и загораются фонарики помощников, и кажется, что спектакль идет с вертящей голову быстротой. Только что тоскливо пели петлюровцы, а потом взрыв света, и в полутьме вижу, как выбежал Топорков и стоит на деревянной лестнице и дышит, дышит... Наберет воздуху в грудь и никак с ним не расстанется... Стоит тень 18-го года, вымотавшаяся в беготне по лестницам гимназии, и ослабевшими руками расстегивает ворот шинели. Потом вдруг тень ожила, спрятала папаху, вынула револьвер и опять скрылась в гимназии (Топорков играет Мышлаевского первоклассно).

Актеры волновались так, что бледнели под гримом, тело их покрывалось по́том, а глаза были замученные, настороженные, выспрашивающие. Когда возбужденные до предела петлюровцы погнали Николку, помощник выстрелил у моего уха из револьвера, и этим мгновенно привел меня в себя.

На кругу стало просторно, появилось пианино, и мальчик баритон запел эпиталаму.

Тут появился гонец в виде прекрасной женщины. У меня в последнее время отточилась до последней степени способность, с которой очень тяжело жить. Способность заранее знать, что хочет от меня человек, подходящий ко мне. По-видимому, чехлы на нервах уже совершенно истрепались, а общение с моей собакой научило меня быть всегда настороже.

Словом, я знаю, что мне скажут, и плохо то, что я знаю, что мне ничего нового не скажут. Ничего неожиданного не будет, все — известно. Я только глянул на напряженно улыбающийся рот и уже знал — будет просить не выходить...

Гонец сказал, что Ка-Эс звонил и спрашивает, где я и как я себя чувствую?

Я просил благодарить — чувствую себя хорошо, а нахожусь я за кулисами и на вызовы не пойду.

О, как сиял гонец! И сказал, что Ка-Эс полагает, что это — мудрое решение.

Особенной мудрости в этом решении нет. Это очень простое решение. Мне не хочется ни поклонов, ни вызовов, мне вообще ничего не хочется, кроме того, чтобы меня Христа ради оставили в покое, чтобы я мог брать горячие ванны и не думать каждый день о том, что мне делать с моей собакой, когда в июне кончится квартирный контракт.

Вообще мне ничего решительно не хочется. Занавес давали 20 раз. Потом актеры и знакомые истязали меня вопросами — зачем не вышел? Что за демонстрация? Выходит так: выйдешь — демонстрация, не выйдешь — тоже демонстрация. Не знаю, не знаю, как быть [2; 479–481].

Федор Николаевич Михальский:

И с этого мгновения «Турбины» надолго остаются в репертуаре театра, включаются в гастрольные поездки и в Ленинград и в Киев, куда неоднократно Михаил Афанасьевич ездил с нами. Я слышу его веселый, насмешливый голос и в дворцах культуры Ленинграда, и в «Астории», где все мы живем, и на вечерних встречах во внутреннем садике киевской гостиницы «Континенталь».

Вот выдержка из письма ленинградских зрителей после первых гастролей с «Турбиными»: «...Сегодня мы в третий раз на „Турбиных", и если бы могли, то, кажется, не пропустили бы ни одного спектакля! До этого времени в нашей жизни, довольно обильной театральными впечатлениями, мы никогда еще не испытывали более глубокого и серьезного наслаждения, как у вас и с вами...» [5; 258]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

14 сентября. <...> Вечером — звонок Гаврилова, режиссера из Ашхабада. С этим было так: пришла как-то телеграмма из Ашхабада — дайте «Турбиных».

— Пьют, наверно, вторую неделю.

— А, может, послать?

— Ты с ума сошла.

Опять — телеграмма.

– Я пошлю ответ – пусть пришлют две тысячи за право постановки. А вдруг...
– Можешь. Даже двадцать две. Ведь они все равно прочитать не сумеют, голубчики.
Пришли две тысячи. Послала экземпляр.
– Ну, ясно, заметут их. Эх, втянула ты меня в историю.
Через несколько времени – телеграмма – приглашают на премьеру – 17 марта.
А теперь вот звонит – в Москве.

15 сентября.
Около 11 часов вечера появился Гаврилов. М. А. не было дома. Мы разговаривали с Гавриловым через окно (которое во дворик выходит), он не входил. Привез программу «Турбиных» в Ашхабаде. Спектакль шел, кажется, тринадцать раз. Говорит, хороший состав, некоторые роли – лучше, чем в Москве. Потом в газете яростная статья. Вскоре его вызвали в ответственное место. Прямо, говорит, шел, трясся, вдруг какие-нибудь неприятности по поводу «Турбиных».
– У вас идет булгаковская пьеса?
Он задрожал.
– Так вот, мы хотим ее посмотреть. Нас – двенадцать товарищей.
Ожил.
Тем не менее, вскоре сняли. А у них уже было приглашение в Баку на двадцать спектаклей и еще куда-то, кажется – Тифлис, тоже двадцать [7; 37–38].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*
<1935>
15 января. Днем в вестибюле филиала М. А. окликнул и потом подошел к нему Анатолий Каменский. Болтлив. М. А. слушал молча, изредка односложно отве-

чая. Из рассказов А. Каменского: был в Париже на спектакле «Белая гвардия». Когда актеры начали петь «Боже, царя храни...», публика встала. «Не встали только Милюков и я» [7; 85].

Марк Исаакович Прудкин:

А разве можно забыть Михаила Афанасьевича во время наших гастролей в Киеве, где протекали дни Турбиных? С увлечением водил он нас по городу, показывал места, улицы и дома, связанные с событиями из «Дней Турбиных». Особенно запомнился Михаил Афанасьевич в момент, когда мы пришли в здание бывшей Александровской гимназии, где теперь помещается одно из городских учреждений. И вот, не смущаясь присутствием сотрудников этого учреждения, он сыграл нам почти всю сцену «В гимназии» из «Турбиных». Он играл и за Алексея Турбина, и за его брата Николку, и за петлюровцев [5; 267].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1935>

6 сентября.

Сегодня 600-й спектакль «Турбиных». Театр не поздравлял М. А. [7; 102].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

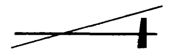
<1938>

5 сентября. <...> Сегодня 800-й спектакль «Турбиных» [7; 199].

Федор Николаевич Михальский:

Уже после смерти Михаила Афанасьевича, летом 1941 года, мы выехали на гастроли в Минск. В репертуаре были «Дни Турбиных». Вагоны с декорация-

ми спектакля пришли в Минск ночью под 22 июня и стояли на товарной станции, ожидая разгрузки. А ранним солнечным утром первый дикий налет фашистских летчиков безвозвратно уничтожил все декорации, костюмы и бутафорию спектакля, сгоревшие вместе с вагонами [5; 258].



Страсти по «Мольеру»

Елена Сергеевна Булгакова:

Как-то осенью 29 года М. А. очень уж настойчиво звал по телефону — приехать к нему на Пироговскую. Пришла. Он запер тщательно все двери — входную, из передней в столовую, из столовой в (его) кабинет, загнал меня в угол около круглой черной печки и, все время оглядываясь, шепотом сказал, что есть важнейшее известие, сейчас скажет. Я привыкла к его розыгрышам, выдумкам, фокусам, но тут и я не смогла догадаться, шутит он или всерьез говорит.

Потребовал тысячу клятв в молчании, наконец сообщил, что надумал написать пьесу.

— Ну! Современную?

— Если я тебе скажу два первых слова, понимаешь, скажу первую реплику, ты сразу догадаешься и о времени и о ком...

— Ну, ну...

— Подожди... — Опять стал проверять двери, шептать заклинания, оглядываться.

— Ну, говори.

После всяких отнекиваний, а главное, уверений, что первая реплика объясняет все, — шепотом сказал: — «Рагно, воды!» — И торжествующе посмотрел на меня. — Ну, поняла?

Срам ужасный — ничего не поняла — ни какое время, ни о ком пьеса.
— Э-э, притворяешься. Все поняла.
Пришлось признаться в полном своем невежестве.
— Ну, как же... Ведь все ясно. Рагно — слуга Мольера, пьеса о Мольере! Он выбегает со сцены в свою уборную и кричит: «Рагно, воды!», утирает лоб полотенцем. Ну, смотри, ни-ко-му ни слова! [5; 395]

Михаил Михайлович Яншин:

Художественный театр ставил пьесу Булгакова «Кабала святош».
Репертуарный комитет протестовал против этого названия и требовал, чтобы пьеса называлась «Мольер». Я играл Бутона, слугу Мольера, и, пока мы репетировали с Горчаковым, все шло нормально. Но вот пьеса попала в руки Константина Сергеевича. И, как это бывало всегда, Константин Сергеевич, вероятно, больше, чем надо, сосредоточился на названии пьесы — «Мольер».
— Вы чувствуете, — говорил он нам, — какова ответственность наша перед великим именем, какова ответственность наша перед народом, какова ответственность наша перед французами, — мы ставим пьесу о великом Мольере!
И он стал делать спектакль-гала.
Отношение к этой пьесе как к биографической пьесе о Мольере было ошибкой Станиславского. Реперткoм, изменив название, спутал карты. А в те времена уже были случаи снятия пьес как пьес «лжеисторических». Под эту рубрику и попал спектакль «Мольер» [5; 274].

Виталий Яковлевич Виленкин:

В Художественном театре уже который год тянулась работа над «Мольером» («Кабала святош»). Ее отодвигала то одна, то другая параллельная поста-

новка. Менялись исполнители: я еще застал, например, одну репетицию с Хмелевым — Людовиком XIV, хотя эта роль уже давно прочно числилась за М. П. Болдуманом, в результате блестяще ее сыгравшим. Роль Мольера первоначально должен был играть Москвин, потом она перешла к В. Я. Станицыну, и это было едва ли не главной бедой этого многострадального спектакля: Москвин, при всей своей «русскости», конечно, внес бы в него всю силу своего драматизма, свою страстность, свою поразительную способность сочетать в одном и том же образе глубочайшую человеческую униженность с величием возвышенной души; Станицын же был превосходным актером характерного склада, талант его был преимущественно комедийным и ярче всего проявлялся в небольших ролях (фон Шратт в «Турбиных», губернатор в «Мертвых душах», Репетилов в «Горе от ума»). Репетиции «Мольера» подолгу вообще исчезали из ежедневных мхатовских расписаний, потом появлялись снова. Ставил спектакль Н. М. Горчаков, но верховное руководство пока все еще оставалось за Константином Сергеевичем, хотя в это время он в театре уже почти не бывал.
Актеры вместе с режиссером, а иногда и с автором пьесы вызывались к нему в Леонтьевский переулок. Они, по-моему, больше боялись этих вызовов, чем радовались им [5; 288].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*
<1935>
5 марта.
Тяжелая репетиция у Станиславского. «Мольер». М. А. пришел разбитый и взбешенный. К. С. вместо того, чтобы разбирать игру актеров, стал при актерах разбирать пьесу. Говорит наивно, представляет себе Мольера по-гимназически. Требует вписываний в пьесу.

10 марта.
Опять у Станиславского. Маленький оперный зал в Леонтьевском. Станиславский начал с того, что погладил М. А. по рукаву и сказал: «Вас надо оглаживать». Очевидно, ему уже передали, что М. А. обозлился на его разбор при актерах.
Часа три торговались.
Мысль Станиславского в том, что надо показать во всех картинах, что Мольер – создатель гениального театра. Хочет вписывания таких вещей, которые М. А. считает тривиальными или ненужными.
Яростное столкновение со Станицыным и Ливановым, которые, обрадовавшись поддержке К. С., стали требовать вставок в роли.
Но сегодня М. А. пришел домой в лучшем состоянии, чем в прошлый раз. Как-то успокоился. Говорит, что Станиславский очень хорошо сострил про одного маленького актера, который играет монаха при кардинале – что «это поп от ранней обедни, а не от поздней» [7; 87–88].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма П. С. Попову. Москва, 14 марта 1935 г.:*
Мною многие командуют.
Теперь накомандовал Станиславский. Прогнали для него «Мольера» (без последней картины (не готова)), и он, вместо того чтобы разбирать постановку и игру, начал разбирать пьесу.
В присутствии актеров (на пятом году!) он стал мне рассказывать о том, что Мольер гений и как этого гения надо описывать в пьесе.
Актеры хищно обрадовались и стали просить увеличивать им роли.
Мною овладела ярость. Опьянило желание бросить тетрадь, сказать всем: пишите вы сами про

гениев и про негениев, а меня не учите, я все равно не сумею. Я буду лучше играть за вас.

Но нельзя, нельзя это сделать! Задавил в себе это, стал защищаться.

Дня через три опять! Поглаживал по руке, говорил, что меня надо оглаживать, и опять пошло то же.

Коротко говоря, надо вписывать что-то о значении Мольера для театра, показать как-то, что он гениальный Мольер, и прочее.

Все это примитивно, беспомощно, не нужно! И теперь сижу над экземпляром, и рука не поднимается. Не вписывать нельзя — идти на войну — значит сорвать всю работу, вызвать кутерьму форменную, самой же пьесе повредить, а вписывать зеленые заплаты в черные фрачные штаны!.. Черт знает, что делать!

Что это такое, дорогие граждане? [2; 530–531]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1935>

20 марта.

Все это время прошло — у Станиславского с разбором «Мольера». М. А. измучен.

Станиславский хочет исключить лучшие места: стихотворение, сцену дуэли и т. д. У актеров не удается, а он говорит — давайте исключим.

М. А. говорит:

— Я не доказываю, что пьеса хорошая, может быть, она плохая. Но зачем же ее брали? Чтобы потом калечить по-своему?

Вчера у нас были Оля с Калужским. М. А. рассказывал нам, как все это происходит в Леонтьевском.

Семнадцатый век старик называет «средним веком», его же — «восемнадцатым». Пересыпает свои речи длинными анекдотами и отступлениями, что-то рассказывает про Стаховича, про французских актеров,

доказывает, что люди со шпагами не могут появиться на сцене, то есть нападает на все то, на чем пьеса держится.
Портя какое-нибудь место, уговаривает М. А. «полюбить эти искажения».
А сегодня вздумал пугать М. А. французским послом:
– А что вы сделаете, если посол возьмет и уедет со второго акта? <...>
М. А. говорит:
– Представь себе, что на твоих глазах Сергею начинают щипцами уши завивать и уверяют, что это так и надо, что чеховской дочке тоже завивали, и что ты это полюбить должна... <...>

1 апреля.
Вчера М. А. пригласили в партком, там было обсуждение «Мольера». Мамошин говорил, что надо разобраться, что это за пьеса и почему она так долго не выходит. А также о том, что «мы должны помочь талантливому драматургу Михаилу Афанасьевичу Булгакову делать шаги».
О пьесе говорил: «Она написана неплохо».
Заседание было длинное, сперва с исполнителями, потом их удалили. <...>

5 апреля.
<...> Кто-то рассказал М. А. (он сам не видел), что в Театре вывешена резолюция парткома, в которой сказано что-то вроде того, что «пьесе грозила опасность превратиться в личную драму Мольера, но ввиду того, что К. С. хочет расширить ее, — ее следует выпустить». <...>

7 апреля.
<...> М. А. приходит с репетиций у К. С. измученный. К. С. занимается с актерами педагогическими этюдами. М. А. взбешен — никакой системы

нет и не может быть. Нельзя заставить плохого актера играть хорошо.

Потом развлекает себя и меня показом, как играет Коренева Мадлену. Надевает мою ночную рубашку, становится на колени и бьет лбом о пол (сцена в соборе) [7; 88 – 91].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Читая записи нескольких репетиций и бесед с ними Станиславского по «Мольеру», состоявшихся в марте—апреле 1935 года, нетрудно понять, почему это было неизбежно. Создается впечатление, что Константин Сергеевич не то не полюбил, не то разлюбил пьесу Булгакова; пытался репетировать с актерами какую-то другую, свою, воображаемую пьесу о «гениальном Мольере» и его борьбе с королем и церковью, пьесу, скорее всего, историко-биографического характера. Поэтому его сплошь да рядом не устраивало то, что было написано Булгаковым, и он требовал от него (на пятом году работы над спектаклем!) бесконечных переделок и дописок. Увлекаясь репетированием отдельных сцен, кусков и кусочков действия, он упорно добивался от актеров своих знаменитых «маленьких правд», долженствующих слиться в единую непреложную правду «живого человека на сцене», но на его репетициях «Мольера» этого решающего перехода так и не происходило. Оттого-то эти репетиции постоянно переходили в упражнения по «методу физических действий», которым в это время Константин Сергеевич горел, утверждению которого он себя посвятил безраздельно, – он сам говорил, что это ему теперь гораздо важнее любой постановки в театре. Для «Мольера» он, в сущности, только урывал время, хотя иной раз и увлекался ходом репетиций. В такие моменты мелькали искры чудесных режис-

серских находок и подсказов актерам, это видно даже из сухих протокольных записей. Беда была в том, что репетиция в Леонтьевском все чаще превращалась в упражнения и беседу. А для бесед, как казалось, было уже поздно. Отчаяние автора дошло до предела, когда ему было предложено включить в сцену Арманды и Муаррона не больше и не меньше как репетицию «какой-нибудь маленькой, короткой пьески» Мольера, а потом еще и переписать заново всю сцену тайного заседания «кабалы». Тут он взорвался и послал Станиславскому письмо с отказом от каких бы то ни было дальнейших переделок пьесы и с просьбой вернуть ее ему, если в своем настоящем виде она театру не подходит. Письмо это, как говорили в театре, глубоко оскорбило Станиславского, и вскоре он отошел от этого спектакля уже бесповоротно [5; 288–290].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1936>

6 февраля.

Вчера, после многочисленных мучений, была первая генеральная «Мольера», черновая. Без начальства. Я видела только Аркадьева, секретаря ВЦИК Акулова да этого мерзавца Литовского.

Это не тот спектакль, о котором мечталось. Но великолепны: Болдуман – Людовик и Бутон – Яншин. Очень плохи – Коренева (Мадлена – совершенно фальшивые интонации), Подгорный – Одноглазый и Герасимов – «Регистр» (Лагранж).

Вильямс сделал прекрасное оформление, публика аплодировала декорациям. Когда Ларин (Шарлатан) кончил играть на клавесине, прокатился первый аплодисмент по залу. Аплодировали реплике короля: «Посадите, если вам не трудно, на три месяца в тюрьму отца Варфоломея...»

Аплодировали после каждой картины. Шумный успех после конца. М. А. извлекли из вестибюля (он уже уходил) и вытащили на сцену.
Выходил кланяться и Немирович — страшно довольный [7; 111–112].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Тем не менее работа над «Мольером» была наконец закончена, и спектакль, который Горчаков выпускал теперь уже под руководством Немировича-Данченко, был показан зрителю: в феврале 1936 года состоялось шесть открытых генеральных, а затем семь спектаклей, которые прошли с большим успехом. Большинство в театре считало, что спектакль, несмотря ни на что, получился значительный, хотя он и ниже пьесы, не охватывает ее глубин [5; 290–291].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1936>

11 февраля.

Сегодня был первый, закрытый, спектакль «Мольера» — для пролетарского студенчества. Перед спектаклем Немирович произносил какую-то речь — я не слышала, пришла позже. М. А. сказал — «ненужная, нелепая речь».
После конца, кажется, двадцать один занавес. Вызывали автора, М. А. выходил. Ко мне подошел какой-то человек и сказал: «Я узнал случайно, что вы — жена Булгакова. Разрешите мне поцеловать вашу руку и сказать, что мы, студенты, бесконечно счастливы, что опять произведение Булгакова на сцене. Мы его любим и ценим необыкновенно. Просто скажите ему, что это зритель просил передать». <...>
Сегодня в «Советском искусстве» статья Литовского о «Мольере». Злобой дышит.
Сегодня смотрел «Мольера» секретарь Сталина Поскребышев. Оля, со слов директора, сказала,

что ему очень понравился спектакль и что он говорил: «Надо непременно, чтобы И. В. посмотрел». <...>

16 февраля.
Итак, премьера «Мольера» прошла. Сколько лет мы ее ждали! Зал был, как говорит Мольер, нашпигован знатными людьми. <...>
В антракте дирекция пригласила пить чай, там были все сливки, исключая, конечно, правительственных.
Успех громадный. Занавес давали, по счету за кулисами, двадцать два раза. Очень вызывали автора. <...>

17 февраля.
В подвале «Вечерки» ругательная рецензия некоего Рокотова – в адрес М. А. <...>
Короткая неодобрительная статья в газете «За индустриализацию».
Вечером – второй спектакль «Мольера» (я не пошла) – восемнадцать занавесов. <...>

24 февраля.
Дневной спектакль «Мольера». Мы с М. А. поехали к концу спектакля.
В мхатовской газете «Горьковец» отрицательные отзывы о «Мольере» Афиногенова, Всеволода Иванова, Олеши и Грибкова, который пишет, что пьеса «лишняя на советской сцене».
Спектакль имеет оглушительный успех. Сегодня бесчисленное количество занавесов [7; 112–115].

Виталий Яковлевич Виленкин:
Зрительский интерес к спектаклю был огромный. И вдруг, как снег на голову, – невероятно резкая кри-

тическая статья о пьесе в «Правде», со зловещим по тем временам отсутствием подписи, под заголовком: «Внешний блеск и фальшивое содержание». И тут же, чуть ли не на другой день, — решение дирекции театра снять «Мольера» с репертуара.

Даже Немирович-Данченко узнал об этом как об уже совершившемся событии. Такая торопливость многим показалась непонятной. Булгаков никогда не мог простить МХАТу, что он не встал на его защиту [5; 291–292].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1936>

9 марта.

В «Правде» статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», без подписи.

Когда прочитали, М. А. сказал: «Конец „Мольеру“, конец „Ивану Васильевичу“».

Днем пошли во МХАТ — «Мольера» сняли, завтра не пойдет. <...>

10 марта.

В «Литературной газете» статья Алперса. Ляганье.

Теперь выясняется, что уже с первых чисел марта поползли слухи, что «Мольера» снимут.

Явно снимают и «Ивана Васильевича».

11 марта.

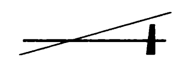
Горчаков звал на сегодняшнюю репетицию «Ивана Васильевича». Зачем себя мучить?

Театр мечется, боится ставить. Спектакль был уже объявлен на афише, и, кажется, даже билеты продавались.

В «Советском искусстве» сегодня «Мольер» назван убогой и лживой пьесой.

Как жить? Как дальше работать М. А.? [7; 116–117]

Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:* В начале марта 1936 года на последней странице «Правды» появилось извещение, что проводится открытый конкурс на учебник по русской истории для средней школы. Е. С. застала Булгакова за тщательным изучением этого объявления. «Зачем тебе это?» – спросила Е. С. «Так, может быть, пригодится». А 9 марта появилась статья о постановке «Мольера»: «Внешний блеск и фальшивое содержание». Булгаков вошел в комнату Е. С. с газетой: «Ты понимаешь, что это значит? Это конец». В самом деле, «Мольера» тут же сняли, сняли и комедию «Иван Васильевич», готовившуюся в Театре сатиры, а уж и афиши были расклеены на тумбах. Булгаков сказал: «Едем на Кузнецкий» – и целое утро ходил по магазинам, покупал исторические книги, курс Ключевского, карты и атласы. Дома застелил все полы картами и начал писать учебник по истории для 4-го класса. Он кончил бы его, если бы не начавшиеся к лету сильные головные боли: они погнали его отдыхать – в Синоп [5; 417–418].



Спор о Пушкине

Сергей Александрович Ермолинский:

Однажды, понизив голос до шепота, он сообщил:
— Пишу пьесу о Пушкине. Об этом никому. Пьесу о Пушкине, но в ней не будет Пушкина. Понимаешь? Величайшая тайна! [5; 469]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

18 октября.

Днем были у В. В. Вересаева. М. А. пошел туда с предложением писать вместе с В. В. пьесу о Пушкине, то есть чтобы В. В. подбирал материал, а М. А. писал.

Мария Гермогеновна встретила это сразу восторженно. Старик был очень тронут, несколько раз пробежался по своему уютному кабинету, потом обнял М. А.

В. В. зажегся, начал говорить о Пушкине, о двойственности его, о том, что Наталья Николаевна была вовсе не пустышка, а несчастная женщина.

Сначала В. В. был ошеломлен — что М. А. решил пьесу писать без Пушкина (иначе будет вульгарной) — но, подумав, согласился [7; 76].

Сергей Александрович Ермолинский:

Он начал встречаться с В. В. Вересаевым и договорился с ним о совместной работе. Вересаев, выпустивший очень читаемую тогда книгу «Пушкин в жизни», должен был подготовить материал к пьесе. Вряд ли Булгаков нуждался в соавторстве, но он посчитал себя душевно обязанным пойти на это. В начале 1931 года, когда он оказался в положении «безработного литератора», к нему приехал В. В. Вересаев. Они были знакомы, переписывались, но встречались редко, поэтому визит его был неожидан. В очень вежливой форме Викентий Викентьевич предложил Булгакову взаймы пять тысяч, тут же попросив его не отказываться и не говорить ненужных благодарностей. «Не сомневаюсь, Михаил Афанасьевич, — сказал он, — что дела ваши вскоре поправятся. А сейчас долгом своим считаю помочь, ибо писатель обязан помогать писателю в беде». Отнюдь не склонный к расточительству и более чем аккуратный в делах денежных, Вересаев высказался в такой безукоризненной, даже несколько старомодной форме, что Булгаков принял у него деньги. Вскоре долг был возвращен, но поступок Вересаева навсегда остался в памяти. Так возникло это «соавторство», на которое Вересаев согласился с заметным удовольствием. Договор на написание пьесы о Пушкине они совместно подписали с Театром им. Вахтангова [5; 469–470].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

18 декабря.

У Вересаева. М. А. рассказывал свой план пьесы. Больше всего запомнилось: Наталья, ночью, облитая светом с улицы. Улыбается, вспоминает. И там

же — тайный приход Дантеса. Обед у Салтыкова. В конце — приход Данзаса с известием о ранении Пушкина [7; 83].

Сергей Александрович Ермолинский:

Всю работу в дальнейшем Булгаков вел один, Вересаев ограничивался советами, и чем дальше писалась пьеса, тем больше становилась она для Булгакова кровно своей [7; 470].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1935>

12 февраля.

Днем ходили с М. А. на лыжах, по Москве-реке. Вечером — к Вересаевым.

М. А. читал четвертую, пятую, шестую, седьмую и восьмую картины. Старику больше всего понравилась четвертая картина — в жандармском отделении.

Вообще они все время говорят, что пьеса будет замечательная, несмотря на то, что после читки яростно критиковали некоторые места. Старик не принимает выстрела Дантеса в картину.

А Мария Гермогеновна оспаривает трактовку Натальи. Но она неправа, это признал и В. В. <...>

18 февраля.

Вечером были у Вересаевых. Там были пушкинисты: Цявловский с женой, Чулков, Неведомский, Верховский, кроме того — Тренев, Русланов.

Я, по желанию Викентия Викентьевича, сделала небольшой доклад по поводу моего толкования некоторых записей Жуковского о последних днях Пушкина.

За ужином Вер<есаев>, шутя, посвятил меня в «пушкинисты» (как в рыцарей посвящали).

Цявловский с диким темпераментом говорил о Пушкине, о книге «Литературное насл. Пушкина». Неведомский болтал, болтал и залил красным вином скатерть. <...>

5 апреля.
М. А. у Вересаева. Читал две последних картины из «Пушкина» — вчерне. <...>

20 мая.
Вересаев прислал М. А. совершенно неожиданное письмо. Смысл в том, что «его не слушают». Нападает на трактовку Дантеса в особенности. Кроме того, еще на некоторые детали («Дубельт не может цитировать Евангелие»...). М. А. тут же засел за ответ [7; 86–87, 90, 99].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. В. Вересаеву. Москва, 20–21 мая 1935 г.:*
Вы пишете, что не хотите довольствоваться ролью смиренного поставщика материала. Вы не однажды говорили мне, что берете на себя извлечение материалов *для* пьесы, а всю драматургическую сторону предоставляете мне. Так мы и сделали.
Но я не только все время следил за тем, чтобы наиболее точно использовать даваемый Вами материал, но и всякий раз шел на то, чтобы делать поправки в черновиках при первом же возражении с Вашей стороны, не считаясь с тем, касается ли дело чисто исторической части или драматургической. Я возражал лишь в тех случаях, когда Вы были драматургически неубедительны. Приведу Вам примеры.
Исторически известно, что Пушкин всем сильно задолжал. Я ввожу в первой картине ростовщицу. Вы утверждаете, что ростовщица нехороша и

нужен ростовщик. Я немедленно меняю. Что лучше с моей точки зрения? Лучше ростовщица. Но я уступаю.

Вы говорите, что Бенкендорф не должен возвращаться со словами «не туда». Я выбрасываю это возвращение. Вы говорите, что Геккерен на мостике уступает свою карету или сани. Соглашаюсь — выправляю.

Вы критикуете черновую сцену Александрины и Жуковского. Я ее зачеркиваю, не читаю и вместо нее начинаю составлять новую.

Вы набрасываете план сцены кольца. Я, следуя плану, облекаю в динамическую форму сцену с чтением стихотворения у фонаря, но Вас это не удовлетворяет. Вы говорите: «Нет, чтец должен убежать». Я, конечно, не согласен с этим, ни жизненно, ни театрально он убежать не мог. Тем не менее я меняю написанное. Чтец убегает.

Я не буду увеличивать количество примеров.

Я хочу сказать, что Вы, Викентий Викентьевич, никак не играете роль смиренного поставщика материалов.

Напротив, Вы с большой силой и напряжением и всегда категорически настаиваете на том, чтобы в драматургической ткани всюду и везде, даже до мелочей, был виден Ваш взгляд.

Однако бывают случаи, когда Ваш взгляд направлен неверно, и тут уж я хочу сказать, что я не хотел бы быть смиренным (я повторяю Ваше слово) драматургическим обработчиком, не смеющим судить о верности того мотива, который ему представляют.

Вот случаи с Дубельтом и Салтыковым.

Почему Дубельт не может цитировать Священное писание?

Дубельт «ловко цитировал в подтверждение своих слов места из Священного писания, в котором был, по-видимому, *очень сведущ*, и искусно ловил на словах» (Костомаров. Автобиография. «Русск. мысль», 1885, V, 127. Цит. Лемке. «Николаевские жандармы». СПб. 1909, с. 121 и 122).

Почему Салтыков не может говорить об инкогнито? «...проходил, сильно стуча испанской тростью, через библиотеку в свой кабинет. Он называл его своим „инкогнито"» («Русский архив», 1878, II, с. 457).

Объясните мне, почему с такой настойчивостью Вы выступаете против этих мест? Вы говорите, что мы договорились определенно, что я изменю эти места. Нет, мы не договаривались об этом, а говорили лишь о том, не следует ли сократить цитату Дубельта.

Вы называете выстрел Дантеса «безвкусным». Это хорошо, что Вы высказываете свое литературное мнение в прямых и резких словах; тем самым Вы, конечно, и мне даете право делать то же самое. Я воспользуюсь этим правом, когда буду говорить о Дантесе.

Я считаю, что выстрел, навеянный пушкинским выстрелом Сильвио, есть самая тонкая концовка картины и что всякая другая концовка будет хуже. Я готов признать, что у меня нет вкуса, но вряд ли кто-нибудь признает, что у меня нет опыта. И вряд ли кто-нибудь докажет, что выстрел Дантеса хоть в чем-нибудь нарушает историю.

Вообще в Дантесе у нас серьезная неслаженность. Вы пишете: «Образ Дантеса нахожу в корне неверным и, как пушкинист, никак не могу принять на себя ответственность за него».

Отвечаю Вам: я, в свою очередь, Ваш образ Дантеса считаю сценически невозможным. Он настолько

беден, тривиален, выхолощен, что в серьезную пьесу поставлен быть не может. Нельзя трагически погибшему Пушкину в качестве убийцы предоставить опереточного бального офицерика. В частности, намечаемую фразу «я его убью, чтобы освободить Вас» Дантес не может произнести. Это много хуже выстрела в картину.

Дантес не может восклицать «О, ла-ла!». Дело идет о жизни Пушкина в этой пьесе. Если ему дать несерьезных партнеров, это Пушкина унизит. <...>

Я все-таки питаю надежду, что мы договоримся. От души желаю, чтобы эти письма канули в Лету, а осталась бы пьеса, которую мы с Вами создавали с такой страстностью.

Преданный Вам *М. Булгаков*
[2; 537 – 540].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

22 мая.
Звонил Вересаев – предлагает забыть письмо. Цитатой (для Дубельта) был оглушен – «Давайте поцелуемся хоть по телефону!». <...>

30 мая.
Был Вересаев. Начал с того, что говорил о незначительных изменениях в ремарках и репликах (Никита не в ту дверь выходит, прибавить Богомазову слова «на театре»).

Потом пришел Гр. Конский, и мы с ним сидели в кабинете, а М. А. и Вересаев разговаривали в столовой. Со слов М. А. – старик вмешивается в драматургическую область, хочет ломать образ Дантеса, менять концовку с Битковым и т. д. Сначала говорил очень решительно, даже говорил, что им «придется

разъехаться» и он снимет свою фамилию (получая 50% гонораров). Но потом опять предложил — давайте мириться [7; 99–100].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. В. Вересаеву. Москва, 16 августа 1935 г.:*
По всем узлам пьесы, которые я с таким трудом завязал, именно по всем тем местам, в которых я избегал лобовых атак, Вы прошли и с величайшей точностью все эти узлы развязали, после чего с героев свалились их одежды, и всюду, где утончалась пьеса, поставили жирные точки над «i».
Проверяя сцену Жуковского и Николая на балу, я с ужасом увидел фразу Николая: «Я его сотру с лица земли». Другими словами говоря, Николай в упор заявляет зрителю, прекращая свою роль: «Не ошибитесь, я злодей», а Вы, очевидно, хотите вычеркнуть сцену у Дубельта, где Николай, ничем себя не выдавая, стер Пушкина с лица земли.
Вам показалось мало того, что Геккерен в пьесе выписан чернейшей краской, и Вы, не считаясь ни с предыдущими, ни с последующими сценами, не обращая никакого внимания на то, что для Геккерена составлен специальный сложный характер, вставляете излишний, боковой, посторонний номер с торговлей — упрощенческий номер.
Но и этого мало. Тут же еще Дантес позволяет себе объяснить зрителю, что Геккерен — спекулянт. Причем все это не имеет никакого отношения ни к трагической гибели поэта, ни к Дантесу, ни к Наталье, вообще не имеет права на существование в этой пьесе. <...>
На том основании, что Вам не нравится изображенный Дантес, Вы, желая снизить его, снабдили его безвкусными остротами, чем Дантеса нового не создали, но авторов снизили чрезвычайно. Ведь не

может же быть речи о произнесении со сцены каламбура «в ложе» и «на ложе»! Я подозреваю, что театр снял бы этот каламбур, если бы мы даже и поместили его.

Любовные отношения Натальи и Дантеса приняли странную форму грубейшего флирта, который ни в какой связи с пьесой не стоит. <...>

Доходит до того, что Дантес уже не острит, а рассказывает о том, как он сострил на балу («законная»). Викентий Викентьевич, сказать, что мой Дантес плох,– можно, но этого еще недостаточно – нужно показать другого Дантеса.

То, что Вами написано, это не только не Дантес, это вообще никто, эту роль даже и сыграть нельзя. <...>

Вы мне, разбирая мою работу, всегда говорили в упор все. И это правильно. Лучше выслушать самую злую критику, чем заблуждаться и продолжать оставаться в заблуждении. Я вам хочу открыть, почему *я* так яростно воюю против сделанных Вами изменений. Потому что Вы сочиняете – не пьесу. Вы не дополняете характеры и не изменяете их, а переносите в написанную трагедию книжные отрывки, и, благодаря этому, среди живых и, во всяком случае, сложно задуманных персонажей появляются безжизненные маски с ярлыками «добрый» и «злодей». <...>

Передо мною два Ваших письма. В первом, от шестого июня, Вы называете пьесу – произведением замечательным, а меня – подлинным автором этого произведения. Предлагаете мне выявиться в ней целиком, потому что я имею на это большее право. А так как в пьесе есть вещи, с которыми Вы не согласны, предлагаете мне подписать пьесу одному. Свою помощь Вы при этом предлагаете мне как простой, ни к чему не обязывающий меня совет.

Я оценил это письмо и, в свою очередь, просил Вас дать еще дополнения, и именно Мойку и Строганова, с тем, что я их использую, затем отглажу пьесу и затем предоставлю Вам судить, хотите ли Вы ее подписать, или я подпишу один.

На том и порешили. Но после этого пришло Ваше письмо от первого августа, совершенно противоположное по содержанию июньскому, и Ваш материал, в котором не дополнения, а полная ломка уже готовой пьесы. При этом все сломанное Вы или ничем не заменяете, или предлагаете заменить тем, что заведомо не драматургично и что ясно снижает или совершенно уничтожает написанное.

Я Вас прошу вернуться к Вашему июньскому письму и поступить так, как Вы сами предложили, то есть предоставить мне возможность отделать пьесу (еще раз повторяю, она готова) и, наконец, сдать ее вахтанговцам.

Вы познакомитесь с окончательным экземпляром, и, если принципиально не примете моих трактовок, я подпишу пьесу один. В материальные наши отношения, как мы уговорились, это не вносит никаких изменений.

Из этого, конечно, никак не следует, что мы должны сделаться врагами.

Чем скорее Вы мне дадите ответ, тем более облегчите мою работу. Я, Викентий Викентьевич, очень устал [2; 544–547].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. В. Вересаеву. Москва, 27 августа 1935 г.:*

Я получил Ваше письмо от 22 августа, в котором Вы пишете, чтобы я отдавал пьесу в Театр в том виде, в каком нахожу нужным, но что Вы оставляете за собою право бороться, насколько это окажется для

Вас возможным, за устранение нарушений исторической правды в этой пьесе и за усиление ее общественного фона.

Я полагаю, что Вы, совершенно справедливо писавший мне о том, что в художественном произведении не может быть двух равновластных хозяев, что хозяин должен быть один и что таким хозяином в нашем случае могу быть только я, имеющий на это большее право, Вы, написавший мне такие слова: «Все это вовсе не значит, что я отказываюсь от дальнейшей посильной помощи, поскольку она будет приниматься Вами как простой совет, ни к чему Вас не обязывающий», — не можете даже поднимать вопроса о такой борьбе [2; 548].

Виталий Яковлевич Виленкин:

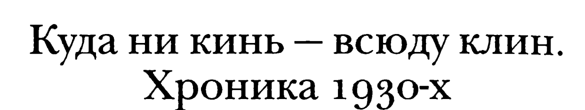
«Пушкин» был отдан Театру имени Вахтангова. Думаю, что так случилось главным образом из-за бесконечных откладываний выпуска «Мольера» в МХАТе. Булгаков переживал их все более мучительно. Мы не теряли надежды хотя бы на параллельную постановку к столетию со дня смерти Пушкина. Экземпляр пьесы в Художественном театре был и обсуждался долго. Ставить ее здесь мечтал И. Я. Судаков; ее активно поддерживали Сахновский и Литературная часть; она определенно нравилась Немировичу-Данченко. Станиславский остался к ней холоден. Леонидов, ценя в ней литературное мастерство, резко не принимал самого замысла: как это так — пьеса о Пушкине без роли Пушкина, публика никогда этого не примет! Качалов был всей душой за постановку именно этой пьесы к пушкинским торжествам: он видел в замысле Булгакова и тонкий художественный такт, и свежесть драматургии. После снятия «Мольера» эта надежда рухну-

ла. Прекратились и начавшиеся было репетиции пьесы «Пушкин» в Театре имени Е. Б. Вахтангова [5; 293].

Евгений Васильевич Калужский:

Пьеса «Последние дни (Пушкин)» была поставлена Художественным театром только весной 1943 года в эвакуации и с успехом шла на его сцене больше пятнадцати лет [5; 253].





Куда ни кинь — всюду клин. Хроника 1930-х

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. В. Вересаеву. Москва, 22–28 июля 1931 г.:*

27. VII.

Продолжаю: один человек с очень известной литературной фамилией и большими связями, говоря со мной по поводу другого моего литературного дела, сказал мне тоном полууверенности:

— У Вас есть враг.

Тогда еще фраза эта заставила меня насторожиться. Серьезный враг? Это нехорошо. Мне и так трудно, а тогда уж и вовсе не справиться с жизнью. Я не мальчик и понимаю слово «враг». В моем положении это — lasciate ogni speranza.

Лучше самому запастись KCN'ом! Я стал напрягать память. Есть десятки людей в Москве, которые со скрежетом зубовным произносят мою фамилию. Но все это в мирке литературном или околотеатральном, все это слабое, все это дышит на ладан.

Где-нибудь в источнике подлинной силы как и чем я мог нажить врага?

И вдруг меня осенило! Я вспомнил фамилии! Это — А. Турбин, Кальсонер, Рокк и Хлудов (из «Бега»).

Вот они, мои враги! Недаром во время бессонниц приходят они ко мне и говорят со мной: «Ты нас породил, а мы тебе все пути преградим. Лежи, фантаст, с загражденными устами».
Тогда выходит, что мой главный враг — я сам.
Имеются в Москве две теории. По первой (у нее многочисленные сторонники) я нахожусь под непрерывным и внимательнейшим наблюдением, при коем учитывается всякая моя строчка, мысль, фраза, шаг. Теория лестная, но, увы, имеющая крупнейший недостаток.
Так, на мой вопрос: «А зачем же, ежели все это так важно и интересно, мне писать не дают?» от обывателей московских вышла такая резолюция: «Вот тут-то самое и есть. Пишете Вы бог знает что и поэтому должны перегореть в горниле лишений и неприятностей, а когда окончательно перегорите, тут-то и выйдет из-под Вашего пера хвала».
Но это совершенно переворачивает формулу «Бытие определяет сознание», ибо никак даже физически нельзя себе представить, чтобы человек, бытие которого составлялось из лишений и неприятностей, вдруг грянул хвалу. Поэтому я против этой теории.
Есть другая. У нее сторонников почти нет, но зато в числе их я.
По этой теории — ничего нет! Ни врагов, ни горнила, ни наблюдения, ни желания хвалы, ни призрака Кальсонера, ни Турбина, словом — ничего. Никому ничего это не интересно, не нужно, и об чем разговор? У гражданина шли пьесы, ну, сняли их, и в чем дело? Почему этот гражданин, Сидор, Петр или Иван, будет писать и во ВЦИК, и в Наркомпрос, и всюду всякие заявления, прошения, да еще об загранице?! А что ему за это будет? Ничего не будет. Ни плохого, ни хорошего. Ответа просто не будет.

И правильно, и резонно. Ибо ежели начать отвечать всем Сидорам, то получится форменное вавилонское столпотворение.

Вот теория, Викентий Викентьевич! Но только и она никуда не годится. Потому что в самое время отчаяния, нарушив ее, по счастию, мне позвонил генеральный секретарь год с лишним назад. Поверьте моему вкусу: он вел разговор сильно, ясно, государственно и элегантно. В сердце писателя зажглась надежда: оставался только один шаг — увидеть его и узнать судьбу.

28.VII.

Но упала глухая пелена. Прошел год с лишним. Писать вновь письмо, уж конечно, было нельзя. И тем не менее этой весной я написал и отправил. Составлять его было мучительно трудно. В отношении к ген. секретарю возможно только одно — правда, и серьезная. Но попробуйте все уложить в письмо. Сорок страниц надо писать. Правда эта лучше всего могла бы быть выражена телеграфно:

«Погибаю в нервном переутомлении. Смените мои впечатления на три месяца. Вернусь».

И все. Ответ мог быть телеграфный же: «Отправить завтра».

При мысли о таком ответе изношенное сердце забилось, в глазах появился свет. Я представил себе потоки солнца над Парижем! Я написал письмо. Я цитировал Гоголя, я старался все передать, чем пронизан. Но поток потух. Ответа не было. Сейчас чувство мрачное. Один человек утешал: «Не дошло». Не может быть. Другой, ум практический, без потоков и фантазий, подверг письмо экспертизе. И совершенно остался недоволен. «Кто поверит, что ты настолько болен, что тебя должна сопровождать жена? Кто поверит, что ты вернешься? Кто поверит?» И так далее.

Я с детства ненавижу эти слова: «Кто поверит?..» Там, где это «кто поверит?», я не живу, меня нет. Я и сам мог бы задать десяток таких вопросов: «А кто поверит, что мой учитель Гоголь? А кто поверит, что у меня есть большие замыслы? А кто поверит, что я — писатель?» И прочее и так далее.

Ныне хорошего ничего не жду. Но одна мысль терзает меня. Мне пришло время, значит, думать о более важном. Но перед тем, как решать важное и страшное, я хочу получить уж не отпуск, а справку. Справку-то я могу получить. <...>

Викентий Викентьевич, я стал беспокоен, пуглив, жду все время каких-то бед, стал суеверен [2; 460–462].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма П. С. Попову. Москва, 7 мая 1932 г.:*

Итак, «Мертвые Души»... Через 9 дней мне исполнится 41 год. Это — чудовищно! Но тем не менее это так.

И вот, к концу моей писательской работы я был вынужден сочинять инсценировки. Какой блистательный финал, не правда ли? Я смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза—Ефрона? Островского? Но последний, по счастью, сам себя инсценировал, очевидно, предвидя то, что случится со мною в 1929–1931 гг. Словом...

1) «Мертвые Души» инсценировать нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает произведение. <...>

2) А как же я-то взялся за это?

Я не брался, Павел Сергеевич. Я ни за что не берусь уже давно, так как не распоряжаюсь ни одним моим шагом, а Судьба берет меня за горло. Как только меня назначили в МХТ, я был введен в качестве режис-

сера-ассистента в «М. Д.». <...> Одного взгляда моего в тетрадку с инсценировкой, написанной приглашенным инсценировщиком, достаточно было, чтобы у меня позеленело в глазах. Я понял, что на пороге еще Театра попал в беду — назначили в несуществующую пьесу. Хорош дебют? Долго тут рассказывать нечего. После долгих мучений выяснилось то, что мне давно известно, а многим, к сожалению, неизвестно: для того, чтобы что-то играть, надо это что-то написать.

Коротко говоря, писать пришлось мне.

Первый мой план: действие происходит в Риме (не делайте больших глаз!). Раз он видит ее из «прекрасного далека» — и мы так увидим!

Рим мой был уничтожен, лишь только я доложил exposé. И Рима моего мне безумно жаль!

3) Без Рима так без Рима.

Именно, Павел Сергеевич, резать! И только резать! И я разнес всю поэму по камням. Буквально в клочья. Картина I (или пролог) происходит в трактире в Петербурге или в Москве, где секретарь Опекунского совета дал случайно Чичикову уголовную мысль покойников купить и заложить (загляните в т. I, гл. XI). Поехал Чичиков покупать. И совсем не в том порядке, как в поэме. В картине X-й, называемой в репетиционных листах «Камеральной», происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрева, рассказ про Капитана Копейкина и приезжает живой Капитан Копейкин, отчего прокурор умирает, Чичикова арестовывают, сажают в тюрьму и выпускают (полицейский и жандармский полковник), ограбив дочиста. Он уезжает. «Покатим, Павел Иванович!»

Вот-с какие дела.

Что было с Немировичем, когда он прочитал! Как видите, это не 161-я инсценировка и вообще не ин-

сценировка, а совсем другое. (Всего, конечно, не упишешь в письме, но, например, Ноздрев всюду появляется в сопровождении Мижуева, который ходит за ним, как тень. Текст сплошь и рядом передан в другие уста, совсем не в те, что в поэме, и так далее.)

Влад. Иван. был в ужасе и ярости. Был великий бой, но все-таки пьеса в этом виде пошла в работу. И работа продолжается около 2-х лет! <...>

Когда выйдут «Мертвые Души»? По-моему — никогда. Если же они выйдут в том виде, в каком они сейчас, будет большой провал на Большой Сцене.

В чем дело? Дело в том, что для того, чтобы гоголевские пленительные фантасмагории ставить, нужно режиссерские таланты в Театре иметь. <...>

А впрочем, все равно. Все равно. И все равно! [2; 481–483]

Евгений Васильевич Калужский:

Мне всегда казалось, что в авторской индивидуальности Михаила Афанасьевича было много черт, сближавших его с Гоголем, которого он ценил, по-моему, необычайно высоко. Инсценировка, а вернее пьеса, была написана с громадным пониманием и уважением к великому автору. Все необходимые добавления, сделанные Булгаковым, были очень органичными, «гоголевскими» и по духу, и по смыслу. Боясь упреков в слишком «вольном» обращении с Гоголем, Станиславский посоветовал Булгакову отказаться от некоторых очень интересных сценических положений, введенных им в пьесу. Прав был Константин Сергеевич или чересчур осторожен — сейчас уже не важно. Михаил Афанасьевич так уважал Станиславского и верил ему, что согласился на его предложения.

Таким образом, место действия центральной сцены последнего действия, которая, по Булгакову, происходила в служебном кабинете жандармского полковника, было перенесено на квартиру прокурора и частично в номер гостиницы. Были отменены два дополнительных появления Коробочки, тоже введенных Михаилом Афанасьевичем. Приехав в город, чтобы узнать, не продешевила ли она, продавая Чичикову мертвые души, Коробочка впервые появлялась в конце акта в доме губернатора в самый разгар учиненного во время ужина Ноздревым скандала. Коробочка появлялась в дверях, все останавливалось, все смотрели на нее, а она на паузе, под занавес, спрашивала: «Почем ходят мертвые души?» Вторично она появлялась в кабинете жандармского полковника в момент паники среди чиновников, вызванной враньем Ноздрева о тождестве Чичикова с Наполеоном. После сообщения о приезде чиновника из столицы появлялась Коробочка и задавала тот же вопрос о ценах на мертвые души. Прокурор в ужасе смотрел на нее и падал мертвым. Занавес.

Был вымаран и рассказ о капитане Копейкине, который затягивал действие.

Сделанные Булгаковым прибавки к тексту роли зятя Мижуева и заново введенные персонажи — городские обыватели Макдональд Карлович и Сысой Пафнутьевич — органически слились с бессмертным произведением Гоголя.

Михаил Афанасьевич участвовал в постановке «Мертвых душ» и как режиссер-ассистент. Это был его дебют, который показал, что его работа в театре и в этом качестве была плодотворной [5; 250–251].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

11 декабря.

Приходила сестра М. А. – Надежда. Оказывается, она в приятельских отношениях с тем самым критиком Нусиновым, который в свое время усердно травил «Турбиных», вообще занимался разбором произведений М. А. и, в частности, написал статью (очень враждебную) о Булгакове для Литературной энциклопедии. Так вот, теперь энциклопедия переиздается, Нусинов хочет пересмотреть свою статью и просит для ознакомления «Мольера» и «Бег».

В это же время – как Надежда сообщает это – звонок Оли и рассказ из Театра:

– Кажется, шестого был звонок в Театр – из Литературной энциклопедии. Женский голос: – Мы пишем статью о Булгакове, конечно, неблагоприятную. Но нам интересно знать, перестроился ли он после «Дней Турбиных»?

Миша:

– Жаль, что не подошел к телефону курьер, он бы ответил: так точно, перестроился вчера в 11 часов. (Надежде): – А пьес Нусинову я не дам.

Еще рассказ Надежды Афанасьевны: какой-то ее дальний родственник по мужу, коммунист, сказал про М. А. – Послать бы его на три месяца на Днепрострой, да не кормить, тогда бы он переродился.

Миша:

– Есть еще способ – кормить селедками и не давать пить [7; 48].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма В. В. Вересаеву. Ленинград, 11 июля 1934 г.:*

К началу весны я совершенно расхворался: начались бессонницы, слабость и, наконец, самое пас-

кудное, что я когда-либо испытывал в жизни, страх одиночества, то есть, точнее говоря, боязнь оставаться одному. Такая гадость, что я предпочел бы, чтобы мне отрезали ногу!

Ну, конечно, врачи, бромистый натр и тому подобное. Улиц боюсь, писать не могу, люди утомляют или пугают, газет видеть не могу, хожу с Еленой Сергеевной под ручку или с Сережкой — одному — смерть!

Ну-с, в конце апреля сочинил заявление о том, что прошусь на два месяца во Францию и в Рим с Еленой Сергеевной (об этом я Вам писал). Сережка здесь, стало быть, все в полном порядке. Послал. А вслед за тем послал другое письмо. Г <орькому> . Но на это, второе, ответ получить не надеялся. Что-то там такое случилось, вследствие чего всякая связь прервалась. Но догадаться нетрудно: кто-то явился и что-то сказал, вследствие чего там возник барьер. И точно, ответа не получил!

Стал ждать ответа на заявление (в Правительственную комиссию, ведающую МХАТ, — А. С. Енукидзе).

— И Вам, конечно, отказали,— скажете Вы, — в этом нет ничего необыкновенного.

Нет, Викентий Викентьевич, мне не отказали.

Первое известие: «Заявление передано в ЦК».

17 мая лежу на диване. Звонок по телефону; неизвестное лицо, полагаю — служащий: «Вы подавали? Поезжайте в ИНО Исполкома, заполняйте анкету Вашу и Вашей жены».

К 4 часам дня анкеты были заполнены. И тут служащий говорит: «Вы получите паспорта очень скоро, относительно Вас есть распоряжение. Вы могли бы их получить сегодня, если бы пришли пораньше. Получите девятнадцатого».

Цветной бульвар, солнце, мы идем с Еленой Сергеевной и до самого центра города говорим только об одном — послышалось или нет? Нет, не послышалось, слуховых галлюцинаций у меня нет, у нее тоже.
Как один из мотивов, указан мной был такой: хочу написать книгу о путешествии по Западной Европе.
Наступило состояние блаженства дома. Вы представляете себе: Париж! Памятник Мольеру... здравствуйте, господин Мольер, я о Вас и книгу и пьесу сочинил; Рим! — здравствуйте, Николай Васильевич, не сердитесь, я Ваши «Мертвые души» в пьесу превратил. Правда, она мало похожа на ту, которая идет в театре, и даже совсем не похожа, но все-таки это я постарался... Средиземное море! Батюшки мои!..
Вы верите ли, я сел размечать главы книги!
Сколько наших литераторов ездило в Европу и — кукиш с маслом привезли! Ничего! Сережку нашего если послать, мне кажется, он бы интереснее мог рассказать об Европе. Может быть, и я не сумею? Простите, попробую!
19-го паспортов нет. 23-го на 25-е, 25-го — на 27-е.
Тревога. Переспросили: есть ли распоряжение? — Есть. Из Правительственной комиссии, через Театр узнаем: «Дело Булгаковых устроено».
Что еще нужно? Ничего.
Терпеливо ждать. Ждем терпеливо.
Тут уж стали поступать и поздравления, легкая зависть: «Ах, счастливцы!»
— Погодите, — говорю, — где ж паспорта-то?
— Будьте покойны! (Все в один голос.)
Мы покойны. Мечтания: Рим, балкон, как у Гоголя сказано — пинны, розы... рукопись... диктую Елене Сергеевне... вечером идем, тишина, благоухание...
Словом, роман!

В сентябре начинает сосать под сердцем: Камергерский переулок, там, наверно, дождик идет, на сцене полумрак, чего доброго, в мастерских «Мольера» готовят...

И вот в этот самый дождик я являюсь. В чемодане рукопись, крыть нечем!

Самые трезвые люди на свете — это наши мхатчики. Они ни в какие розы и дождики не веруют. Вообразите, они уверовали в то, что Булгаков едет. Значит же, дело серьезно! Настолько уверовали, что в список мхатчиков, которые должны были получить паспорта (а в этом году как раз их едет очень много), включили и меня с Еленой Сергеевной. Дали список курьеру — катись за паспортами.

Он покатился и прикатился. Физиономия мне его сразу настолько не понравилась, что не успел он еще рта открыть, как я уже взялся за сердце.

Словом, он привез паспорта всем, а мне беленькую бумажку — М. А. Булгакову отказано.

Об Елене Сергеевне даже и бумажки никакой не было. Очевидно, баба, Елизавет Воробей! О ней нечего и разговаривать.

Впечатление? Оно было грандиозно, клянусь русской литературой! Пожалуй, правильней всего все происшедшее сравнить с крушением курьерского поезда. Правильно пущенный, хорошо снаряженный поезд, при открытом семафоре, вышел на перегон — и под откос!

Выбрался я из-под обломков в таком виде, что неприятно было глянуть на меня [2; 515–518].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1934>

1 июня. <...>

Была у нас Ахматова. Приехала хлопотать за Осипа Мандельштама — он в ссылке.

Говорят, что в Ленинграде была какая-то история, при которой Мандельштам ударил по лицу Алексея Толстого.

В Москве волнение среди литераторов – идет прием в новый Союз писателей. Многих не принимают. Например, Леониду Гроссману (автор работы о Сухово-Кобылине и «Записок Д'Аршиака») сначала отказали в приеме, а потом приняли его.

Забежал к нам взволнованный Тренев и настойчиво советовал М. А. – «скорей» подать! 29 мая М. А. подал анкету.

М. А. чувствует себя ужасно – страх смерти, одиночества. Все время, когда можно, лежит. <...>

13 октября.

У М. А. плохо с нервами. Боязнь пространства, одиночества.

Думает, не обратиться ли к гипнозу. <...>

17 ноября.

Вечером приехала Ахматова. Ее привез Пильняк из Ленинграда на своей машине.

Рассказывала о горькой участи Мандельштама. Говорили о Пастернаке.

19 ноября.

После гипноза – у М. А. начинают исчезать припадки страха, настроение ровное, бодрое и хорошая работоспособность. Теперь – если бы он мог еще ходить один по улице.

28 ноября.

Вечером – Дмитриев. Пришел из МХАТа и говорит, что там была суета и оживление, вероятно, приехал кто-нибудь из Правительства, – надо полагать, Генеральный секретарь (на «Турбиных»). <...>

29 ноября.

Действительно, вчера на «Турбиных» были Генеральный секретарь, Киров и Жданов. Это мне в Театре сказали. Яншин говорил, что играли хорошо и что Генеральный секретарь аплодировал много в конце спектакля. <...>

1 декабря.

Днем позвонил Ермилов, редактор «Красной нови», и предложил М. А. напечатать в его журнале что-нибудь из произведений М. А. М. А. сказал о пьесе «Мольер»:

— Чудесно!

О фрагменте из биографии Мольера:

— Тоже чудесно!

Просил разрешения поставить имя М. А. в проспекте на 1935-й год. М. А. согласился. Условились, что Ермилов позвонит еще раз, а М. А. подберет материал.

Вечером премьера «Пиквика». Я в такси проводила М. А. Он оставался до конца спектакля. Приехал и сообщил: во время спектакля стало известно, что в Ленинграде убит Киров.

Тут же из Театра уехали очень многие, в том числе Рыков. <...>

<1935>

8 апреля.

<...> Вечером зашел Вересаев. М. А. говорил с ним о предложении Ермолинского инсценировать для кино будущего «Пушкина». <...>

Потом он ушел наверх к Треневу, где справлялись имянины жены Тренева. А через пять минут появился Тренев и нас попросил придти к ним. М. А. побрился, выкупался, и мы пошли. Там была целая тьма малознакомого народа. Длинный, составленный стол с горшком цветов посредине, покрытый холод-

ными закусками и бутылками. Хозяйка рассаживала гостей. Потом приехала цыганка Христофорова, пела. Пела еще какая-то тощая дама с безумными глазами. Две гитары. Какой-то цыган Миша, гитарист. Шумно. Пастернак с особенным каким-то придыханием читал свои переводные стихи, с грузинского. После первого тоста за хозяйку Пастернак объявил: «Я хочу выпить за Булгакова!» Хозяйка: «Нет, нет! Сейчас мы выпьем за Викентия Викентьевича, а потом за Булгакова!» — «Нет, я хочу за Булгакова! Вересаев, конечно, очень большой человек, но он — законное явление. А Булгаков — незаконное!» <...>

29 сентября.
Звонок из «Литературной газеты» — просят, чтобы М. А. дал информацию о «Пушкине». М. А. отказался — все равно не напечатают. Ведь ничего не написали о «Биографии Мольера», хотя он и давал информацию. И в «Moscow Daily News» и фотографию, которую упорно просили, не напечатали и карточку не вернули. <...>

3 октября.
Вечером у нас — Дмитриев. Привел Сергея Прокофьева. Вопрос об опере на основе пьесы М. А. о Пушкине. М. А. прочитал половину пьесы. А потом С. Прокофьев взял ее с собой. Он только просил М. А. ввести Глинку.
Пригласил нас завтра на концерт в Большом — он будет играть свою музыку к балету «Ромео и Джульетта». <...>

30 октября.
Приехала Ахматова. Ужасное лицо. У нее — в одну ночь — арестовали сына (Гумилева) и мужа — Н. Н. Пунина. Приехала подавать письмо Иос. Вис.
В явном расстройстве, бормочет что-то про себя.

31 октября.

Отвезли с Анной Андреевной и сдали письмо Сталину. Вечером она поехала к Пильняку. <...>

4 ноября.

Ахматова получила телеграмму от Пунина и Гумилева – их освободили. <...>

7 ноября.

Проводила М. А. утром на демонстрацию.

Потом рассказывал – видел Сталина на трибуне, в серой шинели, в фуражке. <...>

<1936>

6 января.

У нас в два часа – Яков Л., Мутных, Шостакович и Мелик-Пашаев. М. А. читал «Пушкина» (у них мысль об опере).

Шостакович очень вежливо благодарил, сказал, что ему очень понравилось, попросил экземпляр.

Потом обедали.

Шостакович играл из «Светлого ручья» – польку и вальс. Мелик – его вальс «Златые горы». <...>

28 января.

Сегодня в «Правде» статья без подписи «Сумбур вместо музыки». Разнос «Леди Макбет» Шостаковича. Говорится «о нестройном сумбурном потоке звуков»... Что эта опера – «выражение левацкого уродства»...

Бедный Шостакович – каково ему теперь будет. <...>

<1937>

18 февраля.

...> Вечером Вильямсы и Любовь Орлова. Поздно ночью, когда кончали ужинать, позвонил Гр. Александров и сообщил, что Орджоникидзе умер от разрыва сердца. Это всех потрясло. <...>

20 февраля.

Проводила М. А. в Большой. Вышли из метро на площадь Дзержинского, потому что на Театральную не выпускали.

М. А. был на репетиции «Руслана», потом его позвали на совещание о том, как организовать приветствие Блюменталь-Тамариной к ее 50-летнему юбилею. А потом он с группой из Большого театра вне очереди был в Колонном зале. Рассказывал, что народ идет густой плотной колонной (группу их из Большого театра присоединили к этой льющейся колонне внизу у Дмитровки). Говорит, что мало что рассмотрел, потому что колонна проходит быстро. Кенкеты в крепе, в зале колоссальное количество цветов, ярчайший свет, симфонический оркестр на возвышении. Смутно видел лицо покойного. <...>

27 апреля.

Шли по Газетному. Догоняет Олеша. Уговаривает М. А. пойти на собрание московских драматургов, которое открывается сегодня и на котором будут расправляться с Киршоном. Уговаривал выступить и сказать, что Киршон был главным организатором травли М. А.

Это-то правда. Но М. А. и не подумает выступать с таким заявлением и вообще не пойдет.

Ведь раздирать на части Киршона будут главным образом те, что еще несколько дней назад подхалимствовали перед ним. <...>

7 мая.

Сегодня в «Правде» статья Павла Маркова о МХАТ. О «Турбиных» ни слова. В списке драматургов МХАТа есть Олеша, Катаев, Леонов (авторы сошедших со сцены МХАТа пьес), но Булгакова нет. <...>

8 мая.

М. А. пошел на «Дубровского» в филиал. Звонок по телефону в половину двенадцатого вечера. От Керженцева. Разыскивает М. А. Потом — два раза Яков Леонтьевич с тем же — из кабинета Керженцева. Сказал, что если Керженцева уже не будет в кабинете, когда вернется М. А., то пусть М. А. позвонит завтра утром Платону Михайловичу. Что Яков Леонтьевич сказал Керженцеву о крайне тяжелом настроении М. А. Прибавил: — Разговор будет хороший.

9 мая.

Ну, что ж, разговор хороший, а толку никакого. Весь разговор свелся к тому, что Керженцев самым задушевным образом расспрашивал: — Как вы живете? Как здоровье, над чем работаете? — и все в таком роде.

М. А. говорил, что после всего разрушения, произведенного над его пьесами, вообще работать сейчас не может, чувствует себя подавленно и скверно. Мучительно думает над вопросом о своем будущем. Хочет выяснить свое положение.

На все это Керженцев еще более ласково уверял, что все это ничего, что вот те пьесы не подошли, а вот теперь надо написать новую пьесу, и все будет хорошо.

Про «Минина» сказал, что он его не читал еще, что пусть Большой театр даст ему. А «Минин» написан чуть ли не год назад, и уже музыка давно написана! Словом — чепуха. <...>

14 мая.
Вечером — Добраницкий. М. А-чу нездоровилось, разговаривал, лежа в постели. Тема Добраницкого — мы очень виноваты перед вами, но это произошло оттого, что на культурном фронте у нас работали вот такие как Киршон, Афиногенов, Литовский... Но теперь мы их выкорчевываем. Надо исправить дело, вернувши вас на драматургический фронт. Ведь у нас с вами (то есть у партии и у драматурга Булгакова) оказались общие враги и, кроме того, есть и общая тема — «Родина» — и далее все так же.
М. А. говорит, что он умен, сметлив, а разговор его, по мнению М. А., — более толковая, чем раньше, попытка добиться того, чтобы он написал если не агитационную, то хоть оборонную пьесу.
Лицо, которое стоит за ним, он не назвал, а М. А. и не добивался узнать.
Добраницкий сказал, что идет речь и о возвращении к работе Николая Эрдмана.

15 мая.
Утром — телефонный звонок Добраницкого. Предлагает М. А., если ему нужны какие-нибудь книги для работы, — их достать.
Днем был Дмитриев.
— Пишите агитационную пьесу!
М. А. говорит:
— Скажите, кто вас подослал?
Дмитриев захохотал.
Потом стал говорить серьезно.
— Довольно! Вы ведь государство в государстве! Сколько это может продолжаться? Надо сдаваться, все сдались. Один Вы остались. Это глупо! <...>

11 июня.
Утром сообщение в «Правде» прокуратуры Союза о предании суду Тухачевского, Уборевича, Корка,

Эйдемана, Фельдмана, Примакова, Путны и Якира по делу об измене Родине.
М. А. в Большом театре на репетиции «Поднятой целины». Разговор с Самосудом по поводу соловьевской оперы.
Митинг после репетиции. В резолюции — требовали высшей меры наказания для изменников. <...>

12 июня.
Сообщение в «Правде» о том, что Тухачевский и все остальные приговорены к расстрелу. <...>

22 июня.
Вечером — Федя. На днях уезжает в Париж. Поездку считает трудной, ответственной. Ну, конечно, разговор перебросился на дела М. А. Все тот же лейтмотив: М. А. не должен унывать, должен писать. М. А. сказал, что чувствует себя как утонувший человек — лежит на берегу, волны перекатываются через него... <...>

20 августа.
Холодный обложной осенний дождь.
После звонка телефонного — Добраницкий. Сказал, что арестован Ангаров. М. А. ему заметил, что Ангаров в его литературных делах (М. А.), в деле с «Иваном Васильевичем», с «Мининым» сыграл очень вредную роль.
Добраницкий очень упорно предсказывает, что судьба М. А. изменится сейчас к лучшему, а М. А. так же упорно в это не верит. Добраницкий:
— А вы жалеете, что в вашем разговоре 1930-го года со Сталиным вы не сказали, что хотите уехать?
— Это я вас могу спросить, жалеть ли мне или нет. Если вы говорите, что писатели немеют на чужби-

не, то мне не все ли равно, где быть немым — на родине или на чужбине? <...>

23 сентября.
Мучительные поиски выхода: письмо ли наверх? Бросить ли театр? Откорректировать роман и представить?
Ничего нельзя сделать. Безвыходное положение. <...>

2 октября 1937.
М. А. говорит за ужином:
– Подошел к полке снять первую попавшуюся книжку. Вышло — «Пессимизм»...
<...>

3 октября.
<...> В разговоре М. А. сказал:
– Я работаю на холостом ходу... Я похож на завод, который делает зажигалки... <...>

23 октября
<...> У М. А. из-за всех этих дел по чужим и своим либретто начинает зреть мысль – уйти из Большого театра, выправить роман («Мастер и Маргарита»), представить его наверх.
Вечером зашли на «Поднятую целину» — была премьера. Мне не понравилось. <...>

5 ноября.
Арестован Пильняк. <...>

11 ноября.
Заходила к Троицким, узнала, что Добраницкий арестован.
Вечером М. А. прибирал книги. Я вытирала с них пыль [7; 60–174].

Григорий Григорьевич Конский:

Входим в Сивцев Вражек. Сразу при входе в переулок на стене висит большой рекламный щит, почти весь заклеенный афишами разных кинотеатров. Щит привлекает мое внимание. Я вижу название какой-то новой, только что вышедшей картины. И наконец решаюсь прервать молчание.

— Скажите, Михаил Афанасьевич, почему вы не пишете для кино? У вас это, наверно, замечательно бы получилось!

— И это было, Гриша, — отвечает Михаил Афанасьевич, — все было... Но мне кажется иногда, что я стреляю из какого-то загнутого не в ту сторону ружья... Вот, кажется, прицелюсь, все в порядке, думаю — попаду в яблочко... Бац! И не туда... Пули ложатся где-то рядом... Не туда. Да...

Некоторое время мы опять идем молча.

— Позвонили мне тут как-то из «Совкино», — вдруг начинает Михаил Афанасьевич. — «Михаил Афанасьевич, почему бы вам не написать для нас сценарий? Этакую, знаете ли, смешную комедию...» — «Что вы? — отвечаю я. — И некогда мне сейчас... пьесу я дописываю... Да и вообще как-то не думал о работе в кино». — «А мы поможем, — послышался из трубки ласковый голос, — вы только напишите нам что-нибудь... ну, несколько страничек. Не сценарий, а либретто, что ли. Да даже не либретто, а заявочку просто — про что идет речь, какие персонажи, место действия... А уж мы разовьем. Додумаем, так сказать». — «Да я не знаю...» — отвечаю я. «А вы подумайте, — продолжает любезный голос, — мы вам позвоним через денек-два».

На том и расстались. И можете себе, Гриша, представить, повесил я трубку, часу не прошло — что-то начало в голове вертеться, а к вечеру и придумал сценарий.

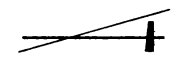
Ровно через два дня, точно — звонят.
— Ну как, Михаил Афанасьевич? Как заявочка?
— Придумал, — говорю.
В телефоне пауза.
— Так быстро?
— Так быстро, — отвечаю.
— Ну, так мы пришлем курьера. Сегодня-то не сможем, а вот через дня два-три обязательно. А вы напечатайте ее на машинке в трех экземплярах.
— Да чего ж печатать? — говорю я. — Вы вот послушайте, я вам сейчас расскажу. А вы мне ответите — нужно ли машинку или нет.
— Слушаю, — говорит любезный голос.
— Значит, дело обстоит так. Сгорел в одном провинциальном городе зоопарк. А зверей, которые остались целы, решили расселить по квартирам тех людей, у которых есть свободная площадь. Вот и вселили одному ответственному работнику удава. А там, оказывается, в доме такая атмосфера, что удав не выдержал, на третий день уполз. Вот и все.
В трубке наступила зловещая тишина. Потом голос растерянно сказал:
— М-да... интересно... очень интересно... Вы вот что... вы на машинку пока погодите, а мы дня через два-три позвоним и тогда обо всем договоримся.
— Ну вот и все, Гриша.
— Как — все? — спросил я.
— Все, — отвечал Михаил Афанасьевич, — это уж с полгода как было. Так никто и не звонил. Вот. А вы говорите — кино... Разве это не смешно? — вдруг, резко вскинув на меня глаза, спросил Михаил Афанасьевич.
— Смешно, очень смешно, — отвечал я.
— Честь имею кланяться, — пожав мне руку и шаркнув ногой, сказал Михаил Афанасьевич и скрылся в подъезде [5; 335–337].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1938>

20 декабря. <...> Миша — в гриппе, сильнейший насморк у него. Конечно, лежать в кровати не хочет, бродит по квартире, прибирает книги, приводит в порядок архив.

За ужином — вдвоем — говорили о важном. При работе в театре (безразлично, в каком, говорит Миша, а по-моему, особенно в Большом) — невозможно работать дома — писать свои вещи. Он приходит такой вымотанный из театра — этой работой над чужими либретто, что, конечно, совершенно не в состоянии работать над своей вещью. Миша задает вопрос — что же делать? От чего отказаться? Быть может, переключиться на другую работу? [7; 231–232]





Фантастический дивертисмент

Константин Георгиевич Паустовский:

Лишенный возможности печататься, он выдумывал для своих близких людей удивительные рассказы — и грустные, и шутливые. Он рассказывал их дома, за чайным столом. <...>

Я помню один такой рассказ.

Булгаков якобы пишет каждый день Сталину длинные и загадочные письма и подписывается: «Тарзан». Сталин каждый раз удивляется и даже несколько пугается. Он любопытен, как и все люди, и требует, чтобы Берия немедленно нашел и доставил к нему автора этих писем. Сталин сердится: «Развели в органах тунеядцев, а одного человека словить не можете!»

Наконец Булгаков пойман и доставлен в Кремль. Сталин пристально, даже с некоторым доброжелательством его рассматривает, раскуривает трубку и спрашивает не торопясь:

— Это вы мне эти письма пишете?

— Да, я, Иосиф Виссарионович.

Молчание.

— А что такое, Иосиф Виссарионович? — спрашивает обеспокоенный Булгаков.

— Да ничего. Интересно пишете.
Молчание.
— Так, значит, это вы — Булгаков?
— Да, это я, Иосиф Виссарионович.
— Почему брюки заштопанные, туфли рваные? Ай, нехорошо! Совсем нехорошо!
— Да так... Заработки вроде скудные, Иосиф Виссарионович.
Сталин поворачивается к наркому снабжения:
— Чего ты сидишь, смотришь? Не можешь одеть человека? Воровать у тебя могут, а одеть одного писателя не могут! Ты чего побледнел? Испугался? Немедленно одеть. В габардин! А ты чего сидишь? Усы себе крутишь? Ишь, какие надел сапоги! Снимай сейчас же сапоги, отдай человеку. Все тебе сказать надо, сам ничего не соображаешь!
И вот Булгаков одет, обут, сыт, начинает ходить в Кремль, и у него завязывается со Сталиным неожиданная дружба. Сталин иногда грустит и в такие минуты жалуется Булгакову:
— Понимаешь, Миша, все кричат: гениальный, гениальный! А не с кем даже коньяку выпить!
Так постепенно, черта за чертой, крупица за крупицей идет у Булгакова лепка образа Сталина. И такова добрая сила булгаковского таланта, что образ этот человечен, даже в какой-то мере симпатичен. Невольно забываешь, что Булгаков рассказывает о том, кто принес ему столько горя.
Однажды Булгаков приходит к Сталину, усталый, унылый.
— Садись, Миша. Чего ты грустный? В чем дело?
— Да вот пьесу написал.
— Так радоваться надо, когда целую пьесу написал. Зачем грустный?
— Театры не ставят, Иосиф Виссарионович.
— А где бы ты хотел поставить?
 — Да конечно, в МХАТе, Иосиф Виссарионович.

– Театры допускают безобразие! Не волнуйся, Миша. Садись. – Сталин берет телефонную трубку: – Барышня! А барышня! Дайте мне МХАТ! МХАТ мне дайте! Это кто? Директор? Слушайте, это Сталин говорит. Алло! Слушайте!
Сталин начинает сердиться и сильно дуть в трубку.
– Дураки там сидят в Наркомате связи. Всегда у них телефон барахлит. Барышня, дайте мне еще раз МХАТ. Еще раз, русским языком вам говорю! Это кто! МХАТ? Слушайте, только не бросайте трубку! Это Сталин говорит. Не бросайте. Где директор? Как? Умер? Только что? Скажи, пожалуйста, какой нервный народ пошел! Пошутить нельзя! [5; 107–108]

Елена Сергеевна Булгакова:

Будто бы
Михаил Афанасьевич, придя в полную безнадежность, написал письмо Сталину, что так, мол, и так, пишу пьесы, а их не ставят и не печатают ничего, – словом, короткое письмо, очень здраво написанное, а подпись: Ваш Трампазлин.
Сталин получает письмо, читает.
Сталин. Что за штука такая?.. Трам-па-злин... Ничего не понимаю!
(Всю речь Сталина Миша всегда говорил с грузинским акцентом.)
Сталин (нажимает кнопку на столе). Ягоду ко мне!
Входит Ягода, отдает честь.
Сталин. Послушай, Ягода, что это такое? Смотри – письмо. Какой-то писатель пишет, а подпись «Ваш Трам-па-злин». Кто это такой?
Ягода. Не могу знать.
Сталин. Что это значит – не могу? Ты как смеешь мне так отвечать? Ты на три аршина под землей все должен видеть! Чтоб через полчаса сказать мне, кто это такой!

Ягода. Слушаю, ваше величество!

Уходит, возвращается через полчаса.

Ягода. Так что, ваше величество, это Булгаков!

Сталин. Булгаков? Что же это такое? Почему мой писатель пишет такое письмо? Послать за ним немедленно!

Ягода. Есть, ваше величество! (Уходит.)

Мотоциклетка мчится — дззз!!! прямо на улицу Фурманова. Дззз!! Звонок, и в нашей квартире появляется человек.

Человек. Булгаков? Велено вас доставить немедленно в Кремль!

А на Мише старые белые полотняные брюки, короткие, сели от стирки, рваные домашние туфли, пальцы торчат, рубаха расхлистанная с дырой на плече, волосы всклокочены.

Булгаков. Тт!.. Куда же мне... как же я... у меня и сапог-то нет...

Человек. Приказано доставить, в чем есть!

Миша с перепугу снимает туфли и уезжает с человеком.

Мотоциклетка — дззз!!! и уже в Кремле! Миша входит в зал, а там сидят Сталин, Молотов, Ворошилов, Каганович, Микоян, Ягода.

Миша останавливается у дверей, отвешивает поклон.

Сталин. Что это такое! Почему босой?

Булгаков (разводя горестно руками). Да что уж... нет у меня сапог...

Сталин. Что такое? Мой писатель без сапог? Что за безобразие! Ягода, снимай сапоги, дай ему!

Ягода снимает сапоги, с отвращением дает Мише.

Миша пробует натянуть — неудобно!

Булгаков. Не подходят они мне...

Сталин. Что у тебя за ноги, Ягода, не понимаю! Ворошилов, снимай сапоги, может, твои подойдут.

Ворошилов снимает, но они велики Мише.

Сталин. Видишь — велики ему! У тебя уж ножища! Интендантская!
Ворошилов падает в обморок.
Сталин. Вот уж, и пошутить нельзя! Каганович, чего ты сидишь, не видишь, человек без сапог!
Каганович торопливо снимает сапоги, но они тоже не подходят. Ну, конечно, разве может русский человек!.. Уух, ты!.. Уходи с глаз моих!
Каганович падает в обморок.
Ничего, ничего, встанет! Микоян! А впрочем тебя и просить нечего, у тебя нога куриная.
Микоян шатается.
Ты еще вздумай падать!! Молотов, снимай сапоги!!
Наконец, сапоги Молотова налезают на ноги Мише.
Ну, вот так! Хорошо. Теперь скажи мне, что с тобой такое? Почему ты мне такое письмо написал?
Булгаков. Да что уж!.. Пишу, пишу пьесы, а толку никакого!.. Вот сейчас, например, лежит в МХАТе пьеса, а они не ставят, денег не платят...
Сталин. Вот как! Ну, подожди, сейчас! Подожди минутку.
Звонит по телефону. Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Константина Сергеевича. (Пауза.) Что? Умер? Когда? Сейчас? (Мише.) Понимаешь, умер, когда сказали ему.
Миша тяжко вздыхает.
Ну, подожди, подожди, не вздыхай.
Звонит опять.
Художественный театр, да? Сталин говорит. Позовите мне Немировича-Данченко. (Пауза.) Что? Умер?! Тоже умер? Когда?..
Понимаешь, тоже сейчас умер. Ну, ничего, подожди.
Звонит.
Позовите тогда кого-нибудь еще! Кто говорит? Егоров? Так вот, товарищ Егоров, у вас в театре пьеса одна лежит (косится на Мишу), писателя Булгакова пьеса... Я, конечно, не люблю давить на кого-нибудь,

но мне кажется, это хорошая пьеса... Что? По-вашему тоже хорошая? И вы собираетесь ее поставить? А когда вы думаете? (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты когда хочешь?)
Булгаков. Господи! Да хыть бы годика через три!
Сталин. Ээх!.. (Егорову.) Я не люблю вмешиваться в театральные дела, но мне кажется, что вы (подмигивает Мише) могли бы ее поставить... месяца через три... Что? Через три недели? Ну, что ж, это хорошо. А сколько вы думаете платить за нее?.. (Прикрывает трубку рукой, спрашивает у Миши: ты сколько хочешь?)
Булгаков. Тхх... да мне бы... ну хыть бы рубликов пятьсот!
Сталин. Аайй!.. (Егорову.) Я, конечно, не специалист в финансовых делах, но мне кажется, что за такую пьесу надо заплатить тысяч пятьдесят. Что? Шестьдесят? Ну, что ж, платите, платите! (Мише.) Ну, вот видишь, а ты говорил...

После чего начинается такая жизнь, что Сталин прямо не может без Миши жить — все вместе и вместе. Но как-то Миша приходит и говорит:
Булгаков. Мне в Киев надыть бы поехать недельки бы на три.
— Ну, вот видишь, какой ты друг? А я как же?
Но Миша уезжает все-таки. Сталин в одиночестве тоскует без него.
— Эх, Михо, Михо!.. Уехал. Нет моего Михо! Что же мне делать, такая скука, просто ужас!.. [7; 306–309]



«Закатный роман»

Любовь Евгеньевна Белозерская-Булгакова:

Когда мы познакомились с Н. Н. Ляминым и его женой художницей Н. А. Ушаковой, она подарила М. А. книжку, к которой сделала обложку, фронтисписную иллюстрацию «Черную карету» – и концовку. Это «Венедиктов, или Достопамятные события жизни моей. Романтическая повесть, написанная ботаником X, иллюстрированная фитопатологом Y. Москва, V год Республики». На титульном листе: «Мечте возрожденной (Р.В.Ц. Москва, №818. Тираж 1000 экз. 1-я образцовая тип. МСНХ. Пятницкая, 71)».

Автор, нигде не открывшийся, – профессор Александр Васильевич Чаянов.

Н. Ушакова, иллюстрируя книгу, была поражена, что герой, от имени которого ведется рассказ, носит фамилию Булгаков. Не меньше был поражен этим совпадением и Михаил Афанасьевич.

Все повествование связано с пребыванием сатаны в Москве, с борьбой Булгакова за душу любимой женщины, попавшей в подчинение к дьяволу. Повесть Чаянова сложна: она изобилует необыкновенными происшествиями. Рассказчик, Булгаков, внезапно ощущает гнет необычайный над своей

душой: «...казалось, чья-то тяжелая рука опустилась на мой мозг, раздробляя костные покровы черепа...» Так почувствовал повествователь присутствие дьявола. <...>

С полной уверенностью я говорю, что небольшая повесть эта послужила зарождением замысла, творческим толчком для написания романа «Мастер и Маргарита» [4; 182–183].

Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:*

В 1930 году, когда Булгаков писал письмо Сталину, он думал, как поступить. Уничтожить рукопись — не поверят, что роман был, оставить — значит соврать (в письме была фраза, что начатый роман о Христе и дьяволе *уничтожен*). Вот почему Булгаков разорвал рукопись сверху вниз, от каждого листа оторвалась половина или две трети, но сохранился корешок, он и теперь в булгаковском архиве. В 1932 году Булгаков решил восстановить по памяти роман, но начал писать, конечно, другое. Тот первый вариант был злободневнее и ближе к «Дьяволиаде» [5; 414].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1933>

10 октября.

Вечером у нас: Ахматова, Вересаев, Оля с Калужским, Патя Попов с Анной Ильиничной. Чтение романа. Ахматова весь вечер молчала. <...>

12 октября.

Утром звонок Оли: арестованы Николай Эрдман и Масс. Говорит, за какие-то сатирические басни. Миша нахмурился.

Днем — актер Волошин, принес на просмотр две свои пьесы.

Играли в блошки — последнее увлечение.

Ночью М. А. сжег часть своего романа. <...>

8 ноября.
М. А. почти целый день проспал – было много бессонных ночей. Потом работал над романом (полет Маргариты). Жалуется на головную боль. <...>

<1934>
23 января.
Ну и ночь была. М. А. нездоровилось. Он, лежа, диктовал мне главу из романа – пожар в Берлиозовой квартире. Диктовка закончилась во втором часу ночи. Я пошла в кухню – насчет ужина, Маша стирала. Была злая и очень рванула таз с керосинки, та полетела со стола в угол, где стоял бидон и четверть с керосином – не закрытые. Вспыхнул огонь. Я закричала: «Миша!!» Он, как был, в одной рубахе, босой, примчался и застал уже кухню в огне. Эта идиотка Маша не хотела выходить из кухни, так как у нее в подушке были зашиты деньги!..
Я разбудила Сережку, одела его и вывела во двор, вернее – выставила окно и выпрыгнула, и взяла его. Потом вернулась домой. М. А., стоя по щиколотки в воде, с обожженными руками и волосами, бросал на огонь все, что мог: одеяла, подушки и все выстиранное белье. В конце концов он остановил пожар. Но был момент, когда и у него поколебалась уверенность и он крикнул мне: «Вызывай пожарных!»
Пожарные приехали, когда дело было кончено. С ними – милиция. Составили протокол. Пожарные предлагали: давайте из шланга польем всю квартиру! Миша, прижимая руку к груди, отказывался.
Легли в семь часов утра, а в десять надо было вставать, чтобы идти М. А. в Театр. Завтракать пошли в «Метрополь», что доставило Сергею невыразимое наслаждение – с утра Cafe glace. <...>

<1937>

13 мая.

<...> М. А. сидит и правит роман — с самого начала («О Христе и дьяволе»). <...>

<1938>

28 февраля.

Сегодня в газетах сообщение о том, что 2 марта в открытом суде (в Военной коллегии Верховного суда) будет слушаться дело Бухарина, Рыкова, Ягоды и других (в том числе профессора Плетнева).

В частности, Плетнев, Левин, Казаков и Виноградов (доктора) обвиняются в злодейском умерщвлении Горького, Менжинского и Куйбышева. <...>

1 марта.

<...> У М. А. установилось название для романа — «Мастер и Маргарита». Надежды на напечатание его — нет. И все же М. А. правит его, гонит вперед, в марте хочет кончить. Работает по ночам.

3 марта.

Сегодня сообщено в газетах, что вчера начался процесс. <...>

6 марта.

М. А. все свободное время — над романом.

7 марта.

Был Гриша Конский. Рассказал, что в МХАТе арестован Рафалович.

8 марта.

Роман.

9 марта.

Роман.

М. А. читал мне сцену — буфетчик у Воланда.

10 марта.
Ну что за чудовище — Ягода. Но одно трудно понять — как мог Горький, такой психолог, не чувствовать — кем он окружен. Ягода, Крючков! Я помню, как М. А. раз приехал из горьковского дома (кажется, это было в 1933-м году, Горький жил тогда, если не ошибаюсь, в Горках) и на мои вопросы: ну как там? что там? — отвечал: там за каждой дверью вот такое ухо! — и показывал ухо с поларшина. <...>

11 марта.
Роман. <...>

13 марта.
Приговор: все присуждены к расстрелу, кроме Раковского, Бессонова и Плетнева.
Вечером М. А. в Большом — с Самосудом и Мордвиновым разбирали либретто «Мать» по Горькому. Потом все они поехали к Вильямсу смотреть его эскизы к «Ивану Сусанину». Эскизы всем очень понравились. <...>

17 марта.
У М. А. грипп.
Сегодня в четыре часа прибыли в Москву папанинцы. Слушали по радио речи, потом утомились — однообразно, шумно, — и выключили. <...>
Вечером к нам пришли Вильямсы. М. А. прочитал им главы «Слава петуху» и «Буфетчик у Воланда» — в новой редакции.

18 марта.
М. А. больной, сидит — в халате, в серой своей шапочке — над романом. <...>

19 марта.
Грипп. Роман. Вечером Дмитриев. Утомил М. А.

20 марта.
Грипп. Роман.
Звонок Горюнова из Вахтанговского. Хотят встретиться с М. А., поговорить о «Дон-Кихоте», спрашивал — как идет работа. <...>

21 марта.
М. А. вызвали в Большой, работать над либретто «Мать» <...>.

4 апреля.
Роман.

5 апреля.
Роман.

6 апреля.
Роман.

7 апреля.
Сегодня вечером — чтение. М. А. давно обещал Цейтлину и Арендту, что почитает им некоторые главы (относящиеся к Иванушке и его заболеванию). Сегодня придут Цейтлины, Арендты, Леонтьевы и Ермолинские.

8 апреля. <...> Роман произвел сильное впечатление на всех. Было очень много ценных мыслей высказано Цейтлиным. Он как-то очень понял *весь* роман по этим главам. Особенно хвалили древние главы, поражались, как М. А. уводит властно в ту эпоху. <...>

2 мая.
Звонил Ангарский, просится придти сегодня же слушать роман.

3 мая.
Ангарский пришел вчера и с места заявил:
– Не согласитесь ли написать авантюрный советский роман? Массовый тираж. Переведу на все языки. Денег – тьма, валюта. Хотите, сейчас чек дам – аванс? – М. А. отказался, сказал – это не могу.
После уговоров Ангарский попросил М. А. читать роман (Мастер и Маргарита).
М. А. прочитал три первые главы. Ангарский сразу:
– А это напечатать нельзя.
– Почему?
– Нельзя [7; 40–54, 146, 189–197].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Е. С. Булгаковой. Москва, 14–15 июня 1938 г.:*
Передо мною 327 машинных страниц (около 22 глав). Если буду здоров, скоро переписка закончится. Останется самое важное – корректура (авторская), большая, сложная, внимательная, возможно, с перепиской некоторых страниц.
«Что будет?» – ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф, где лежат убитые мои пьесы, и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего. <...>
Свой суд над этой вещью я уже совершил, и если мне удастся еще немного приподнять конец, я буду считать, что вещь заслуживает корректуры и того, чтобы быть уложенной в тьму ящика.
Теперь меня интересует твой суд, а буду ли я знать суд читателей, никому не известно [2; 571].

Виталий Яковлевич Виленкин:
Весной 1939 года Михаил Афанасьевич прочитал нам (А. М. Файко с женой, П. А. Маркову и мне), в четыре приема, целиком весь свой роман «Мастер и Маргарита», только что им законченный. (Потом

он его еще дописывал, работа над ним продолжалась до его последних дней.) <...>

Оно началось 26 апреля, а кончилось 14 мая. Растянулось оно, я думаю, потому, что Михаил Афанасьевич очень уставал от своей ежедневной работы в Большом театре, где он уже несколько лет был консультантом по репертуару, писал и редактировал различные либретто. Впрочем, никакой усталости в нем не чувствовалось, когда он, бывало, приглашал нас к себе послушать то, что им было только что написано.

Наоборот, в эти вечера он казался мне каким-то особенно подтянутым и собранным, и я не мог не замечать, что он волнуется. Это теперь так понятно. Ведь то небольшое общество, состоящее из нескольких литераторов, театральных художников, музыкантов, режиссеров и актеров, которое он собирал у себя, было для него в то время единственным кругом его читателей. Однако воспринимать его произведения приходилось только на слух: он никогда не допускал, чтобы что-нибудь им написанное выносилось из его дома и ходило по рукам.

Но вернемся к его чтениям. Обычно они начинались довольно поздно, а расходились мы уже под утро, потому что всегда засиживались за ужином. Елена Сергеевна умела и любила принять, угостить, и Михаил Афанасьевич бывал за этим уютным круглым столом не только упоительным рассказчиком, но и заботливым, гостеприимным хозяином. Правда, у меня в голове почему-то иной раз шевелилось грешное подозрение: а не придется ли им завтра что-нибудь снести в комиссионный магазин после таких роскошеств? Ведь жили-то они только на его зарплату да на авторские за «Турбиных», которые шли только в МХАТе и не так уж часто. Все мы, бывало, любовались прекрасной старинной люстрой, висевшей у них в столовой. Но фразочку: «Ничего,

я люстру продам!» — слыхивал я в этом доме не раз, не при гостях, разумеется.
Вообще что-то не совсем благополучное, как будто нависшее над этим домом мерещилось мне всегда, как бы ни бывало мне здесь захватывающе интересно и весело.
«Мастера и Маргариту» Михаил Афанасьевич читал у себя в кабинете, сидя не за письменным столом, а где-то сбоку, на тахте, кажется. Как он читал свою прозу? Так же, как и пьесы. Тоже необыкновенно просто, как будто без красок, ненавязчиво, никого из персонажей не играя, не «подавая» ни юмора, ни неожиданности переходов, какими бы невероятными они ни были. Но в чтении Булгакова все в этом романе — монументальное и лихорадочное, гротескное и лирическое — еще усугублялось напряженностью и остротой его видений. Снова огромную роль в его чтении играли резкие смены ритма, особенно когда в наиреальнейший современный быт по ходу повествования неожиданно и стремительно врывалась фантасмагория.
Эти смены ритма как будто мгновенно приближали к нам несущиеся в невероятном фантастическом вихре образы и пейзажи, лица и хари, подобия и преображения. Но помнится (или это только мерещится мне теперь?), что все повторы, связывающие «современность» с «древностью», с так называемыми «евангельскими» главами, у него звучали почти музыкально, почти кантиленно.
В этом чтении не было ничего случайного, хотя все как будто тут же при нас и рождалось, а не заранее было написано чернилами на бумаге. Иногда напряжение становилось чрезмерным, его трудно было выдержать. Помню, что, когда он кончил читать, мы долго молчали, чувствуя себя словно разбитыми. И далеко не сразу дошел до меня философ-

ский и нравственный смысл этого поразительного произведения.

А между тем наше восприятие его явно интересовало. Ведь недаром же, прочитав первые три главы, он вдруг задал нам вопрос: «А кто такой Воланд, как по-вашему?» Отвечать прямо никто не решался, это казалось рискованным.

Елена Сергеевна на другой день записала в своем дневнике: «Вчера у нас Файко, — оба, Марков и Виленкин. Миша читал „Мастера и Маргариту" — с начала. Впечатление громадное. Тут же настойчиво попросили назначить день продолжения. Миша спросил после чтения: а кто такой Воланд? Виленкин сказал, что догадался, но ни за что не скажет. Я предложила ему написать, я тоже напишу, и мы обменяемся. Сделали. Он написал: Сатана. Я — дьявол. После этого Файко захотел так же сыграть и написал на своей записке: „Я не знаю". Но я попалась на удочку и написала ему: „Сатана"».

А я еще помню, как Михаил Афанасьевич, не утерпев, подошел ко мне сзади, пока я выводил своего «Сатану», и, заглянув в записку, погладил по голове. Но его интерес к впечатлениям слушателей вовсе не означал, что он ждет похвал и восторгов. Это я испытал на себе.

После предпоследнего, кажется, чтения, когда мы уже одевались в передней, он отвел меня в сторону, зажал куда-то в угол и очень настойчиво стал меня допрашивать, что именно мне не понравилось: «Я уже почувствовал, что было что-то, — ну скажите, не бойтесь, я не обижусь, мне это нужно!» В этом была такая искренность и такая требовательность, что мне пришлось к конце концов выжать из себя что-то, чего мне ему говорить не хотелось. <...>

Последнее чтение длилось до утра. За столом, на котором был наспех накрыт не то ужин, не то завтрак, я сидел рядом с Михаилом Афанасьевичем,

и вдруг он ко мне наклоняется и шепотом спрашивает: «Ну, как, по-вашему, это-то уж напечатают?» И на мое довольно растерянное: «По-моему, нет» — совершенно неожиданная бурная реакция, уже громко: «Но почему же?!» Он ведь никогда ничего не писал, как говорится, в стол, келейно, для себя. Он был уверен, что если и не завтра, то рано или поздно все равно то, что он написал, станет достоянием литературы, дойдет до широкого круга читателей [5; 296–300].

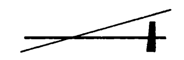
Владимир Яковлевич Лакшин. *Со слов Е. С. Булгаковой:* В последние недели перед смертью — планы пьесы о Ричарде, а еще прежде — вставки в «Мастера». С особым удовольствием диктовал Булгаков описания еды. Одна из последних вставок в роман — о враче, профессоре Кузьмине, который сам заболевает нервным расстройством. Это отголосок реальности. Е. С. рассказывала, что в сентябре 1939 года, когда в состоянии здоровья Булгакова наступило резкое ухудшение, один из осматривавших его профессоров сказал: «Ну, вы, Михаил Афанасьевич, должны знать, как врач, что болезнь ваша неизлечима». А выйдя в коридор, сказал так, что больной мог его услышать: «Это вопрос нескольких дней». Вскоре стало известно, что смотревший Булгакова врач тяжело заболел и сам оказался на краю могилы, в то время как организм Булгакова еще сопротивлялся болезни. В эпизоде с Кузьминым Булгаков рассчитался с профессорским самодовольством [5; 418].

Елена Сергеевна Булгакова: Во время болезни он мне диктовал и исправлял «Мастера и Маргариту», вещь, которую он любил больше всех других своих вещей. Писал он ее 12 лет. И последние исправления, которые он мне дикто-

вал, внесены в экземпляр, который находится в Ленинской библиотеке. По этим поправкам и дополнениям видно, что его ум и талант нисколько не ослабевали. Это были блестящие дополнения к тому, что было написано раньше.

Когда в конце болезни он уже почти потерял речь, у него выходили иногда только концы или начала слов. Был случай, когда я сидела около него, как всегда, на подушке на полу, возле изголовья его кровати, он дал мне понять, что ему что-то нужно, что он чего-то хочет от меня. Я предлагала ему лекарство, питье — лимонный сок, но поняла ясно, что не в этом дело. Тогда я догадалась и спросила: «Твои вещи?» Он кивнул с таким видом, что и «да», и «нет». Я сказала: «Мастер и Маргарита»? Он, страшно обрадованный, сделал знак головой, что «да, это».

И выдавил из себя два слова: «Чтобы знали, чтобы знали» [5; 389–390].



Агония мастера. «Батум»

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1938>

9 сентября.

<...> Днем звонил Марков – когда М. А. может принять его и Виленкина, очень нужно переговорить. М. А. не было дома, я предложила придти сегодня вечером, предварительно позвонив.

За обедом – звонок. М. А. согласился на сегодняшний вечер.

10 сентября.

Пришли в одиннадцатом часу вечера и просидели до пяти утра. Вначале – было убийственно трудно им. Они пришли просить М. А. написать пьесу для МХАТа.

– Я никогда не пойду на это, мне это невыгодно делать, это опасно для меня. Я знаю все вперед, что произойдет. Меня травят, я даже знаю, кто. Драматурги, журналисты.

Потом М. А. сказал им все, что он думает о МХАТе, все вины его в отношении М. А., все хамства. Прибавил:

– Но теперь уже все это – прошлое. Я забыл и простил. (Как М. А. умеет – из серьеза в шутку перейти.) Простил. Но писать не буду.

Все это продолжалось не меньше двух часов, и когда мы около часу сели ужинать, Марков был черен и мрачен.
Но за ужином разговор перешел на общемхатовские темы, и тут настроение у них поднялось. Дружно все ругали Егорова.
Потом — опять о пьесе. Марков:
— МХАТ гибнет. Пьес нет. Театр живет старым репертуаром. Он умирает. Единственно, что может его спасти и возродить, это — современная замечательная пьеса. (Марков сказал — «Бег» на современную тему, т. е., в смысле значительности этой вещи, — «самой любимой в Театре».) И, конечно, такую пьесу может дать только Булгаков.
Говорил долго, волнуясь. По-видимому, искренно.
— Ты ведь хотел писать пьесу на тему о Сталине?
М. А. ответил, что очень трудно с материалами, — нужны, а где достать?
Они сразу стали уверять, что это не трудно, стали предлагать — Вл. Ив. напишет письмо Иосифу Виссарионовичу с просьбой о материалах.
М. А. сказал:
— Это, конечно, очень трудно... хотя многое мне уже мерещится из этой пьесы.
От письма Вл. Ив. отказался наотрез.
— Пока нет пьесы на столе, говорить и просить не о чем.
Они с трудом ушли в пять часов утра, так было интересно, — сказал Виленкин Оленьке на следующий день [7; 200–201].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Театр предлагал Булгакову осуществить его давний замысел и написать пьесу о молодом Сталине, о начале его революционной деятельности. Тем, что подобная тема предлагалась именно Булгакову, зара-

нее предопределялась ее тональность: никакой лакировки, никакой спекуляции, никаких фимиамов; драматический пафос может родиться из правды подлинного материала, подлежащего изучению, — конечно, если только за него возьмется драматург такого масштаба, как Булгаков.

Когда в первый раз мы заговорили с ним о теме пьесы, он ответил:

— Нет, это рискованно для меня. Это плохо кончится.

И тем не менее начал работать. У него давно уже были заготовки пьесы о молодом Сталине, и в театре об этом знали от него самого. В дневнике Елены Сергеевны есть запись от 7 февраля 1936 года: «...Миша окончательно решил писать пьесу о Сталине».

Почему Булгаков решил написать пьесу на эту тему? По этому поводу существует уже довольно прочно сложившаяся легенда: «сломался», изменил себе под давлением обстоятельств, был вынужден писать не о том, о чем хотел, с единственной целью — чтобы его начали наконец печатать и ставить на сцене его пьесы. Независимо от того, кто эту легенду пустил в ход или хотя бы принимает ее в качестве домысла, я свидетельствую, что ничего подобного у Булгакова и в мыслях не было. Мое право на свидетельство — в том, что работа над этой пьесой в 1939 году протекала на моих глазах и что Михаил Афанасьевич говорил со мной о ней с полной откровенностью.

В дневнике Елены Сергеевны за 1939 год есть запись от 19 августа, сделанная ею уже во время последней болезни Михаила Афанасьевича: «Утром звонки... Потом — Виленкин, после звонка пришел. Миша говорил с ним, что у него есть точные документы, что задумал он эту пьесу в начале 36-го года, когда вот-

вот должны были появиться на сцене и „Мольер“ и „Иван Васильевич“».

Прямого разговора о том, что побуждает его писать пьесу о молодом Сталине, у нас с ним не было ни разу. Могу поделиться только тем, как я воспринимал это тогда и продолжаю воспринимать теперь. Его увлекал образ молодого революционера, прирожденного вожака, «героя» (это *его* слово) в реальной обстановке начала революционного движения и большевистского подполья в Закавказье. В этом он видел благодарный материал для интересной и значительной пьесы. Центральную фигуру он хотел сделать исторически достоверной (для этого ему необходимо было изучение не только общеизвестных, но и архивных материалов, на возможность которого он с самого начала рассчитывал, но которое так и не удалось осуществить), и в то же время она виделась ему «романтической» (тоже его слово) [5; 300–302].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

16 января.

<...> Вечером Миша взялся, после долгого перерыва, за пьесу о Сталине. Только что прочла первую (по пьесе – вторую) картину. Понравилась ужасно. Все персонажи живые.

18 января.

И вчера и сегодня вечерами Миша пишет пьесу, выдумывает при этом и для будущих картин положения, образы, изучает материал. Бог даст, удача будет! <...>

3 апреля.

<...> Миша был в Большом, где в первый раз ставили «Сусанина» с новым эпилогом.

Пришел после спектакля и рассказал нам, что перед эпилогом Правительство перешло из обычной правительственной ложи в среднюю большую (бывшую царскую) и оттуда уже досматривало оперу. Публика, как только увидела, начала аплодировать, и аплодисмент продолжался во все время музыкального антракта перед эпилогом. Потом с поднятием занавеса, а главное, к концу, к моменту появления Минина, Пожарского — верхами. Это все усиливалось и, наконец, превратилось в грандиозные овации, причем Правительство аплодировало сцене, сцена — по адресу Правительства, а публика — и туда, и сюда.
Сегодня я была днем в дирекции Большого, а потом в одной из мастерских и мне рассказывали, что было что-то необыкновенное в смысле подъема, что какая-то старушка, увидев Сталина, стала креститься и приговаривать: вот увидела все-таки! что люди вставали ногами на кресла! <...>

20 мая.
<...> В городе слух, что арестован Бабель. <...>

21 мая.
Мои имянины. Миша принес чудесный ананас. Братья Эрдманы прислали колоссальную корзину роз. Вильямсы — тоже — очень красивую корзину роз. Женька принес сирень.
За обедом ребята так наелись пломбиром и ананасом, что еле дышали.
Часов около восьми вечера стало темнеть, а в восемь — первые удары грома, молния, началась гроза. Была очень короткой. А потом было необыкновенно освещенное красное небо.
Миша сидит сейчас (десять часов вечера) над пьесой о Сталине.

22 мая.
<...> Миша пишет пьесу о Сталине.
Сегодня днем дозвонилась (звонила два дня), наконец, до валютного отдела НКФ и узнала от юрисконсульта, что им была дана положительная резолюция на Мишином заявлении (о выписывании из Америки пишущей машинки на деньги от «Мертвых душ» через Литературное агентство), но что потом это было изменено и решено отказать. Но кто это сделал, он не знает, что он советует приехать лично и говорить об этом.
Это не жизнь! Это мука! Что ни начнем, все не выходит! Будь то пьеса, квартира, машинка, все равно. <...>

5 июня.
<...> За ужином — конец разговора Виленкина с Мишей. <...> Миша рассказал и частично прочитал написанные картины. Никогда не забуду, как Виленкин, закоченев, слушал, стараясь разобраться в этом [7; 236–263].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Пьеса поначалу называлась «Пастырь» (одна из партийных кличек молодого Сталина), потом автор переименовал ее в «Батум». В центре пьесы уже вырисовывался образ молодого, завоевавшего авторитет среди рабочих революционера, недавнего ученика духовной семинарии. С правом на обыкновенные человеческие чувства, на живой, достоверный быт и на юмор. Главное событие сюжета — разгром батумского восстания. В эпилоге — снова, как и в первой картине, — тайная большевистская явка в Батуме, начало подготовки к новому этапу борьбы. Как и всегда у Булгакова, драматизм событий и переживаний главных героев

оказывался тем напряженней, чем естественнее вкрапливался в них юмор. Образы же царских сатрапов и самого царя были вылеплены ярко сатирически [5; 302].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

22 июня.

Были Виленкин и Оля. Миша читал им фрагменты. Вижу, что им нравится.

23 июня.

Миша уехал в Серебряный Бор купаться. Я – хлопотать о покупке заграничной машинки.

Будто бы арестован Мейерхольд. <...>

3 июля.

Вчера утром телефонный звонок Хмелева – просит послушать пьесу. Тон повышенный, радостный, наконец опять пьеса М. А. в Театре! и так далее.

Вечером у нас Хмелев, Калишьян (в 1939 году директор МХАТа. – *Сост.*), Ольга. Миша читал несколько картин.

Потом ужин с долгим сидением после. Разговоры о пьесе, о МХТ, о системе. Разошлись, когда уж совсем солнце вставало. Рассказ Хмелева. Сталин раз сказал ему: хорошо играете Алексея. Мне даже снятся ваши черные усики (турбинские). Забыть не могу [7; 268–270].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Актеры жадно расспрашивали меня о ходе работы. Н. П. Хмелев должен был играть роль Сталина. В конце июня я подробно рассказывал о пьесе В. И. Качалову, вернувшемуся в Москву после киевских гастролей МХАТа. Он был заинтересован

предназначавшейся ему характерной ролью кутаисского губернатора. В. О. Топоркова заранее привлекала сцена у Николая II, принимающего всеподданнейший доклад о грозных кавказских событиях в Ливадийском дворце, стоя в красной шелковой рубахе подле клетки с дрессированной канарейкой, которую он самозабвенно обучает петь гимн: «Боже, царя храни».

Когда я недавно перечитывал эту пьесу, скажу откровенно, она показалась мне в художественном отношении довольно слабой, во всяком случае, несравнимой с другими, любимыми моими пьесами Булгакова. Теперь я почувствовал, как она, должно быть, трудно ему давалась. И в каком-то совсем другом свете вспомнилось мне, как он в июне 1939 года не раз звонил мне и вызывал к себе, чтобы прочитать новые или заново им отделанные картины. Ведь почему-то это никогда не бывало ему нужно прежде, когда он писал «Пушкина» или «Дон Кихота», а теперь вот понадобилось... И в «материалах» он никогда, кажется, так не нуждался, как теперь. Как будто не был вполне уверен в том, что пьеса у него выходит такой, какой он ее задумывал. Тем не менее в конце июня она была уже почти готова.

В начале июля происходили первые чтения в театре (почему-то каждый раз в это время за окнами темнело и начиналась гроза).

В Новом Петергофе, куда я вскоре уехал отдыхать, я получил письмо О. С. Бокшанской от 9 июля, в котором она мне сообщила: «Вот интересная для Вас новость – сегодня позвонили из Комитета к Михаилу Афанасьевичу с просьбой через два дня прочесть пьесу, хотя бы без доделок. Михаил Афанасьевич решил читать все, и даже будет почти доделано, потому что для него все очень ясно в уме, а работать он

сейчас станет день и ночь, говорит — спать не буду, а закончу, выложу на бумагу то, что найдено умом и сердцем. 2-го июля читал он пять известных Вам картин (1, 4, 5 — арест и тюрьма). Калишьян, и Хмелев, и я была. Пьеса в этих отрывках очень понравилась».

А 14 июля мне писал уже сам Михаил Афанасьевич:

«Дорогой Виталий Яковлевич! Спасибо Вам за милое письмо. Оно пришло 11-го, когда я проверял тетради, перед тем как ехать в Комитет искусств для чтения пьесы. Слушали Елена Сергеевна, Калишьян, Москвин, Сахновский, Храпченко, Солодовников, Месхетели и еще несколько человек.

Результаты этого чтения в Комитете могу признать, по-видимому, не рискуя ошибиться, благоприятными (вполне). После чтения Григорий Михайлович просил меня ускорить работу по правке и переписке настолько, чтобы сдать пьесу МХАТу непременно к 1-му августа. А сегодня (у нас было свидание) он просил перенести срок сдачи на 25 июля.

У меня остается 10 дней очень усиленной работы. Надеюсь, что, при полном напряжении сил, 25-го вручу ему пьесу.

В Комитете я читал всю пьесу за исключением предпоследней картины (у Николая во дворце), которая не была отделана. Сейчас ее отделываю. Остались 2–3 поправки, заглавие и машинка.

Таковы дела. <…>

Ваш М. Булгаков.

<…> Устав, отодвигаю тетрадь, думаю — какова будет участь пьесы. Погадайте. На нее положено много труда» [5; 302–304].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

15 июля.

Калишьян бьется с названием пьесы, стремясь придать ей сугубо политический характер. Поэтому — перезваниванье по телефону. <...>

16 июля.

Часов в восемь вечера Сахновский. Все понятно: он хочет ставить пьесу, а Немирович тоже. Будет кутерьма и безобразие, которое устроит Немирович.

17 июля.

Сегодня звонок Калишьяна — справка о книгах о тифлисской семинарии.

Спешная переписка пьесы. <...>

Вечером Миша поехал на винт, но вскоре вернулся. У нас Калужский.

Основное — безумное желание прочесть пьесу.

Слух о том, что зверски зарезана Зинаида Райх. <...>

22 июля.

Сегодня Миша продиктовал девятую картину — у Николая II — начерно.

Миша решил назвать пьесу «Батум».

23 июля.

Перебелил девятую картину. Очень удачна. Потом поехали с Калишьяном в Пестово. <...>

Калишьян хочет 27-го устроить читку пьесы на партийном собрании.

24 июля.

Пьеса закончена! Проделана была совершенно невероятная работа — за 10 дней он написал девятую

картину и вычистил, отредактировал всю пьесу — со значительными изменениями.
Вечером приехал Калишьян, и Миша передал ему три готовых экземпляра.

26 июля.
Звонил Калишьян, сказал, что он прочитал пьесу в ее теперешнем виде и она очень ему понравилась. Напомнил о читке 27-го.

27 июля.
<...> В четыре часа гроза.
Калишьян прислал машину за нами.
В Театре в новом репетиционном помещении — райком, театральные партийцы и несколько актеров: Станицын, Соснин, Зуева, Калужский, молодые актеры, Свободин, Ольга, еще кое-кто.
Слушали замечательно, после чтения очень долго, стоя, аплодировали. Потом высказыванья. Все очень хорошо. Калишьян в последней речи сказал, что Театр должен ее поставить к 21 декабря [7; 272–273].

Елена Сергеевна Булгакова:
Когда он в то лето читал «Батум» — каждый раз была гроза! Однажды Калишьян пригласил нас в театр на читку. Была жара, июль, я в легком воздушном платье без рукавов. И пока ехали в машине — началась страшная гроза!
Подъехали к театру — висела афиша о читке «Батума», написанная акварелью, вся в дождевых потеках.
— Отдайте ее мне! — сказал Миша Калишьяну.
— Да что вы, зачем она вам? Знаете, какие у вас будут афиши? Совсем другие!
— Других я не увижу [5; 392–393].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

8 августа.

<...> Позвонила Ольга от Немировича. 1) Вл. Ив. хочет повидаться с М. А. по поводу пьесы. 2) Театр посылает в Тифлис–Батум бригаду для работы подготовительной к этой пьесе. Думал ее возглавить сам Немирович, но его отговорили Сахновский и Ольга. <...> Немирович сказал – самое идеальное, если поедет Мих. Аф.

<...> Ольга мне сказала мнение Немировича о пьесе: обаятельная, умная пьеса. Виртуозное знание сцены. С предельным обаянием сделан герой. Потрясающий драматург.

Не знаю, сколько здесь правды, сколько вранья.

9 августа.

<...> В двенадцать часов проводила Мишу к Немировичу, сама вернулась домой.

К обеду Миша вернулся, рассказал подробно свидание. Прекрасная квартира, цветы на балконах, Немирович в цветной жакетке-пижаме, в веселеньких брюках, помолодевший. Сахновский, Ольга.

– У вас все очень хорошо. Только вот первая картина не так сделана. Надо будет ее на четырех поворотах сделать.

После Мишиных слов и показа его, как говорит ректор: а впрочем, может быть, и на одном повороте.

– Самая сильная картина – демонстрация. Только вот рота... (тут следует длинный разговор, что делать с ротой).

Миша:

– А рота совсем не должна быть на сцене.

Мимическая сцена.

А после сказал Ольге:

– Лучше всего эту пьесу мог бы поставить Булгаков. <...>

11 августа.

<...> Вечером звонок – завлит Воронежского театра, просит пьесу – «ее безумно расхваливал Афиногенов».

Сегодня встретила одного знакомого, то же самое – «слышал, что М. А. написал изумительную пьесу». Слышал не в Москве, а где-то на юге.

Забавный случай: Бюро заказов Елисеева. То же сообщение – Фанни Ник. – А кто вам сказал? – Яков Данилыч. Говорил, что потрясающая пьеса.

Яков Данилыч – главный заведующий рестораном в Жургазе. Слышал он, конечно, от посетителей. Но уж очень забавно: заведующий рестораном заказывает в гастрономе продукты – и тут же разговоры о пьесе, да так, как будто сам он лично слышал ее [7; 275–276].

Виталий Яковлевич Виленкин:

Из Петергофа я переехал в Суханово, под Москву, – у меня оставалось еще больше двух недель отпуска. Но не успел я прожить там и трех дней, как получил из театра телеграмму от В. Е. Сахновского, срочно вызывавшего меня в Москву.

Оказалось, что мне предстоит выехать четырнадцатого августа вместе с Михаилом Афанасьевичем, Еленой Сергеевной и режиссером-ассистентом П. В. Лесли в Батуми и Кутаиси для сбора и изучения местных архивных материалов и вообще для всяческой помощи Михаилу Афанасьевичу на случай, если она ему понадобится. На Кавказе к нам должны были присоединиться уже находившиеся там В. В. Дмитриев – он был художником спектакля – и заведующий Постановочной частью МХАТа И. Я. Гремиславский.

Все мы вместе именовались «бригадой», а Михаил Афанасьевич был в этой командировке нашим «бригадиром». Своим новым наименованием он,

помнится, был явно доволен и относился к нему серьезно, без улыбки.

Наконец наступило 14-е, и мы отправились с полным комфортом, в международном вагоне. В одном купе — мы с Лесли, в другом, рядом, — Булгаковы. Была страшная жара. Все переоделись в пижамы. В «бригадирском» купе Елена Сергеевна тут же устроила отъездный «банкет», с пирожками, ананасами в коньяке и т. п. Было весело. Пренебрегая суевериями, выпили за успех. Поезд остановился в Серпухове и стоял уже несколько минут. В наш вагон вошла какая-то женщина и крикнула в коридоре: «Булгахтеру телеграмма!» Михаил Афанасьевич сидел в углу у окна, и я вдруг увидел, что лицо его сделалось серым. Он тихо сказал: «Это не булгахтеру, а Булгакову». Он прочитал телеграмму вслух: «Надобность поездке отпала возвращайтесь Москву». После первой минуты растерянности Елена Сергеевна сказала твердо: «Мы едем дальше. Поедем просто отдыхать». Мы с Лесли едва успели выкинуть в окно прямо на пути свои вещи, как поезд тронулся. Не забыть мне их лица в окне!..

Вечером позвонила Елена Сергеевна. Они вернулись из Тулы, на случайной машине. Михаил Афанасьевич заболел. Они звали меня к себе [5; 304—305].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

15 августа.

Вчера на вокзале: мой Женюшка, Борис Эрдман, Разумовский и, конечно, Виленкин и Лесли.

Через два часа — в Серпухове, когда мы завтракали вчетвером в нашем купе (мы, Виленкин и Лесли), вошла в купе почтальонша и спросила «Где здесь бухгалтер?» и протянула телеграмму-молнию.

Миша прочитал (читал долго) и сказал — дальше ехать не надо.

Это была телеграмма от Калишьяна — «Надобность поездки отпала возвращайтесь Москву».
Через пять минут Виленкин и Лесли стояли, нагруженные вещами, на платформе. Поезд пошел. Сначала мы думали ехать, несмотря на известие, в Тифлис и Батум. Но потом поняли, что никакого смысла нет, все равно это не будет отдыхом, и решили вернуться. Сложились и в Туле сошли. Причем тут же опять получили молнию — точно такого же содержания.
Вокзал, масса людей, закрытое окно кассы, неизвестность, когда поезд. И в это время, как спасение, — появился шофер ЗИСа, который сообщил, что у подъезда стоит машина, билет за каждого человека 40 руб., через три часа будем в Москве. Узнали, скольких человек он берет, — семерых, сговорились, что платим ему 280 руб. и едем одни. Миша одной рукой закрывал глаза от солнца, а другой держался за меня и говорил: навстречу чему мы мчимся? может быть — смерти?
Через три часа бешеной езды, то есть в восемь часов вечера, были на квартире. Миша не позволил зажечь свет: горели свечи. Он ходил по квартире, потирал руки и говорил — покойником пахнет. Может быть, это покойная пьеса? <...>
Состояние Миши ужасно.
Утром рано он мне сказал, что никуда идти не может. День он провел в затемненной квартире, свет его раздражает. За день: звонок Виленкина часа в три. Сказал одну опять-таки фразу — не пойдет. Вопросы, что с Мишей, как здоровье, не надо ли доктора достать. <...>

17 августа.
Вчера в третьем часу дня — Сахновский и Виленкин. Речь Сахновского сводилась к тому, в первой

своей части, что М. А. должен знать, что Театр ни в коем случае не меняет ни своего отношения к М. А., ни своего мнения о пьесе, что Театр выполнит все свои обещания, то есть – о квартире, и выплатит все по договору.

Потом стал сообщать: пьеса получила наверху (в ЦК наверно) резко отрицательный отзыв. Нельзя такое лицо, как И. В. Сталин, делать романтическим героем, нельзя ставить его в выдуманные положения и вкладывать в его уста выдуманные слова. Пьесу нельзя ни ставить, ни публиковать.

Второе – что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым, как на желание перебросить мост и наладить отношение к себе.

Это такое же бездоказательное обвинение, как бездоказательно оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М. А. не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу – интересную для него по материалу, с героем, – и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?! [7; 277–279]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Мы с В. Г. Сахновским просили Михаила Афанасьевича принять нас для разговора о «Батуме», так сказать, «ex officio» от имени театра. Сахновский (он был тогда заведующим Художественной частью МХАТа) сказал ему, что театр продолжает по-прежнему относиться к его пьесе и что он, во всяком случае, выполнит все свои денежные обязательства по отношению к нему, а также позаботится о перемене квартиры, слишком тесной и неудобной для его работы (об этом давно уже шла речь).

Елена Сергеевна записывает со слов В. Г. Сахновского: «Второе – что наверху посмотрели на представление этой пьесы Булгаковым как на желание

перебросить мост и наладить *отношение к себе.* Это такое же бездоказательное обвинение, как бездоказательно оправдание. Как можно доказать, что никакого моста М. А. не думал перебрасывать, а просто хотел, как драматург, написать пьесу — интересную для него по материалу, с героем, — и чтобы пьеса эта не лежала в письменном столе, а шла на сцене?! <...>».

Позднее, уже в октябре, в разговоре с Немировичем-Данченко, который происходил в аванложе МХАТа, Сталин сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить (об этом есть запись в дневнике Елены Сергеевны — со слов ее сестры О. С. Бокшанской, да и мы все об этом знали). <...>

Михаил Афанасьевич был в это время в тяжелейшем душевном состоянии; таким угнетенным я его еще никогда не видел, даже после «Мольера». Его мучили мысли о будущем. Он отлично знал, что от него давно ждут совсем другой пьесы — «агитационной», как в то время говорили, а такую пьесу он и не мог и не хотел написать [5; 305–306].

Сергей Александрович Ермолинский:

Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:

— Ты помнишь, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», отклонили рукопись о Мольере? И ты помнишь, как ни тяжело было все это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри — я лежу перед тобой продырявленный...

Я хорошо запомнил это странноватое слово — продырявленный. Но я понял, о чем он говорит. Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно же если было свя-

зано с расчетом – корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости.

– Мало меня проучили, – бормотал он сквозь зубы. – Казнить, казнить меня надо!

Он был к себе беспощаден [8; 81–82].

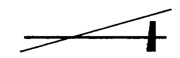
Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

27 августа.

У Миши состояние раздавленное. Он говорит – выбит из строя окончательно.

Так никогда не было [7; 283].



Болезнь

Виталий Яковлевич Виленкин:

Последняя, роковая его болезнь началась в августе, или, вернее, тогда она впервые обнаружилась, но врачи ее еще не распознали (потом оказалось, что это злокачественная гипертония). По временам она его еще отпускала. Помню, как я провожал его с Еленой Сергеевной в середине сентября в Ленинград, как он нервничал на перроне, поминутно ощупывая свои карманы: здесь ли билеты, не забыл ли бумажник, хотя только что это проверял. В конце сентября она привезла его домой совсем уже больным [5; 306].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из дневника:*

ЗАБОЛЕВАНИЕ

1. Поиски, куда поехать в отпуск.
2. Первая замеченная потеря зрения – на мгновение (сидел, разговаривал с одной дамой, и вдруг она точно облаком заволоклась – перестал ее видеть). Решил, что это случайно, нервы шалят, нервное переутомление.
3. Поездка для отдыха, вместо юга, в Ленинград.
4. В гостинице.

5. Утром вышел на Невский и вдруг замечаю, что не вижу вывесок. Тут же к врачу. Он советует немедленно вернуться в Москву и сделать анализ мочи.
6. Жене: «Ты знаешь, что он мне произнес мой смертный приговор».
7. В Москве. Болезнь та же, что у отца. Воспоминания о том, как болел отец. Теперь Мише стало лучше [9; 82].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 16 января 1961 г.:*
Уехали 10 сентября, а вернулись через четыре дня, так как он почувствовал в первый же день на Невском, что слепнет. Нашли там профессора, который сказал, проверив его глазное дно: «Ваше дело плохо». Потребовал, чтобы я немедленно увезла Мишу домой. В Москве я вызвала известнейших профессоров — по почкам и глазника. Первый хотел сейчас же перевезти Мишу к себе в Кремлевскую больницу. Но Миша сказал: «Я никуда не поеду от нее». И напомнил мне о моем слове.
А когда в передней я провожала профессора Вовси, он сказал: «Я не настаиваю, так как это вопрос трех дней». Но Миша прожил после этого полгода [7; 321].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*
<1939>
29 сентября. Нет охоты возвращаться к тому, что пропущено. Поэтому прямо — к Мишиной тяжелой болезни: головные боли — главный бич. <...>
К вечеру Мише легче с головой.
Кругом кипят события, но до нас они доходят глухо, потому что мы поражены своей бедой.
Мы заключили договор с Германией о дружбе [7; 285].

Сергей Александрович Ермолинский:

Я пришел к нему в первый же день после их приезда. Он был неожиданно спокоен. Последовательно рассказал мне все, что с ним будет происходить в течение полугода — как будет развиваться болезнь. Он называл недели и месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному [8; 96].

Леонид Сергеевич Ленч (наст. фам. Попов; 1905–1991), *писатель, драматург, сценарист:*

...Сердце мое сжалось, когда я оказался в маленькой квартире Булгаковых у Кропоткинских ворот. Елена Сергеевна еще в прихожей сказала мне, что Михаил Афанасьевич почти ослеп, что он не переносит света и лежит в темной комнате с занавешенными окнами.

И вот я вхожу в темную спальню, где лежит на кровати Булгаков. В углу на столике горит лампа, но свет в сторону больного не падает. Булгаков — в длинной белоснежной ночной рубахе, и невольно у меня возникает в памяти известный портрет умирающего Некрасова работы художника Ге.

Я пробыл тогда у Булгакова часа два-три. Говорил больше он, я молчал, слушал и иногда задавал вопросы.

О чем говорил Булгаков?

Главной темой была история с запрещением его последней пьесы о юности Сталина. Об этом писали многие, знавшие Булгакова ближе, чем я, и поэтому я не стану повторять то, что известно. Я скажу лишь о том, что волновало и тревожило в связи с этим печальным происшествием самого Булгакова. Он сказал мне:

— Вы же, наверное, успели уже узнать наши литературные нравы. Ведь наши товарищи обязательно

станут говорить, что Булгаков пытался сподхалимничать перед Сталиным и у него ничего не вышло. Тут он повысил голос, насколько смог, и закончил так:

— Даю вам слово, и в мыслях у меня этого не было. Ну подумайте сами — какой это замечательный драматический конфликт: пылкий юноша — семинарист, революционно настроенный, и старый монах — ректор семинарии. Умный, хитрый, с иезуитским складом ума старик. Ведь мой отец был доктором богословия, я таких «святых отцов» знал не понаслышке.

Говорил Михаил Афанасьевич и о мировой войне, которая должна неминуемо вспыхнуть в самом скором времени. Запомнилась мне одна его пророческая фраза:

— Я этого уже, конечно, не узнаю, но вы узнаете. Помните мое слово: война наделает в мире много бед, в Париже на бульварах будут расти вот такие огороды (он показал жестом — какие они будут), потому что парижанам нечего будет кушать.

Мы простились, и я ушел от Булгаковых еще более угнетенный недобрыми предчувствиями, которые меня мучили и до этого визита [5; 379–380].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1939>

9 октября.

Вчера большое кровопускание — 780 граммов, сильная головная боль. Сегодня днем несколько легче, но приходится принимать порошки.

18 октября.

Сегодня два звонка интересных. Первый — от Фадеева, о том, что он завтра придет Мишу навестить (да, я не записываю аккуратно в эти дни болезни — не хватает сил — не записала, что (кажется, это было де-

сятого) было в МХАТе Правительство, причем Генеральный секретарь, разговаривая с Немировичем, сказал, что пьесу «Батум» он считает очень хорошей, но что ее нельзя ставить.

Это вызвало град звонков от мхатчиков и, кроме того, ликующий звонок от М. А., который до того трубки в руку не брал.

Может быть, завтрашний приход в связи с этим разговором?).

А второй, который меня бесконечно тронул, это звонок некоего Гоши Ранниенсона, сотрудника миманса из Большого. Он сказал, что я должна знать, что есть человек, который для М. А. сделает все, что только ему нужно. Дал свой телефон и настоятельно требовал, чтобы я дала ему какое-нибудь поручение [7; 285].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из дневника:*

8 ноября 1939. Оля (Ольга Александровна Земская — старшая дочь Н. А. Земской. — *Сост.*) за утренним чаем говорит <...> «А ты знаешь, что дядя Миша сильно болен? <...>» Я испугалась и тотчас пошла звонить по телефону Елене Сергеевне, услыхала о серьезности его болезни, услыхала о том, что к нему не пускают много народа, можно только в определенный срок, на полчаса <...>, от телефона, как была, в моем неприглядном самодельном старом пальтишке отправилась к нему, сговорившись об этом с Еленой Сергеевной.

Нашла его страшно похудевшим и бледным, в полутемной комнате в темных очках на глазах, в черной *шапочке Мастера*, сидящим в постели [9; 81].

Виталий Яковлевич Виленкин:

У него начались непрерывные сильнейшие головные боли. Стало заметно ухудшаться зрение. Помню его в темных очках и в черной шапочке,

похожей на академическую. И почти всегда в халате, даже когда и не лежал.

Но и после этого наступали короткие периоды улучшения его самочувствия. Все это время он то и дело возвращался к работе – правил роман, «Мастера и Маргариту». Иногда Елена Сергеевна записывала его правку [5; 306–307].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма А. П. Гдешинскому. Барвиха, санаторий, 26 ноября 1939 г.:*

Вот настал и мой черед. В середине этого месяца я тяжело заболел, у меня болезнь почек, осложнившаяся расстройством зрения.

Я лежу, лишенный возможности читать и писать, и глядеть на свет [9; 82].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма А. П. Гдешинскому. Барвиха, санаторий, 2 декабря 1939 г.:*

Ну про что тебе сказать? Появилась у меня некоторая надежда, что вернется ко мне возможность читать и писать, т. е. то счастье, которого я лишен вот уже третий месяц. Левый глаз дал значительные признаки улучшения. Сейчас, правда, на моей дороге появился грипп, но авось он уйдет, ничего не напортив. До него я ходил уже в черных очках, – и с наслаждением дышал воздухом, надеюсь к этому вернуться [9; 83].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма Е. А. Булгаковой. Барвиха, санаторий, 3 декабря 1939 г.:*

Дорогая Леля! Вот тебе новости обо мне. В левом глазу обнаружено значительное улучшение. Правый глаз от него отстает, но тоже как будто пытается сделать что-то хорошее. По словам докторов выходит, что раз в глазах улучшение, значит есть улучшение в процессе почек. А раз так, то у меня надежда зарождается, что на сей раз я уйду от ста-

рушки с косой и кончу кое-что, что хотел бы закончить.
Сейчас меня немножко подзадержал в постели грипп, а ведь я уже начал выходить и был в лесу на прогулках. И значительно окреп.
Ну, что такое Барвиха?
Это великолепно оборудованный клинический санаторий, комфортабельный. Больше всего меня тянет домой, конечно! В гостях хорошо, в санаториях хорошо, но дома, как известно, лучше.
Лечат меня тщательно и преимущественно специально подобранной и комбинированной диэтой. Преимущественно овощи во всех видах и фрукты. Собачья скука от того и другого, но говорят, что иначе нельзя, что не восстановят меня, как следует. Ну, а мне настолько важно читать и писать, что я готов жевать такую дрянь, как морковь [9; 84].

Михаил Афанасьевич Булгаков. *Из письма А. П. Гдешинскому. Москва, 19–28 декабря 1939 г.:*
Ну вот я и вернулся из санатория. Что же со мной? Если откровенно и по секрету тебе сказать, сосет меня мысль, что вернулся я умирать.
Это меня не устраивает по одной причине: мучительно, канительно и пошло.
Как известно, есть один приличный вид смерти – от огнестрельного оружия, но такового у меня, к сожалению, не имеется. Поточнее говорю о болезни: во мне происходит ясно мною ощущаемая борьба признаков жизни и смерти. В частности на стороне жизни – улучшение зрения. Но довольно о болезни. Могу лишь добавить одно: к концу жизни пришлось пережить еще одно разочарование – во врачах терапевтах. Не назову их убийцами, это было бы слишком жестоко, но гастролерами, халтурщиками и бездарностями охотно назову. Есть исключения, конечно, но как они редки!

Да и что могут эти исключения, если, скажем от таких недугов, как мой, у аллопатов не только нет никаких средств, но и самого недуга они верно не могут распознать.

Пройдет время и над нашими терапевтами будут смеяться, как над мольеровскими врачами. Сказанное к хирургам, окулистам, дантистам не относится. К лучшему из врачей, Елене Сергеевне, также. Но она одна справиться не может. Потому принял новую веру и перешел к гомеопату. А больше всего да поможет нам всем больным Бог! [2; 601]

Сергей Александрович Ермолинский:

На столике у постели появлялось все больше лекарств. Все чаще ходили врачи. Их было несколько. Мхатовский врач Иверов совсем примолк в окружении светил. Они выходили от него растерянные. Он сам себе поставил диагноз, и ничего нельзя было от него скрыть. Однако они еще долго шушукались в коридоре, прощались с Леной, ободряя ее, уходили.

Лицо его заострилось. Он помолодел. Глаза стали совсем светло-голубые, чистые. И волосы, чуть встрепанные, делали его похожим на юношу. Он смотрел на мир удивленно и ясно [8; 99].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 16 января 1961 г.:*

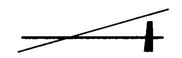
Ему становилось то хуже, то лучше. Иногда он даже мог выходить на улицу, в театр. Но постепенно ослабевал, худел, видел все хуже. (Вы многое узнаете из тех материалов, которые есть у моего брата.) Мы засыпали обычно во втором часу ночи, а через час-два он будил меня и говорил: «Встань, Люсенька, я скоро умру, поговорим». Правда, через короткое время он уже острил, смеялся, верил мне, что выздоровеет непременно, и выдумывал необыкновенные фе-

льетоны про МХТ, или начало нового романа, или вообще какие-нибудь юмористические вещи. После чего, успокоенный, засыпал. Как врач, он знал все, что должно было произойти, требовал анализы, иногда мне удавалось обмануть его в цифрах анализа, — когда белок поднимался слишком высоко [7; 321–322].

Александр Михайлович Файко:

И теперь еще случались, но редко, просветы в жизни — скажем прямо — умиравшего писателя. До того как Булгаков слег, он весьма охотно участвовал в домашних делах. Квартирно-семейный быт его вообще интересовал чрезвычайно. Он очень любил выходить к обеду и для этого даже переодевался, насколько было возможно в его состоянии. Снова обязательными оказались крахмальный воротничок и галстук бабочкой; монокль, разумеется, отсутствовал, но зато левый глаз смотрел весело и задорно. За столом было мало народу — все свои, близкие, и Михаил Афанасьевич чувствовал себя гостеприимным хозяином, хлебосольным. Временами он даже позволял себе к обеду водочки, разведенной рижским бальзамом, так называемым пиконом, — густой черной жидкостью, которую он отмерял аптекарски точно, аккуратно и педантично. Свою порцию получал и Сережа, младший сын Елены Сергеевны. Иногда, в особенно светлые минуты, Михаил Афанасьевич произносил за столом тосты. Содержание их целиком восстановить трудно, настолько они были рассыпчаты, противоречивы, но форму, манеру я помню. «Я пью за тебя, Алексей Михайлович, — обращался он, например, ко мне (мы были на „ты“, но звали друг друга по имени-отчеству), — как за главу этикета в нашем маленьком Версале, за самого Людовика Шестнадцатого!» Но он тут же отплевывался: «Нет, не Шестнадцатого, Пятнадцатого,

о Шестнадцатом на ночь лучше не говорить! А вы, мадам, — обращался он к моей жене, — значит, выходите мадам Помпадур!» И кричал громко: «Люсенька! Что, Лидия Алексеевна может сойти за Помпадур?» Откуда-то издалека, по-видимому, из кухни, раздавался убежденный голос Елены Сергеевны: «Ого-о!» Все смеялись, а Сережа под шумок наливал себе лишнюю рюмку пикона. Иной раз на таких обедах присутствовали не только мы, ближайшие соседи, но и друзья, приехавшие навестить Булгакова издалека. Михаил Афанасьевич всегда был щедр, изобретателен, неутомим на выдумки. И эти дружеские беседы, или «малые комитеты», как он их называл, дословно переводя с французского, сильно отличались от «больших комитетов», где читался роман и господствовали фантазия, воля, я бы даже сказал — произвол писателя-поэта [5; 351–352].





Занавес

Виталий Яковлевич Виленкин:

Он умирал так, как и жил всегда: мужественно, без жалоб, без страха, насколько мне дано судить, и с полным сознанием неизбежности. Когда мы оставались вдвоем в его затемненной комнате, он больше говорил обо мне, чем о себе, и у него проскальзывали необыкновенно ласковые ноты в голосе. Однажды он вдруг заговорил, волнуясь, о неизбежности войны, о том, что война близко, что всем надо быть к этому готовыми.

Помню и юмор, не вымученный, легкий, как всегда, и помню, как он один раз спросил: «Почему же вы не смеетесь?» [5; 307].

Сергей Александрович Ермолинский:

Но вскоре эти посиделки кончились. Они стали трудны для него.

Когда он меня звал, я заходил к нему.

Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными ему словами, стесняясь:

– Что-то я хотел тебе сказать... Понимаешь... Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.

Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось...

— Фу ты, — перебил он сам себя, — я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах. Ты не находишь? <...>

Без сомнения, он понимал, что с ним происходит, и готовился к последним физическим страданиям. Это подтверждалось и тем, что, когда мозг его был еще светел, он вызвал свою любимую младшую сестру Лёлю (Елену Афанасьевну, по мужу Светлаеву) и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила заехать к нему Татьяну Николаевну Лаппа [8; 99].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

1 января.

Ушел самый тяжелый в моей жизни год 1939-й, и дай Бог, чтобы 1940-й не был таким!

Вчера после обеда зашел к нам Борис Эрдман, посидел у нас до вечера. Потом — Файко — перед своей встречей у Шкваркина. Часов в одиннадцать пришел Ермолинский и мы вчетвером — Миша, Сережа, Сергей Ермолинский и я — тихо, при свечах, встретили Новый год: Ермолинский — с рюмкой водки в руках, мы с Сережей — белым вином, а Миша — с мензуркой микстуры. Сделали чучело Мишиной болезни — с лисьей головой (от моей чернобурки), и Сережа, по жребию, расстрелял его.

Было много разговоров по телефону, от мхатчиков (Оля, Виленкин, Федя, Гжельский, Книппер), из Большого театра — Мордвинов, Иванов Борис Петрович, Петя Вильямс, Топленинов. Звонил Шапиро М. Л., звонил Файко с приветом от Шкваркина, еще кто-то.

Сегодня поздравления и пожелания продолжаются: Маршак, Рапопорт (из Вахтанговского), Радлов Николай, Хмелев, Николай Эрдман, Раевский, Дорохин, Шапошников, Гоша, Захаров.

10 января.
Плохой день. В анализах – много белка – 1,5. Звонок мой Владимиру Петровичу – опять придется Мише есть черт знает что и мучиться.
Дикий мороз. Свыше 30° Цельсия. Рассказы Марфуши про очереди, в магазинах ничего нет.
Миша лежит.
Мечты о тепле.

13 января.
Лютый мороз, попали на Поварскую в Союз. Миша хотел повидать Фадеева, того не было. Добрались до ресторана писательского, поели: Миша – икру и какой-то суп-крем, а я котлеты – жареные из дичи, чудовищная гадость, после которой тошнило. Бедствие столовки этой, что кто-нибудь подсядет непременно. В данном случае это был Вл. Немирович-Данченко. Назойливые расспросы о болезни, Барвихе и т. д.
Миша был в черных очках и в своей шапочке, отчего публика (мы сидели у буфетной стойки) из столовой смотрела во все глаза на него – взгляды эти непередаваемы.
Возвращение в морозном тумане. У диетического магазина – очередь.

14 января.
Асеев. Страшно восторженно отзывается о нас обоих, желает во что бы то ни стало закрепить это знакомство. Прочитал свой отрывок из «Маяковского».
Миша лежит, мороз действует на него дурно.

15 января.
Миша, сколько хватает сил, правит роман, я переписываю. <...>
Звонок Асеева — достал для Миши какое-то кашне, хочет подарить.
Радлов Николай по телефону сказал, что ожидается мороз в 42°!

16 января.
42°! (Утром не то 38, не то 40, потом 42.) <...> Окна обледенели, даже внутренние стекла.
Работа над романом. Возня по телефону с Виленкиным о договоре на «Пушкина» (вопрос о Вересаеве). <...>
Сестра Миши — Елена пришла, читала роман запоем (Мастер и Маргарита).
Пришел Ермолинский в валенках, читал вслух кусочек романа — воробушек. Мишин показ воробушка. Сережка наш — в военной форме — томится от бездействия. Звонок Маршака — хочет придти 19-го.
Оля прислала, по моей просьбе, из театрального буфета — икру, сыр, конфеты, яблоки.
Вечером — правка романа. <...>

17 января.
42°. За окном какая-то белая пелена, густой дым. <...>
Сегодня днем в открытую в кухне форточку влетела синичка. Мы поймали ее, посадили в елисеевскую корзину. Она пьет, ест пшено. Я ее зову Моней, она прислушивается. Говорят, птица приносит счастье в дом. <...>

24 января.
Плохой день. У Миши непрекращающаяся головная боль. Принял четыре усиленных порошка — не помогло. Приступы, тошноты. <...>

Жалуется на сердце. Часов в восемь вышли на улицу, но сразу вернулись – не мог, устал [7; 286–290].

Виталий Яковлевич Виленкин:

С конца января началось резкое ухудшение, которое потом уже грозно нарастало чуть ли не с каждым днем [5; 307].

Сергей Александрович Ермолинский:

Почти до самого последнего дня он беспокоился о своем романе, требовал, чтобы ему прочли то ту, то другую страницу.

Сидя у машинки, Лена читала негромко:

«С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград...

Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой, часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу.

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело».

Оставив чтение, она посмотрела на него.

Он лежал неподвижно, думал. Потом, не повернув головы в ее сторону, попросил:

– Переверни четыре-пять страниц назад. Как там? «Солнце склоняется...»

– Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет».

– А дальше? Через строчку?

– «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».

— Да, так, — сказал он. — Я посплю, Лена. Который час?

Это были дни молчаливого и ничем не снимаемого страдания. Слова медленно умирали в нем...

Обычные дозы снотворного перестали действовать. И появились длиннющие рецепты, испещренные кабалистическими латинизмами. По этим рецептам, превосходившим все полагающиеся нормы, перестали отпускать лекарства нашим посланцам: яд. Мне пришлось самому пойти в аптеку, чтобы объяснить, в чем дело [8; 107–108].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

1 февраля.

Ужасно тяжелый день. «Ты можешь достать у Евгения револьвер?» <...>

5 февраля.

Мне: «Будь мужественной».

6 февраля.

Утром, в 11 часов. «В первый раз за все пять месяцев болезни я счастлив... Лежу... покой, ты со мной... Вот это счастье... Сергей в соседней комнате».

12.40: «Счастье — это лежать долго... в квартире... любимого человека... слышать его голос... вот и все... остальное не нужно...» [7; 291].

Надежда Афанасьевна Земская. *Из дневника:*

7 февраля <1940>. Андрюша (Андрей Михайлович Земский, муж. — *Сост.*) сообщает, что Мише снова стало плохо и что *необходимо его поскорее* повидать.

8/II еду к нему с утра <...>. Встречает меня вопросом, могу ли я дежурить около него, если получу телеграмму. Я: Да, могу. Он: Ну, так жди телеграм-

мы. Сажусь у постели в кресло. Миша: «Ну, давайте веселиться!» <...>

Рассказывает мне историю в ресторане писателей с Олешей и Петровым: «Вдовий орден и скандал!»

Снова разговор о нелюбви к Москве: *жэра, шэры, шэлит*; московский климат.

Мишу тошнит и рвет.

Когда на минуту мы остаемся одни (все выходят), разговор о револьвере... [9; 86]

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

15 февраля.

Пишу после длительного перерыва. С 25-го января, по-видимому, начался второй – сильнейший приступ болезни, выразившийся и в усилившихся, не поддающихся тройчатке головных болях, и в новых болях в области живота, и в рвоте и в икоте. Одним словом, припадок сильнее первого. Записывала только историю болезни, а в дневнике ни слова.

Вчера позвонил Фадеев с просьбой повидать Мишу, а сегодня пришел. Разговор вел на две темы: о романе и о поездке Миши на юг Италии, для выздоровления.

Сказал, что наведет все справки и через несколько дней позвонит [7; 290].

Сергей Александрович Ермолинский:

Не помню точно, кажется, в конце февраля пришел Фадеев. Вот тут как раз не обошлось без «веселых анекдотов».

Фадеев никогда раньше у Булгаковых не бывал. Он появился, движимый, быть может, лишь формальным желанием проявить заботу и внимание к заболевшему члену Литфонда и Союза советских писателей, о Булгакове он знал лишь по слухам. Я говорю об этом отнюдь не в осуждение Фадееву, у него

было чувство нормального долга — что же другое могло быть у него? Он поступил безукоризненно. Но он просидел почти весь вечер и был потрясен. Булгаков с необыкновенной живостью слушал Фадеева, рассказывающего о делах в Союзе и об отдельных писателях. Фадеев говорил доверительно, дружески, вы-де свой в нашей семье. Поймите...
— Послушайте! — прервал его Булгаков, вдруг возмутившись одной из названных фамилий. — Ведь это же негодяй! — И тут же просительно складывал руки. — Ох, но, может быть, он вам приятель? — И грозил весело: — Тогда тем более должен предупредить! Вы с ним встречаетесь чуть ли не каждый день, а я его в глаза не видел, но знаю его насквозь. А вы не знаете! В том-то и штука, что не знаете. Эх, эх, сидя в кабинете, можно и ослепнуть. Не отличишь, кто друг, а кто только и ждет, чтобы подставить подножку...
— Это правда, что вы говорите, — произнес Фадеев, прервавши смех. — Вы не представляете, как мне бывает трудно. А главное, я все время мешал себе как писателю. Понимаете? Писал урывками, на бегу. Вот и «Удэге» до сих пор лежит неоконченное. А я ведь не ленив. Тогда как же это назвать? Самопредательство? Фу, черт возьми, писателю все можно простить — двоеженство, пьянство, кражу, даже убийство, — только не это, не самопредательство. Вы согласны? — Он смотрел на Булгакова вопрошающе. — Вы понимаете, о чем я говорю?
Булгаков продолжал подшучивать над Фадеевым, над тяжелыми веригами его министерского положения в Союзе писателей. Фадеев смеялся своим тонким хохотком, когда Булгаков изображал, каким должен быть литературный сановник.
— Но все-таки — как же быть, а? — восклицал Фадеев, смеясь.

Ответа не последовало. Последовал рассказ о палешанах, неудачно вылезших из своей лакированной коробочки.
— Все дело в женах, Александр Александрович, — вдруг сурово сказал Булгаков. — Жены — великая вещь, и бояться их надо только при одном условии — если они дуры. А вообще — как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!
— Эти басенки стоят черта! Ну-ну, что еще?
Но Булгаков лежал, затихнув, прикрыв глаза.
Его утомила беседа, и уже нельзя было скрыть этого. Надо было уходить.
В передней Фадеев спросил меня:
— Неужели врачи считают, что положение безнадежно?
— Да, они так считают.
— Невероятно! Он полон жизни!
— Но тем не менее это так. И он сам это знает лучше врачей.
— Не могу поверить. В нем столько силы. — Фадеев задумался на секунду и вдруг сказал: — Чудовищно, что я до сих пор его не знал! Я не имел права его не знать!.. Нет, не верю! Убежден, врачи ошибаются и он тоже. Он выздоровеет! И тогда все будет по-другому.
— Если бы его здоровье зависело от врачей, а его литературная жизнь от того, что вы узнали его чуть ближе...
— Вы думаете? — Он рассеянно попрощался со мной и вышел.
Потом он звонил еще два раза, справлялся встревоженно, не нужна ли еще ссуда от Союза, нужно ли еще что-нибудь?
— Я думаю, уже не нужна.
— Неужели? — шепотом спросил он и, помолчав некоторое время, подышав, положил трубку.
Ссуда была уже не нужна. Ничего уже не могло ему помочь [8; 109–111].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

19 февраля.

У Миши очень тяжелое состояние – третий день уже.

Углублен в свои мысли, смотрит на окружающих отчужденными глазами. К физическим страданиям прибавилось или, вернее, они привели к такому болезненному душевному состоянию. Ему сейчас неприятен внешний... [7; 290]

Виталий Яковлевич Виленкин:

Меня все время о нем, о его состоянии расспрашивал Пастернак, и мне показалось, что им непременно надо увидеться. Борис Леонидович горячо на это откликнулся и тут же к нему пошел. У меня в дневнике запись от 22 февраля: «У Булгаковых все то же. В выходной был там, но к нему в комнату не заходил. С улицы входить в этот дом жутко. Елена Сергеевна сегодня слегла – сердце. Мне сказала в слезах, что боится сойти с ума.

Пастернак был у них, сидел у Михаила Афанасьевича довольно долго, наедине. Как только он ушел, Елена Сергеевна позвонила мне в театр, сказала, что впечатление у них обоих чудесное, очень тепло – о Пастернаке. А на другой день Пастернак мне звонил. Я даже не ожидал такого». На этом моя запись обрывается. Очевидно, не ожидал такой потрясенности личностью Булгакова. О чем они говорили – остается лишь догадываться тем, кто знал или хотя бы достаточно ясно себе представляет их обоих [5; 307–308].

Александр Михайлович Файко:

Особенно ярко, и уже навсегда, мне запомнился один из последних наших разговоров. Булгаков ле-

жал на своей широкой тахте, окруженный подушками. Ему трудно и больно было поворачиваться с боку на бок, он болезненно воспринимал всякое прикосновение. И вот он лежит передо мной, очень худой, весь какой-то зелено-желтый, к чему-то прислушивающийся, как будто мудрый и как будто ничего не понимающий вокруг. После короткого визита, обычного в то время, я собрался уходить, но он вдруг остановил меня: «Погоди, Алексей Михайлович, одну минутку». Я хотел присесть на край тахты, но он предупредил меня: «Нет, не надо, не садись, я коротко, я быстро, а то ведь я очень устаю, ты понимаешь...» Я остался стоять, и какая-то мощная волна захлестнула меня. «Что, Михаил Афанасьевич?» — спросил я. «Помолчи». Пауза. «Я умираю, понимаешь?» Я поднял руки, пытаясь сказать что-то. «Молчи. Не говори трюизмов и пошлостей. Я умираю. Так должно быть — это нормально. Комментарию не подлежит». — «Михаил Афанасьевич...» — начал было я. «Ну что — Михаил Афанасьевич! Да, так меня зовут. Я надеюсь, что ты имени-то моего не забудешь? Ну и довольно об этом. Я хотел тебе вот что сказать, Алеша, — вдруг необычно интимно произнес он. — Не срывайся, не падай, не ползи. Ты — это ты, и, пожалуй, это самое главное. Ведь я тебе не комплимент говорю, ты понимаешь?» Я, конечно, понимал, но вымолвить «да» не смог. «Ты не лишен некоторого дарования, — его губы криво усмехнулись. — Обиделся, да? Нет, не обиделся? Ну, ты умница, продолжай в том же духе. Будь выше обид, выше зависти, выше всяких глупых толков. Храни ее в себе, вот эту, эту самую, не знаю, как она называется... Прощай, уходи, я устал...»

И я ушел и проплакал потом всю ночь. Больше у нас таких разговоров не было [5; 352–353].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

1 марта.

Утром — встреча, обнял крепко, говорил так нежно, счастливо, как прежде до болезни, когда расставались хоть ненадолго.

Потом (после припадка): умереть, умереть... (пауза)... но смерть все-таки страшна... впрочем, я надеюсь, что (пауза)... сегодня последний, нет предпоследний день...

Без даты.

Сильно, протяжно, приподнято: «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя!» — Как заклинание.

Буду любить тебя всю мою жизнь... — Моя! [7; 291–292].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 16 января 1961 г.:*

А 4-го марта на рассвете меня разбудила сестра милосердия и сказала: «М. А. зовет вас, хочет проститься». Я подошла, он покосился в сторону сестры, ожидая, что она догадается уйти, но она, отвернувшись к окну, не уходила. Тогда он проделал шутку, которая всегда смешила меня, — как бы плюнул легко в сторону сестры, тихонько. А потом, сразу став серьезным, сказал мне прощальные слова, каких не говорил никогда. А уж чего я не слышала от него. Потом ему стало худо, и он отшатнулся, упал на подушку и стал холодеть и синеть у меня на глазах. Я взяла его голову и стала судорожно говорить ему, как мы скоро поедем с ним в Италию, как он там поправится, как хорошо ехать в вагоне, как ветер вздувает занавески... И он стал оживать и бормотать: «Еще, еще про занавески, про ветер».

И когда вечером пришел доктор, он сказал: «Вы знаете, Николай Антонович, я сегодня умирал у нее на руках, и воскрес» [7; 323].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из дневника:*

<1940>

8 марта.

«О, мое золото!» (В минуту страшных болей — с силой.)

Потом раздельно и с трудом разжимая рот: го-лубка... ми-ла-я.

Записала, когда заснул, что запомнила.

«Пойди ко мне, я поцелую тебя и перекрещу на всякий случай... Ты была моей женой, самой лучшей, незаменимой, очаровательной... Когда я слышал стук твоих каблучков... Ты была самой лучшей женщиной в мире... Божество мое, мое счастье, моя радость. Я люблю тебя! И если мне суждено будет еще жить, я буду любить тебя всю мою жизнь. Королевушка моя, моя царица, звезда моя, сиявшая мне всегда в моей земной жизни! Ты любила мои вещи, я писал их для тебя... Я люблю тебя, я обожаю тебя! Любовь моя, моя жена, жизнь моя!» [7; 292]

Сергей Александрович Ермолинский:

Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и даже тихонько, не застонав, говорил мне одними губами:

— Ты хорошо это делаешь... Хорошо...

В те последние дни подозрительность его развилась до крайности. Он уже не доверял даже таким вернейшим своим друзьям, как Дмитриев и Эрдман. Шептал мне:

— Ты не очень-то болтай обо мне, даже с ними...

<...>

Он лежал голый, лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухо. Он очень похудел [8; 110–111].

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 16 января 1961 г.:*

Силы уходили из него, его надо было поднимать двум-трем человекам. Каждый день, когда сменялось белье постельное. Ноги ему не служили. Мое место было — подушка на полу около его кровати. Он держал руку все время — до последней секунды. 9-го марта врач сказал часа в три дня, что жизни в нем осталось два часа, не больше. Миша лежал как бы в забытьи. Накануне он безумно мучился, болело все. Велел позвать Сережу. Положил ему руку на голову. Сказал: «Свету!..» Зажгли все лампы. А 9-го после того, как прошло уже несколько часов после приговора врача, очнулся, притянул меня за руку к себе. Я наклонилась, чтобы поцеловать. И он так держал долго, мне показалось — вечность, дыхание холодное, как лед, — последний поцелуй. Прошла ночь. Утром 10-го он все спал (или был в забытьи), дыхание стало чаще, теплее, ровнее. И я вдруг подумала, поверила, как безумная, что произошло то чудо, которое я ему все время обещала, то чудо, в которое я заставляла его верить, — что он выздоровеет, что это был кризис. И когда пришел к нам часа в три 10-го марта Леонтьев (директор Большого театра), большой наш друг, тоже теперь умерший, — я сказала ему: «Посмотрите, Миша выздоровеет! Видите?» — А у Миши, как мне и Леонтьеву показалось, появилась легонькая улыбка. Но, может быть, это показалось нам... А может быть, он услышал?

Через несколько времени я вышла из комнаты и вдруг Женичка прибежал за мной: «Мамочка, он ищет тебя рукой» — я побежала, взяла руку, Миша стал дышать все чаще, чаще, потом открыл неожиданно очень широко глаза, вздохнул. В глазах было изумление, они налились необычайным светом. Умер. Это было в 16 ч. 39 м. <...> Лицо его настолько

изменилось от переносимых им страданий, что его почти нельзя было узнать. Я с ужасом думала — никогда не увижу Мишу, каким знала. А после смерти лицо стало успокоенным, счастливым почти, молодым. На губах — легкая улыбка. Все это не я одна видела, об этом с изумлением говорили все видевшие его [7; 322–323].

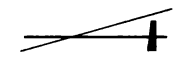
Сергей Александрович Ермолинский:

На следующее утро — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро, — позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Тот, кто говорил со мной, положил трубку [8; 111].



Покой мастера

Елена Сергеевна Булгакова. *Из письма Н. А. Булгакову. Москва, 16 января 1961 г.:*

Я долго не оформляла могилы, просто сажала цветы на всем пространстве, а кругом могилы посажены мной четыре грушевых дерева, которые выросли за это время в чудесные высокие деревья, образующие зеленый свод над могилой. Я никак не могла найти того, что бы я хотела видеть на могиле Миши — достойного его. И вот однажды, когда я по обыкновению зашла в мастерскую при кладбище Новодевичьем, — я увидела глубоко запрятавшуюся в яме какую-то глыбу гранитную. Директор мастерской, на мой вопрос, объяснил, что это — Голгофа с могилы Гоголя, снятая с могилы Гоголя, когда ему поставили новый памятник. По моей просьбе, при помощи экскаватора, подняли эту глыбу, подвезли к могиле Миши и водрузили. С большим трудом, так как этот гранит труден для обработки, как железо, рабочие вырубили площадочку для надписи: *Писатель Михаил Афанасьевич Булгаков. 1891–1940* (четыре строчки. Золотыми буквами). Вы сами понимаете, как это подходит к Мишиной могиле — Голгофа с могилы его любимого писателя

Гоголя. Теперь каждую весну я сажаю только газон. Получается изумрудный густой ковер, на нем Голгофа, над ней купол из зеленых густых ветвей. Это поразительно красиво и необычно, как был необычен и весь Миша – человек и художник... [7; 320–321]



Краткая летопись жизни и творчества М. А. Булгакова

1891, 3 (15) мая. Родился Михаил Афанасьевич Булгаков в Киеве, в семье профессора Киевской духовной академии Афанасия Ивановича Булгакова и Варвары Михайловны Булгаковой (урожд. Покровской). Он старший из семерых детей (сестры и братья – Вера, Надежда, Варвара, Николай, Иван и Елена).

1891, 6 (18) мая. Крещен по православному обряду в Крестовоздвиженской церкви (на Подоле) священником о. М. Бутовским.

1901, август. Поступление в 1-ю киевскую гимназию. Впечатления гимназических лет будут запечатлены в романе «Белая гвардия».

1907, 14(27) марта. Смерть отца от нефросклероза.

1908, лето. Знакомство с Татьяной Николаевной Лаппа, которая потом станет первой женой Булгакова.

1909, июнь. Окончание гимназии.

1909, 21 августа (3 сентября). Зачисление на медицинский факультет Императорского университета в Киеве.

1913, 26 апреля (9 мая). Венчание Михаила Афанасьевича Булгакова и Татьяны Николаевны Лаппа.

1916, 6 (19) апреля. Получение «Временного свидетельства» об окончании университета.

1916, май–сентябрь. Работа врачом в прифронтовых госпиталях городов Каменец-Подольска и Черновиц.

1916, 16 (29) июля. Зачисление «врачом резерва Московского военно-санитарного управления» для откомандирования в распоряжение смоленского губернатора с целью работы в земствах.

1916, 29 сентября (12 октября). Начало работы врачом Никольской земской больницы Сычевского уезда Смоленской губернии.

1916, 31 октября (13 ноября). Получение в Киевском университете диплома об утверждении «в степени лекаря с отличием со всеми правами и преимуществами, законами Российской Империи сей степени присвоенными».

Первые литературные опыты Булгакова.

1917, 18–20 сентября (1–3 октября). Перевод в Вяземскую городскую больницу и переезд в Вязьму.

1918, март. Возвращение в Киев, занятие частной врачебной практикой.

1918, февраль. Мобилизация Булгакова как врача.

1918, 14 декабря. Взятие Киева войсками С. В. Петлюры. Булгаков в составе офицерской дружины принимал участие в событиях на стороне гетмана П. П. Скоропадского. Впечатления этого дня нашли отражение в романе «Белая гвардия».

1919, конец октября или начало ноября. Прибытие на Северный Кавказ.

1919, ноябрь. В составе 3-го Терского казачьего полка Булгаков в качестве военного врача участвует в походе на Чечен-аул и Шали-аул против восставших чеченцев.

1919, 26 ноября. Первая публикация – фельетон «Грядущие перспективы» в газете «Грозный».

1919, конец ноября или начало декабря. Приезд Булгакова во Владикавказ, работа в военном госпитале.

1919, конец декабря. Оставляет службу в госпитале и занятия медициной, начинает работать журналистом в местных газетах.

1920, конец февраля или начало марта. Заболевает возвратным тифом (болезнь продолжается до начала апреля).

1920, начало апреля. Работает заведующим литературным отделом (ЛИТО) подотдела искусств Владикавказского ревкома.

1920, конец мая. Становится заведующим театральным отделом (ТЕО) подотдела искусств.

1920, *4 июня.* Премьера первой пьесы Булгакова «Самооборона».

1920, лето и осень. Работает над драмой «Братья Турбины (Пробил час)», поставленной затем в Первом Советском театре.

1920, май. Отъезд в Тифлис, потом в Батум.

1920, 28 сентября. Прибытие в Москву.

1921. Работа секретарем в ЛИТО; после расформирования ЛИТО написание многочисленных фельетонов и репортажей, публиковавшихся в различных газетах и журналах.

1921, ноябрь. С помощью руководителя Главполитпросвета Н. К. Крупской Булгаков и его жена прописываются в квартире № 50 дома 10 по Б. Садовой.

1922, 1 февраля. В Киеве скончалась мать Булгакова Варвара Михайловна.

1922, апрель. Булгаков поступает обработчиком писем в газету «Гудок», позднее становится штатным фельетонистом.

1922, 12 апреля. Публикация первого репортажа в «Гудке» «У курян», подписанного М. Б. Всего за 1922–1926 гг. в «Гудке» опубликовано более 120 репортажей, очерков и фельетонов Булгакова.

1922, май. Начало сотрудничества в берлинской газете «Накануне» и, в частности, в ее «Литературном приложении».

1922, 18 июня. Публикация глав из 1-й части «Записок на манжетах» в «Литературном приложении» к «Накануне».

1923, зима – 1924, зима. Булгаков создает роман «Белая гвардия». Публикует повесть «Дьяволиада», пишет «Роковые яйца».

1925, зима–весна. Работа над повестью «Собачье сердце». Развод с Т. Н. Лаппа.

1925, апрель. Булгакову предлагают сочинить пьесу для МХАТа на основе романа «Белая гвардия».

1925, 30 апреля. Женитьба на Л. Е. Белозерской.

1925, сентябрь. Чтение пьесы по роману «Белая гвардия», позднее названной «Дни Турбиных», артистам МХАТа и К. С. Станиславскому.

1926, январь. Представление пьесы «Зойкина квартира» труппе театра Е. Б. Вахтангова.

1926, май. Обыск в квартире Булгакова и изъятие рукописи повести «Собачье сердце» и дневниковых тетрадей.

1926, 5 октября. Премьера «Дней Турбиных» в Художественном театре.

1926, 28 октября. Премьера «Зойкиной квартиры» в театре Вахтангова.

1925–1927. Журнальная публикация «Записок юного врача».

1927, январь–февраль. Завершение работы над пьесой «Бег».

1928, 17 июня. Решение Главреперткома о снятии пьес «Зойкина квартира» и «Дни Турбиных».

1928, 24 октября. Запрещение пьесы «Бег» к постановке.

1928. Начало работы над романом, который получит название «Мастер и Маргарита».

1929, 28 февраля. Знакомство с Еленой Сергеевной Шиловской.

1929, 6 марта. Постановление Главреперткома о снятии всех пьес Булгакова.

1929, июль. Пишет письмо Сталину, Калинину, Горькому, в котором излагает тяготы своего писательского существования и просит позволить ему выехать за границу.

1929, 3 сентября. Письмо секретарю ЦИК Енукидзе и Горькому с просьбой помочь ему в выезде из СССР.

1929, декабрь. Окончание работы над новой пьесой «Кабала святош» (начальная редакция пьесы о Мольере).

1930, март. После запрещения пьесы к постановке (28 марта) пишет письмо правительству с просьбой решить его судьбу.

1930, 18 апреля. Звонок Сталина.

1930, 10 мая. Принят на работу во МХАТ ассистентом режиссера.

1931, начало года. Репетиции над инсценировкой «Мертвых душ» Гоголя.

1932, февраль. Возобновление «Дней Турбиных» во МХАТе после повторного разрешения пьесы.

1932, осень. Начало работы над пьесой о Пушкине совместно с В. В. Вересаевым.

1932, 4 октября. Вступает в брак с Еленой Сергеевной Шиловской, урожденной Нюренберг.

1932, конец октября. Завершение работы над первой редакцией романа «Мастер и Маргарита».

1933, март. Завершение «Жизни господина де Мольера».

1934. Обращение к правительству разрешить поездку за границу. Булгаков получает отказ.

1934, октябрь. Помогает А. А. Ахматовой в хлопотах по освобождению арестованных мужа и сына.

1936, 6 февраля. Решает писать пьесу о Сталине.

1936, 16 февраля. Премьера спектакля «Мольер» («Кабала святош»).

1936, 9 марта. Спектакль снят с репертуара после резких отзывов в газетах.

1936, 15 сентября. Подает заявление об увольнении из МХАТа и переходит на работу в Большой театр.

1936, ноябрь. Работает над романом «Записки покойника» (не окончен).

1937, зима. Продолжает роман «Мастер и Маргарита».

1938, зима–весна. Читает главы романа «Мастер и Маргарита» друзьям.

1938, конец мая – июнь. Завершение последней редакции «Мастера и Маргариты», перепечатка романа.

1938, сентябрь. Работает над пьесой о Сталине «Пастырь»; впоследствии названа «Батум».

1939, конец апреля – середина мая. Читает друзьям завершенный текст романа «Мастер и Маргарита».

1939, 11 июля. Читает пьесу «Батум» в Комитете по делам искусств.

1939, 27 июля. Знакомит актеров МХАТа со сценами из пьесы «Батум».

1939, 14 августа. Булгаков с женой и коллегами по театру выезжает в Грузию для сбора материала для постановки пьесы «Батум».

1939, 15 сентября. Возвращение в Москву из Тулы после известия о неодобрении пьесы в ЦК.

1939, сентябрь. Поездка в Ленинград. Начало болезни.

1939, октябрь. Булгаков составляет завещание в пользу Е. С. Булгаковой.

1940, январь–февраль. Последние поправки в романе «Мастер и Маргарита».

1940, 10 марта. В 16 часов 39 минут Михаил Афанасьевич Булгаков скончался.

1940, 12 марта. Кремация. Прах Булгакова захоронен на Новодевичьем кладбище.

Библиография

Тексты цитируются по следующим источникам с указанием порядкового номера по списку и страницы:

1. *Булгаков М. А.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 1. М.: Худож. лит., 1989.
2. *Булгаков М. А.* Собрание сочинений: В 5 т. Т. 5. М.: Худож. лит., 1990.
3. *Булгаков М. А.* Под пятой. Мой дневник / Публ. Г. Файмана // Театр. 1990. № 2. С. 143–161.
4. *Белозерская-Булгакова Л. Е.* Воспоминания. М.: Худож. лит., 1990.
5. Воспоминания о Михаиле Булгакове / Сост. Е. С. Булгакова и С. А. Ляндерс. М.: Сов. писатель, 1988.
6. Встречи с прошлым. Вып. 5. М.: Сов. Россия, 1984.
7. Дневник Елены Булгаковой / Гос. б-ка СССР им. В. И. Ленина; Сост., текстол. подгот. и коммент. В. Лосева и Л. Яновской; вступ. ст. Л. Яновской. М.: Книжная палата, 1990.
8. *Ермолинский С. А.* Из записок разных лет. Михаил Булгаков. Николай Заболоцкий. М.: Сов. писатель, 1990.
9. *Земская Е. А.* М. А. Булгаков в последний год жизни. По материалам семейного архива // Наше наследие. 1991. III. С. 81–86.

10. *Катаев В. П.* Алмазный мой венец. М.: АСТ-Пресс, 1994.
11. *Марков П. А.* В Художественном театре. Книга завлита. М.: ВТО, 1976.
12. *Паршин Л. К.* Чертовщина в Американском посольстве в Москве, или 13 загадок Михаила Булгакова. М.: Книжная палата,1991.
13. *Ракицкий Н. П.* Встреча с М. А. Булгаковым: Из воспоминаний / Вступ. заметка и примеч. Н. А. Трифонова // Дружба народов. 1990. № 3. С. 169–172.
14. Творчество Михаила Булгакова. Исследования. Материалы. Библиография. Кн. 1–3. Л.: Наука, 1991—1995.
15. *Шенталинский В. А.* Рабы свободы. М.: Прогресс-Плеяда, 2009.
16. *Эрлих А. И.* Нас учила жизнь. М.: Сов. писатель, 1960.

Содержание

Научно-популярное издание

БУЛГАКОВ БЕЗ ГЛЯНЦА

Ответственный редактор *Евгений Трофимов*
Художественный редактор *Александр Яковлев*
Технический редактор *Елена Траскевич*
Корректор *Валентина Важенко*
Верстка *Максима Залиева*

Подписано в печать 02.04.2010.
Формат издания 84×108 1/32. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 21,84. Тираж 4000 экз.
Изд. № 90588. Заказ № 3173.

Издательство «Амфора».
Торгово-издательский дом «Амфора».
197110, Санкт-Петербург,
наб. Адмирала Лазарева, д. 20, литера А.
E-mail: secret@amphora.ru

Отпечатано по технологии CtP
в ИПК ООО «Ленинградское издательство».
195009, Санкт-Петербург, Арсенальная ул., д. 21/1.
Телефон/факс: (812) 495-56-10.

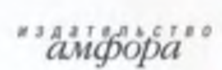
Какой был Булгаков человек? На это можно ответить сразу. Бесстрашный — всегда и во всем. Ранимый, но сильный. Доверчивый, но не прощающий никакого обмана, никакого предательства. Воплощенная совесть. Неподкупная честь. Все остальное в нем, даже и очень значительное, — уже вторично, зависимо от этого главного, привлекавшего к себе как магнит.

Виталий Яковлевич Виленкин

Он был, конечно, очень умен, дьявольски умен и поразительно наблюдателен не только в литературе, но и в жизни... Булгаков смотрел в суть человека и зорко подмечал не только внешние его повадки, которые он гиперболизировал в какую-то немыслимую и при этом вполне вероятную характерность, но самое главное — он вникал в психологическую сущность каждого. В самые горькие минуты жизни он не терял дара ей удивляться, и любил удивляться, и... восхищался удивительными людскими чертами, и чем более он разгадывал их необычность, тем настойчивее ими увлекался.

Павел Александрович Марков













ISBN 978-5-367-01341-2